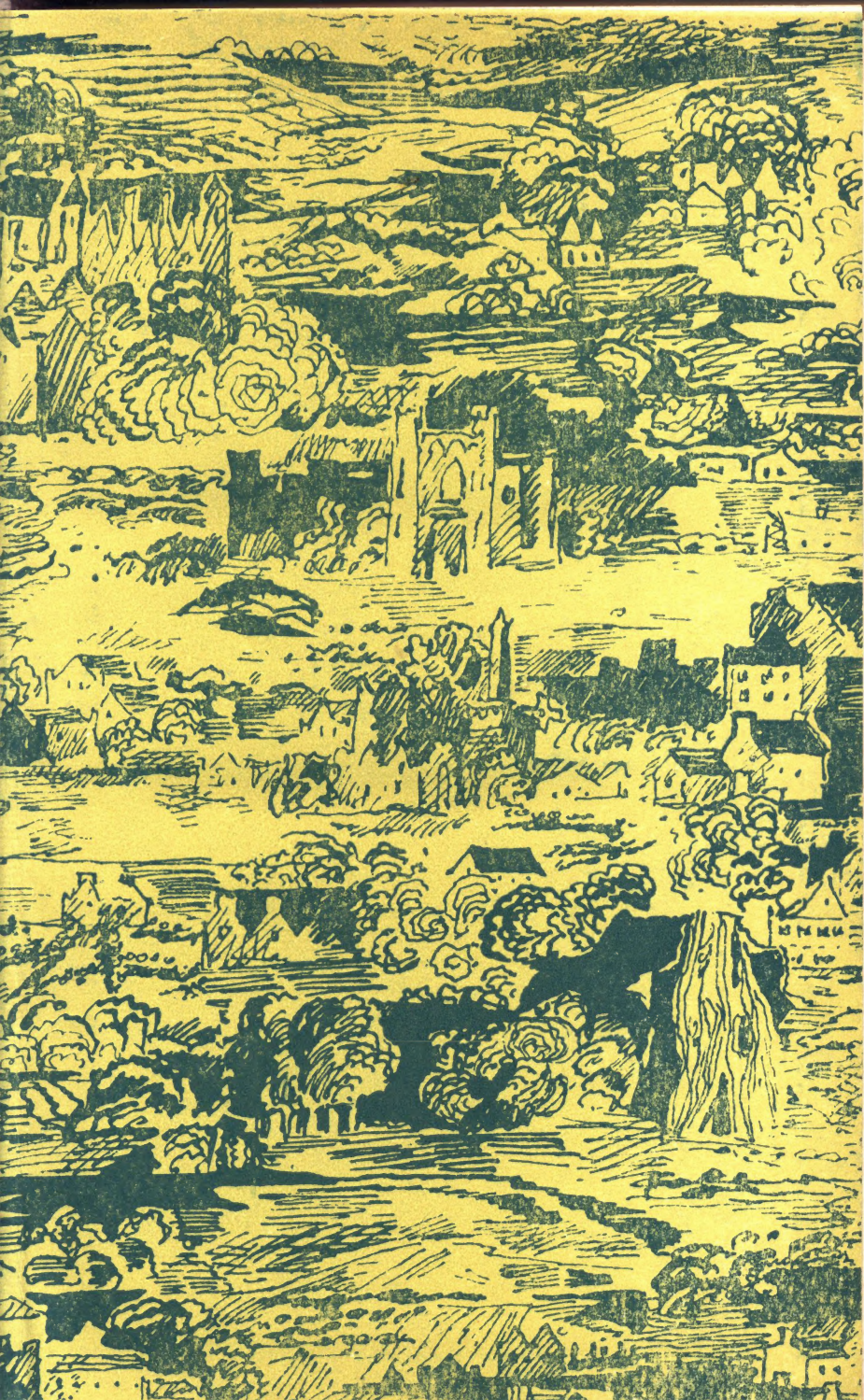


Мэри Лэвин Среди полей









Жены в семействе Беккер

Завещание

Ирландская Акулина

В сырой ли земле, на дне ли морском...

Небольшое наследство

Маленький принц

Сын-патриот

Среди полей

Фамильный склеп

Том

Святыня

Мэри Лэвин

Среди полей

Избранные рассказы

Перевод
с английского

Москва, «Прогресс», 1980

Составитель С. Авдеенко
Предисловие А. Саруханян
Редактор Н. Кристальная

Лэвин, М. Среди полей. Избранные рассказы. Пер. с англ.

Мэри Лэвин по праву считается одним из ведущих новеллистов современной Ирландии. Ее внимание привлекают проблемы нравственно-социальные, этические.

В сборник включены рассказы разных лет. Писательницу интересуют судьбы «маленьких» людей, она рисует картины повседневной жизни ирландской провинции, создавая запоминающиеся образы современников.

Все произведения, включенные в сборник, кроме рассказа «Святыня», вышли в свет на языке оригинала до 1973 г.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык издательство «Прогресс», 1980

Л $\frac{70304-015}{006(01)-80}$ 123-80

4703000000

Мастерство рассказчика

Мэри Лэвин вошла в литературу вслед за такими прославленными ирландскими писателями, как Фрэнк О'Коннор, Лайем О'Флаэрти, Шон О'Фаолейн. Ее литературный дебют (рассказ «Мисс Холланд» в журнале «Дублин мэгэзин») состоялся в 1938 году, а спустя четыре года вышел первый сборник рассказов. С появлением новых книг за Мэри Лэвин прочно закрепилась репутация крупного мастера ирландской новеллы. Как и ее старшие современники, она пробовала писать романы, но по-настоящему нашла себя именно в жанре рассказа. Впоследствии она даже сожалела, что не разбила на рассказы два своих романа («Дом на Ключ-стрит», 1945; «Мэри О'Грейди», 1950). Именно в рассказе, считает М. Лэвин, воплощается существо писательских раздумий. Для нее рассказ стал способом «заглянуть поглубже в человеческое сердце. Здесь все причудливо и противоречиво, но это части единого целого». За тончайшими нюансами чувств, причудливой сменой настроений, попадающими в поле психологического зрения писательницы, не исчезает цельное представление о личности человека, и это главное свойство ее мастерства.

Почти все произведения Лэвин автобиографичны в том смысле, что они рассказывают о людях и местах, хорошо ей известных, рисуют ею самой увиденные или ею самой пережитые душевные состояния.

В рассказе «Том» писательница наблюдает поведение своих родителей, воспроизводит их воспоминания, уже ставшие частью ее собственной памяти, подмечает недосказанность, обмолвки. Лирические интонации этого рассказа не мешают М. Лэвин создать правдивые портреты родителей, показать скрытые причины разлада во внешне благополучной семье.

Рассказ поражает своей безыскусственностью. Он ведется неторопливо; как в потоке устной речи, свободно чередуются эпизоды, свидетельницей которых была сама Мэри Лэвин, всплывают раз-

говору, все то, что она слышала от близких людей. Но это обманчивая простота. Один за другим снимаются покровы, обнажая косяк характера. До сих пор писательница представляла себе прошлое родителей по их воспоминаниям. И, лишь увидев уже старого отца в местах его детства, рядом со сверстниками, которые, казалось, годятся ему в отцы, она разглядела ту скрытую пружину, которая правила его характером — непокорным, волевым, решительным.

Отец М. Лэвин происходил из бедных крестьян. Подростком убежал из дому и проделал обычный путь ирландского эмигранта: Дублин, Ливерпуль, картофельные поля Шотландии, плантации хмеля в Йоркшире и, наконец, Америка, Бостон. Дорогу в Бостон хорошо знают и герои Лэвин. Во многих ее рассказах описана и другая среда, та, из которой вышла мать, — небогатые провинциальные торговцы, благочестивые и благопристойные, свято чтившие «приличия». Детей в семье было много, а денег мало, но к фермерам и тем, кто находится в «услужении», здесь относились свысока.

Судьба свела родителей на трансатлантическом пароходе. Но прошло еще три года, прежде чем мать решилась на столь «нравный» брак, сопряженный к тому же с переездом в Америку. Здесь в 1912 году в штате Массачусетс родилась их единственная дочь, будущая писательница. Мать подолгу гостила с ней у своих родителей в графстве Голуэй, а когда девочке исполнилось девять лет, вместе с ней окончательно переехала в Ирландию. Первое время жили в старом родительском доме. Обстановка города, дома, жесткий семейный уклад, тягостно-серая жизнь многочисленных тетушек и дядюшек проглядывают во многих рассказах Мэри Лэвин, а отдельные детали описываются с удивительной точностью.

Вслед за семьей переселился в Ирландию и отец. Он сохранил за собой место управляющего у богатого американского землевладельца. Теперь он ведал его ирландским имением в окрестностях Бектива. Живописные развалины старинного аббатства, река Бойн, памятная в истории Ирландии сражением Якова II и Вильгельма III Оранского — вблизи этих мест работал отец, здесь после его смерти Мэри Лэвин купила ферму, на которой вот уже почти сорок лет проводит большую часть времени. На «Эбби фарм» она жила с мужем, растила детей, провела годы вдовьего одиночества, нашла новое счастье. «Историями Бектив-бриджа» (1942) стали первые рассказы Лэвин. Торжественной тишиной этого края веет от ее поздних сборников — «Большая волна» (1961), «Среди полей» (1967).

Личный опыт, преобразованный творческим воображением, составляет, как уже говорилось, основу произведений Лэвин. Ей хорошо знакомы условности провинциального мира, меланхолический

плен, из которого так трудно вырваться. Не следует ли из этого, что произведения Мэри Лэвин, накрепко привязанные к определенному месту и укладу жизни, представляют прежде всего исторический или даже этнографический интерес? Ответ может быть только отрицательным, так как, условно говоря, это место их отправления, но не прибытия. Писательница отталкивается от самых частных ситуаций повседневной жизни вполне определенного, может быть, даже довольно узкого круга людей и идет к постановке социально-правственных проблем общечеловеческой значимости. Она показывает жизнь в ее естественном течении. В новелле «Модель рассказа» передается разговор писательницы с читателем, который упрекает ее в недостаточной событийности, в том, что безыскусные концовки ее рассказов порой вовсе не заканчивают действия. «И в самой жизни не так уж много событий... И сама жизнь имеет обычай обрываться на середине», — возражает она. С мудрой простотой отвергает автор и предложенный тем же читателем «сенсационный» сюжет. «Это лишь трагический случай. А жизнь не состоит из одних трагических ситуаций, заготовленных аккуратными порциями».

Сборники рассказов Мэри Лэвин, от первого, уже упоминавшегося («Истории Бектив-бриджа»), до последнего («Святыня», 1977), говорят о привязанности ее писательских интересов к судьбе простых, ничем особенно не примечательных людей, принадлежащих большей частью к так называемому «среднему классу». С тонким психологизмом и лукавым юмором раскрывает она их семейные секреты, показывает столкновение эгоизма и бескорыстия, чванливой спеси и душевного благородства. Но это постоянство интересов отнюдь не приводит к стереотипности героев. Богатая палитра Лэвин, располагающая сложной гаммой красок и едва уловимых оттенков, владение твердой линией рисунка и техникой штриха придают образам яркую художественную индивидуальность. С каждым рассказом в «стране Мэри Лэвин» поселяются новые персонажи — психологически убедительные характеры.

Спокойное, обстоятельное повествование Лэвин контрастно внутреннему напряжению, страстности, с которой она отрицает буржуазные ценности. В мире торговцев, как он рисуется в рассказах «Жены в семействе Беккер» или «Маленький принц», супружеские отношения, родственные связи устанавливаются на едва прикрытом расчете. На брак здесь смотрят как на «залог устойчивости и уверенности в будущем». Здесь не умеют смеяться, зато с удовольствием щелкают на счетах. Богатой одежде, обильной еде, массивной мебели Беккеров под стать их флегматичные, заурядные жены. Толстые, крепкие Беккеры смотрят на появление у них воз-

душной, обладающей даром творческого воображения Флоры как на неведомое им чудо. И эта хрупкая женщина не выдерживает натиска обступившего ее мира заурядности. Он раздавил ее, подчинил себе ее фантазию, дал толчок развитию психического заблуждения. Еще недавно само горение жизни, она воображает себя одной из жен Беккеров — вялой, безжизненной Хонорией. Смысл этого ее маниакального превращения выходит за рамки клинического случая. В нем есть символический оттенок. Мир беккеров победил, но это пиррова победа — мысль, отчетливо звучащая в финале рассказа. «Лишь на миг приоткрылась взорам Беккеров чудесная, поразительная страна, но в этом далеком от них краю им не удалось удержаться. И пленительная волшебница, что дала им заглянуть в ту страну, только легкокрылый дух, среди них ей не место».

Не место в доме мелких лавочников и «маленькому принцу» — веселому, насмешливому, обаятельному Тому Граймсу. Его расчётливой сестре удалось изгнать его из дома. Но одержала ли она победу? И опять в конце рассказа писательница даёт недвусмысленный ответ. Увидев неузнаваемо изменившегося, умершего от истощения брата, Беделия на мгновение освобождается от меркантильных соображений, её сердце словно открывается любви. «Но слишком стар был, слишком уж растрескался этот сосуд, и чувство не держалось в нём, даже самое драгоценное чувство, даже крохотная капля его».

Соблюдение декорума, забота о «приличиях», согласно которым важно выглядеть счастливым, а не быть им на самом деле, лишают естественности самые человеческие чувства. В рассказе «Счастливая смерть» жена покупает дорогие, но уже бесполезные фрукты и сладости умирающему в больнице мужу, чтобы они красовались на его столике перед глазами неимущих пациентов; она страшится истинных проявлений любви, но спешит продемонстрировать её количеством заказанных месс. Заботой о престиже окрашены даже мысли о собственной смерти. В рассказе «Посещение кладбища» могила матери сперва вызывает у сестер трепетный страх великой неизвестности, который, однако, тут же сменяется радостной надеждой, что им посчастливится лежать на более феенебельном кладбище.

Из мира беккеров редко удастся спастись бегством, чаще случается обратное — человек становится его пожизненным пленником. Здесь есть свои мятежники — изгнанный «маленький принц» Том Граймс, лишенная наследства Лэлли Конрой («Завещание»), романтическая Лидди («Хрупкий сосуд»). Они восстают против семейного диктата, но падают его жертвами.

Беликую любовь, верность до гроба Мэри Лэвин находит у простых тружеников. Эта высокая тема отлилась в неожиданную для писательницы художественную форму в рассказе «В сырой ли земле, на дне ли морском...». Он написан как притча о беззаветной любви и смерти, не властной разъединить любящих. Безыскусственная проза уступает здесь место поэтической приподнятости, каждая фраза значительна и емка, а рефренный повтор звучит далеким эхом вечности. Трагической напряженностью, символичностью образов это произведение напоминает знаменитую пьесу Дж. Синга «Скачущие к морю». Восхищение необыкновенной способностью любить так, что «сильнее любить невозможно», передано в рассказе «Ирландская Акулина». Героиню, простую служанку, звали иначе, но естественность ее натуры, красота души вызывают у рассказчика ассоциацию с героиней тургеневского «Свидания».

Мастер психологических нюансов, М. Лэвин раскрывает внутреннюю жизнь своих героев в сложном переплетении противоречивых чувств. С лирической проникновенностью она передает состояние одинокого человека, пережившего утрату, которому необходимо начать строить жизнь заново, рассчитывая лишь на силу собственных душевных резервов. Незаживающая сердечная рана и практические мелочи быта предстают в их обычном повседневном сочетании. Одиноким женщины в рассказах «Среди полей», «Счастье» пытаются определить свои чувства и понимают их неоднозначность. «Что такое память? Слово, за которым скрываются высохшая любовь и бесплодная тоска!» («Среди полей»). «Она думала о счастье: что называть этим словом, где искать счастье и как сохранить, если найдешь. Счастье вовсе не обязательно доставляет радость, а печаль не говорит о том, что нет счастья» («Счастье»).

На первый взгляд может показаться, что ограниченность семейными рамками сужает круг изображаемых писательницей явлений. Но достаточно приглядеться к созданным ею картинам, чтобы увидеть — семья в ее рассказах существует не изолированно, она прежде всего ячейка общества, ее, как и общество в целом, потрясают социальные конфликты. Семейная тирания — тот же диктат буржуазной системы, в которой деньги и власть идут рука об руку.

Рассказ «Небольшое наследство» дает представление о камуфлированных, но оттого не менее жестких классовых перегородках. Три старые женщины — аристократка Аделина Тэйт, ее компаньонка Блуджетт, служанка Хетти — не могут обойтись друг без друга, живут одной семьей, но стоят на трех разных ступенях социальной лестницы, преступить которые невозможно. В их одина-

ковой одежде скрыта «тайна трех синих платьев»: дорогой шелк — у хозяйки, дешевая материя — у компаньонки, обноски — у служанки. Мисс Блуджett свысока взирает на служанку и сама оказывается жертвой изощренной жестокости своей обожаемой покровительницы.

О давлении католической церкви М. Лэвин говорит без нажима, без гневной страсти Джойса. Драматичность конфликта выявляется в будничной простоте семейной жизни, построенной на смешанном браке. Религиозные противоречия, хотя о них не принято говорить в семье, оказываются источником разлада между супругами, гнетущего чувства вины («Обращенный», «Погибшее дитя»). О силе подспудного влияния этих противоречий можно судить и по рассказу «Ирландская Акулина», герои которого — протестантка и католик. Монастырская жизнь рисуется без прикрас, она мало чем отличается от той, которую ведут добропорядочные буржуа в своих домах, лавках, конторах. Заглавный герой рассказа «Брат Бонифаций» уходит в монастырь, где, как ему представляется, у него появится время наслаждаться созерцанием природы, восхваляя ее создателя. Но и в монастыре ему уготована низшая ступень на иерархической лестнице. Как и в отцовской лавке, его удел — выполнять приказы.

Обратившись к теме национально-освободительной борьбы ирландского народа, писательница и на этот раз не претсует семейные рамки. В рассказе «Сын-патриот» все тот же мир лавочников, привычные образы тираничной матери и безвольного сына. Но их семейный разлом — сколок общественного разлома в масштабе страны. Чтобы вступить в мир, живущий идеями национального освобождения, чтобы вместе с другими пережить тревожное и радостное ожидание перемен, Мэтти Конерти необходимо почувствовать себя внутренне свободным от унижительной опеки, отбросить вошедшие в плоть мелочные расчеты. Он пробивается сквозь невидимые путы и совершает первый в своей жизни самостоятельный, смелый поступок. Решившись помочь товарищу, а затем и спасти его ценой собственной жизни, он испытывает состояние безграничного восторга, «слившегося с самими звездами». Его психологическая реакция на фоне трагических коллизий борьбы воспроизводится со скрупулезной точностью — страх и восхищение, неуверенность в своих силах и гордость доверенной ему тайной. Он действует как герой, принявший огонь на себя. Но товарища убили, в Мэтти же никто и не думал стрелять, причина его раны — не пуля, а всего лишь ржавое железо крыши свинарника. Рассказ кончается трагикомически, однако кульминацией его остается момент наивысшего напряжения душевных и физических сил юноши, когда он с глу-

боким волнением ощущает в себе готовность к подвигу, самопожертвованию.

Рамки семьи могут вмещать и другие острые общенациональные проблемы. Темой рассказа «Святыня» становятся эксплуатация религиозных предрассудков, пути экономического развития страны, эмиграция. Персонажи рассказа выражают отношение разных поколений, разных социальных слоев к будущему Ирландии. Старый каноник грезит о возрождении былой славы «острова святых и ученых». К многочисленным «святым местам» Ирландии — горам и островкам, озерам и источникам, которые легенда связывает с христианскими святыми и «чудесами» и куда реклама привлекает множество паломников, прибавилось, не без его помощи, еще одно. Каноника не смущает торговый ажиотаж вокруг «святыни», окруженной плотным кольцом лотков и киосков, где продаются четки, ладанки, святая вода. В противоположность канонику его племянница и молодой инженер, ее жених, мечтают о том времени, когда земля их страны и ее недра смогут дать людям более достойный заработок — «социалистические бредни», с точки зрения священника. В рассказе косвенно возникает картина промышленного развития Ирландии с главенствующей ролью в нем иностранного капитала. Разработка недр включена в политическую игру, меньше всего связанную с интересами местных жителей.

В характере каноника странным образом соединились отеческая доброта, забота о благе любимого края и иезуитское коварство. Его племяннице Мэри кажется, что в основе всех его противоречий лежит нереализованная потребность в любви. В результате вакуум заполнился служением «святыне». Читателю же характер священника открывается в единстве внутренних и внешних — диктуемых его ролью «духовного пастыря» — побуждений. Свое коварное предательство он осуществляет по хитро продуманному плану. Долгий телефонный разговор с «нужным человеком», туманные намеки и лстивые просьбы, и вот уже заключено «соглашение», по которому «святыня» останется в неприкосновенности, а тем, кто мог угрожать ее существованию, придется пополнить ряды ирландских эмигрантов.

Совсем иначе описывалась сходная ситуация в одном из ранних рассказов М. Лэвин — «Дождливый день». Предательство старого священника по отношению к племяннице и ее жениху мотивировалось его чисто личными эгоистическими свойствами: заботясь о собственном здоровье, опасаясь инфекции, он обрек на смерть другого человека. Великолепно выдержанный иронический тон повествования придавал образу священника оттенок шаржа. В рассказе «Святыня» нет столь трагического финала. Не стремится

писательница создать и комический эффект. Перед нами вполне достоверная и страшная своей будничностью драматическая история, из которой явствует, каким препятствием экономическому развитию страны может оказаться церковь.

В этом рассказе виден поворот от прежнего эффекта «невидимого присутствия» автора к горячему обсуждению проблем национальной действительности. От книги к книге можно проследить, как с изменением жизни ирландской провинции меняются ракурсы ее изображения, Мэри Лэвин словно отступает от сцены, на которой разворачивается действие, чтобы удержать в поле зрения всю сценическую площадку.

В школьные годы первой книгой, увлекшей будущую писательницу, стала «Мельница на Флоссе» Джордж Элиот. Книга произвела на нее огромное впечатление и заставила, по ее собственному признанию, позабыть заветы учителей. В университете М. Лэвин с увлечением работала над магистерской диссертацией о Джейн Остин. Сборник рассказов «Большая волна» (1961) получил премию имени Кэтрин Мэнсфилд. Уже сами эти имена говорят о прочности реалистической традиции в творчестве Мэри Лэвин.

Но верность традиции отнюдь не означает традиционности. С большими мастерами, в том числе с русскими писателями, Лэвин роднит понимание людей, удивительная способность проникновения в характер. Но то, как это делается,— секрет ее собственного мастерства, умения вглядываться в жизнь, передавать ее многообразие и противоречивость, ее глубинный смысл.

А. Саруханян

Жены в семействе Беккер

Когда Эрнест, третий в семействе Беккеров, кому пришла пора вступить в брак, выбрал девушку, которой нечем было похвастать, кроме доброго здоровья, порядочности и довольно приятной наружности, двое других — Джеймс и Генриетта — почувствовали, что можно наконец не обращать внимания на Теобальда и его бредни. По молодости лет им он в свое время ничего не советовал, зато уж Эрнеста, младшего брата, наставлял и предостерегал как только мог. Однако и Эрнест поступил по-своему: его невеста, Джулия, оказалась ничем не примечательней жены Джеймса, Шарлотты. Общим до замужества приходилось самим зарабатывать на жизнь, и приданое их состояло из той небольшой суммы, которую они сумели отложить в банк за время от помолвки до замужества, а время это в обоих случаях было довольно долгое, достаточное для того, чтобы Беккеры могли удостовериться, что избранницы их отвечают всем требованиям, предъявляемым к жене и матери семейства.

— А только это и важно, так и знай, — сказал Джеймс Сэмюелу, теперь единственному, кроме Теобальда, неженатому Беккеру. — Каждый, конечно, вправе сделать собственный выбор, — прибавил он чуть покровительственно: хоть Теобальд и считает, что жены их одним миром мазаны, но Эрнест-то взял жену из-за прилавка магазинчика, куда заходил по утрам за газетой, а его Шарлотта как-никак до свадьбы служила стенографисткой в фирме «Крокер и Крокер», в той самой, которая справедливо могла считать себя серьезной соперницей фирмы «Беккер и Беккер». Но Теобальд пренебрегал подобными тонкими различиями. На его взгляд, жены обоих братьев были в некотором роде второго сорта и, кроме пола, мало чем

отличались от мужа Генриетты, Роберта. Роберт, с которым Джеймса свели дела, до женитьбы служил в пароходстве конторщиком, но, так как в семье не очень-то надеялись, что Генриетта вообще сумеет обзавестись мужем, все, разумеется кроме Теобальда, были рады, что она за него ухватилась. Теобальд же надеялся, что даже она сделает хорошую партию. А уж коль скоро Роберта повысили из конторщиков в мужья, ему без труда нашли применение в фирме Беккеров.

Беккеры торговали зерном. Контора их располагалась в небольшом доме у причалов, и там же они и жили. Но если бы кто по глупости усомнился в размахе и значительности сделок, заключаемых на первом этаже, ему довольно было бросить взгляд на солидную роскошь остальных этажей, чтобы убедиться в своей ошибке. Беккеры во всем предпочитали добротность и солидность, а дело с избытком давало для этого средства.

Бартоломью Беккер, отец нынешних заправил фирмы, придерживался старых добрых правил: был усерден, расчетлив и осмотрителен, благодаря чему и создал крупную фирму. Потом, подготовив место для каждого из трех старших сыновей, а младшего, Теобальда, пустив по юридической части — пусть будет кому охранять интересы семьи, старик слег в свою широченную, отделанную медью кровать, над которой для пущей важности был сооружен балдахин красного бархата, а сбоку для удобства приделаны ступени красного дерева, — и умер. Умер как раз тогда, когда пора было ввести некое разумное новшество, дабы дело шло вровень со временем.

Перед самым концом старик Бартоломью призвал сыновей в ту же спальню с высоким потолком, где всех их зачал, велел посадить себя на постели и дал им последний наказ: жениться и сестру тоже постараться выдать замуж.

Жизнь вне брака старик Бартоломью считал мерзостной. Он полагал ее не только опасной для души, но и пагубной для дела. Короче говоря, брак — залог устойчивости и уверенности в будущем. Свой успех в жизни он приписывал главным образом ранней женитьбе на Анне, дочери старшего приказчика, под началом которого служил. Они поженились, когда Бартоломью было двадцать два года, а ей восемнадцать. И в приданое она принесла ему ублаженность. Их гнездышко подле пристани стало средоточием желаний молодого мужа, и тем самым Анна

способствовала успеху фирмы куда больше, чем думала сама. Ибо, пока молодые люди той поры, его партнеры и конкуренты, дни и ночи проводили в погоне за удовольствиями, Бартоломью Беккера всегда можно было застать в бухгалтерии: зная, что предмет его желаний пребывает в их супружеской постели, он преспокойно щелкал на счетах. Годы шли, и мысль, что дородная, податливая Анна, чаще всего не порожняя, сидит с книжкой и будто читает, а на самом деле позевывает и прислушивается, не раздадутся ли на лестнице его шаги, неизменно окрашивалась той мерой желания и надежды, что оно исполнится, какая помогала ему сидеть и щелкать на счетах до тех пор, пока все у него не будет в ажуре. Таким образом, он зарабатывал для нее все больше денег. Наверно, все-таки нельзя сказать, что каждый пенни, заработанный Бартоломью, — заслуга Анны, но именно благодаря ей, пока другие спали или кутили, он прибавлял к своему состоянию тот лишек, который и выделил фирму Беккеров из прочих фирм, торгующих зерном. В руках вдохновляемого своей Анной супруга скапливалось все больше богатств, он окружал ее все большей роскошью, а красота ее среди этой роскоши становилась все неприметней. Однако память его сохранилась лучше зрения, и на смертном одре он говорил о красоте Анны дней ее молодости. И, напомнив ей о том, как счастливо они жили, он напоследок завещал ей хорошо обходиться с женами сыновей. Как ей вести себя с зятем, он говорить не стал — боялся, видно, что такового вообще не окажется. Анна обещала умирающему безоговорочно исполнять его волю.

И потому, когда Теобальд возражал против каждой новой невестки, ему приходилось вступать в спор не только с братьями, но и с матерью.

— Ты что, забыл последнюю волю отца, Теобальд? — всякий раз зывала к нему Анна. — Ну что за нелепость? Что можно сказать против этого брака?

— А за него что можно сказать? — резко возражал он.

Когда они обсуждали помолвку Эрнеста и Теобальд в третий раз вывел мать из себя все тем же вопросом, она не стерпела и ответила ему прямо-таки неподобающим образом:

— В конце концов, то же самое можно было сказать о женитьбе твоего отца на мне!

Разумеется, именно это и было на уме у Теобальда, но

как такое скажешь матери? Конечно же, ему и братьям следует преуспеть больше отца — сделать шаг вперед, а не топтаться на том же месте. Одно дело — старик Бартоломью, который в начале своего пути вполне мог позволить себе роскошь жениться на девушке своего круга, и совсем другое дело, когда его сыновья, которых он прочно поставил на дорогу успеха, поворачивают назад и берут в жены девушек ничуть не лучше своей матери.

— Не лучше матери! — оскорбленно воскликнула Генриетта. Она ушам своим не верила. О Шарлотте и Джулии она была самого высокого мнения, но невестка есть невестка, и разве можно поставить их рядом с ее матерью. — Не лучше матери! — повторила она пронзительным от возмущения голосом. — Да как можно их сравнивать с мамой! Я потрясена твоей непочтительностью, Теобальд.

Но что ни скажи, Теобальд все переиначит.

— Значит, ты все-таки согласна со мной, Генриетта? — сказал он.

— Ничего подобного, — закричала Генриетта, — ты прекрасно знаешь, Джеймс и Эрнест первыми скажут, как ни хороши Шарлотта и Джулия, маме они и в подметки не годятся. Оба сколько раз это говорили, ты сам слышал.

Так оно и было.

В день своей свадьбы Джеймс встал и, обняв за талию новобрачную, которая сразу вся залилась краской, обратился к семье и друзьям с такими словами:

— Если Шарлотта будет хотя бы наполовину такой хорошей женой, как мама, я буду считать себя счастливым человеком.

И Эрнест на своей свадьбе сказал в точности те же слова, дав Джеймсу случай вновь выразить все те же чувства.

— А я что говорю, — сказал Джеймс, и все три жены: Анна и обе молодые, Шарлотта и Джулия, — покраснелись, и все три хором отклонили столь лестный комплимент, хотя старая Анна с довольным смешком повела голову в сторону большого, отделанного бронзой буфета, уставленного бутылками вина и иных горячительных напитков и огромными сверкающими бутылками шампанского — всё из отличного погреба, которому положил начало старик Бартоломью.

— Я никогда не обращаю внимания на комплименты, которые мне говорят на свадьбах, — сказала Анна.

Однако все видели, что она довольна и счастлива. Но в эту минуту между красными гвоздиками и адиантумом, свободно простирающим листья из оправленной в серебро вазы посреди свадебного стола, Анна вдруг увидела лицо младшего сына и, откинувшись на стуле и понизив голос, сказала Джеймсу, проходившему мимо с бутылкой «Вдовы Клико», которую он никому не пожелал доверить:

— Сделай милость, налей Теобальду. Мне прямо тошно от его кислой физиономии.

Да, Теобальд, совершенно трезвый, угрюмый, сидел между Генриеттой и Сэмюелом — он упрямо занял чужое место, не посчитавшись с тем, как хотели рассадить гостей хозяева, и оттого две женщины — старшая сестра и незамужняя тетка новобрачной — оказались рядом. Теобальд не пожелал сесть между ними, и настаивать никто не решился.

— У меня бы он сел где полагается, — сказала Джеймсу Шарлотта, когда, разлив шампанское по бокалам, он снова занял свое место подле нее и она узнала, что ему шепнула Анна. — У Теобальда хватает странностей, но вряд ли он стал бы вести себя невежливо с незнакомыми.

— Ну, не знаю, не знаю, — хмуро возразил Джеймс. — Вспомни, как он вел себя на нашей свадьбе. Он был не очень-то вежлив с... — Джеймс прикусил язык. Он чуть не сказал «с твоими родными», но вовремя заменил их «нашими гостями».

— Ну, это другое дело, — сказала Шарлотта. — То ведь была первая свадьба в семье.

Но Джеймс не слушал. Он пытался прочесть выражение лица Теобальда — тот как раз повернулся и заговорил с Генриеттой. Генриетта нахмурилась. Что он там говорит, несносный братец?

К счастью, расслышать его Джеймс не мог. Теобальд оседлал своего любимого конька.

— Самое смешное, Генриетта, — говорил он, — что, несмотря на все уверения в обратном, и Джеймс и Эрнест были бы вне себя, скажи им кто-нибудь, что их жены хоть немного похожи на нашу дорогую матушку.

— Ну, внешне они, конечно, не очень похожи, — сухо отвечала Генриетта. — С этим никто не спорит. — Она всякий раз чувствовала, что, неодобрительно отзываясь о невестках, Теобальд подразумевает и ее мужа, и ей это было неприятно, а сейчас она к тому же боялась, не услышал бы

кто-нибудь слов Теобальда. Он не дал себе труда понизить голос.

— Генриетта, дорогая моя! — воскликнул он. — Ну не думала же ты, что уже в день свадьбы жены наших братьев наденут очки, лечебные чулки и корсет для матроны? Дай им время. Что до меня, хочу надеяться, что моя жена привлечет меня чем-то поинтересней стройных ножек и тонкой талии.

Однако даже Теобальд едва ли мог предвидеть, с какой быстротой его невестки утратят девичью стройность. Беременность Джулии, последовавшая, как и положено, вскоре за свадьбой, совпала с несколько запоздавшей беременностью Шарлотты, обе они преждевременно отяжелели, и было в их фигурах что-то, из-за чего, казалось, им никогда уже не стать прежними. И в самом деле, так как обе считали, что свое положение следует скрывать под солидными меховыми мантиями, скоро всех трех жен Беккеров уже почти невозможно было отличить друг от друга, разве что подойдя совсем близко...

Конечно, разрешась от бремени, Шарлотта и Джулия опять стали больше походить на себя прежних, но даже тогда из-за того, что они, следуя совету Анны, придерживались старомодных правил «есть за двоих» и при всяком удобном случае прилечь отдохнуть, ни ножки их, ни талии уже не стали тоньше. К тому же теперь обе почувствовали себя вправе носить меховые пелерины, палантины и подбитые мехом башмачки, чего не осмеливались просить, пока были всего лишь новобрачными бесприданницами. Со временем они стали расценивать подобные предметы роскоши уже не столько в зависимости от того, идут они им или нет, сколько от того, какое впечатление производят друг на друга, так что, когда Анна наконец перешла в лучший мир и все дамские безделушки и побрякушки, которые она завоевала в счастливом супружестве с Бартоломью, были распределены между дочерью и невестками, иной раз казалось, будто она не сошла со сцены, а разделилась на три, дабы остаться со своими сыновьями. И нигде сходство их жен с Анной так не бросалось в глаза, как в хорошем ресторане, куда по обычаю, заведенному Бартоломью и неизменно поддерживаемому Джеймсом, Беккеры отправлялись иной раз поужинать. Только прежде во главе стола, вся в мехах и драгоценностях, восседала Анна, а теперь по трем его сторонам сидели три ее копии.

Генриетта, Шарлотта и Джулия. Так они сидели все три, все грузные, дородные, в мехах, и однако, несмотря на деньги, которыми их осыпали, от всех, как в свое время от Анны, веяло такой заурядностью, такой посредственностью, что, когда долг вынуждал Теобальда там присутствовать, ему бывало отчаянно неловко и не по себе, и он без конца ерзал на стуле и катал хлебные шарики. Однако он не мог избегать этих семейных сборищ. Надо, чтобы семья была представлена должным образом, объяснял он Сэмюелу, который в какой-то мере разделял его взгляды. В конце концов, хотя старик Бартоломью сделал младшего сына адвокатом ради блага семьи, сам Теобальд тоже не оставался в накладе. Практика его зависела главным образом от деловых связей Беккеров, и потому никак нельзя было пренебрегать семейными ритуалами. Но было это ему не по нутру. В самом деле, еще совсем мальчишкой, в шестнадцать-семнадцать лет, Теобальд был преисполнен невесть откуда взявшейся гордости и честолюбивых устремлений, а когда к этому прибавился интеллектуальный снобизм и профессиональное тщеславие, семейные сборища превратились для него в сущую пытку. При жизни Анны сносить их помогала искорка сыновней преданности. Без матери ему только и удавалось через силу их вытерпеть. Ведь, раз уж он оказывался там, он, если надо, мог по крайней мере направить события по подходящему руслу. Немножко такта — и вполне можно все слегка повернуть, и ограниченность их не будет бросаться в глаза.

— Не сюда, Генриетта! — Он вовремя подхватит сестру под руку и поведет всех в укромный уголок ресторана, а дай им волю, они усядутся в самой середине зала. — А вон там не лучше? — шепнет он и поведет их к столу за колонной или за пальмой в кадке.

Не то чтобы он их стыдился. Стыдиться решительно нечего. В самом деле, одеты Беккеры благопристойнее всех в ресторане и держатся, уж конечно, куда достойней большинства. К тому же все как один любят хорошо поесть, и это почти искупает неточность произношения, когда они читают меню. А Джеймс, по праву старшего всегда направляющий за столом, на редкость щедро дает официантам на чай. И все же Теобальду каждый раз бывало неловко, и он люто ненавидел эти трапезы.

— У тебя что, развинтились нервы, Теобальд? — спросила однажды Генриетта, нахмурясь при виде отвратитель-

ных хлебных катышков вокруг его тарелки. Ее больше всех из семьи уязвило, что он увел их к столику, стоявшему в стороне. — Не понимаю, зачем тебе понадобилось усаживать нас здесь. Во-первых, стол слишком маленький, а во-вторых, тут собственные мысли и те не услышишь — оркестр прямо над ухом.

Стол стоял в довольно темном углу, за кадкой с пальмой, и оркестр и вправду оказался так близко, что, заказывая блюда, Джеймсу приходилось просто тыкать пальцем в меню, иначе официант его не понимал.

— Я бы предпочла сидеть вон там, — сказала Генриетта, указав на стол и больший и лучше расположенный, но в эту минуту оркестр звучал приглушенно, Джеймс услышал слова сестры и поднял глаза.

— Хочешь, чтоб мы перешли за другой стол, Генриетта? — спросил он. — Еще не поздно: я еще не заказал.

При одной мысли о том, какая сразу поднимется суета, Теобальд весь съезжился. Шарлотта и Джулия уже взялись за палантины и сумочки — сейчас встанут. Левый глаз Теобальда начал подергиваться, даже шея побагровела.

— Ну чем нам здесь плохо? — воскликнул он. — Чего ради обращать на себя внимание!

Генриетте поневоле стало его жалко.

— Да вполне можно остаться и здесь, Джеймс, — сказала она, снова поудобнее усаживаясь в кресле и перекидывая через ручку меховое боа. — На всех ведь не угодишь, хотя, право, не пойму, о чем это Теобальд толкует, кому это мы будем бросаться в глаза, нас тут никто и не замечает.

В голосе сестры зазвучала досада, и Теобальду стало совсем уж не по себе. Он быстро скрестил и развел под столом свои длинные ноги, выхватил из кармана носовой платок, сунул обратно, опять выхватил, он жаждал хоть как-то от них от всех обособиться, но где уж там. Как ни странно, слова сестры вдруг больно задели его. Она попала в самое больное место. Оттого-то ему и не по себе, что никто на них не смотрит. Они здесь единственные, на кого никто не обращает ни малейшего внимания. Вокруг, чуть не за каждым столиком, сидят люди, чем-то знаменитые. И те, кого он не знает, тоже явно чем-то интересны. Женщины выделяются наружностью, но еще того больше властной манерой держаться. Мужчины все люди значительные, и, когда самому Теобальду это не ясно, он прекрасно это

понимает по тому, как ведут себя официанты: ведь если Беккерам приходится иной раз ждать следующего блюда десять, а то и двадцать минут, те только пальцами щелкнут, и официанты кидаются к ним со всех ног. К тому же почти все они знакомы друг с другом. Сидящие за разными столиками постоянно переговариваются между собой, обмениваются сплетнями.

Да, Генриетта была права. Беккеров решительно никто не замечал. Среди этих шумных, несмущающихся людей Беккеры обращали на себя внимание только тем, что никто не обращал на них ни малейшего внимания. Они затем и ужинали в ресторане, чтобы поглазеть на других людей. Теобальд оглядел свой стол, женщин, все семейство. Вот они сидят, вялые, молчаливые, усердно жуют, а глаза прикованы к кому-нибудь за другим столиком, кто их заинтересовал. Беседы не ведут, разве что попросят передать соус или приправу.

Ну а мужчины... Теобальд оглядел братьев. Они тоже то и дело отрывали взгляд от тарелок и, следуя за взглядом жен, озирали прочих ужинающих. Общих тем у них, пожалуй, больше, чем у жен, но попробуй заведи разговор, когда между тобой и собеседником восседает дородная супруга.

Теобальд в досаде прикусил губу и с ожесточением принялся за суп. Сегодня они раздражали его больше обычного. Для чего, спрашивается, его вытащили из уютной квартирки — чтоб глазеть на незнакомую публику? Он был оскорблен за себя и еще больше за родных. Экое признание собственной неполноценности! И почему, спрашивается, им считать себя хуже других? Если говорить о деньгах, разве они не среди самых денежных людей в городе? А что касается ума, что ж, состояния, как у них, ни дураку, ни тупице нынче не нажить. Такого толкового дельца, как Джеймс, пожалуй, днем с огнем не сыщешь. Нет, Беккеры ничуть не хуже всей этой ресторанной публики.

— Послушайте! — Теобальд оживился. Раз уж он тут с ними, он постарается вдохнуть жизнь в их застолье. — Сегодня в суде рассказывали забавную историю, — продолжал он, исполненный решимости занять чем-то внимание родных. Чтоб легче сосредоточиться, он уперся взглядом в большой мельхиоровый судок. Быть может, удастся привлечь их рассеянное внимание, и тогда хоть со стороны покажется, будто им интересно друг с другом, будто они

пришли сюда, чтобы посидеть вместе, хорошо поужинать или даже послушать музыку — для чего угодно, только не затем, чтобы глазеть на публику и выставлять себя дураками. — Я говорю, сегодня в суде рассказывали забавную историю, — повторил он, ибо в первый раз никто не услышал его слов либо не обратил на них внимания: в ту минуту взгляды всех Беккеров были устремлены на известного актера, который только что сел за соседний столик. Но нехитрая уловка Теобальда, видно, обречена была на неудачу. Слушал его, кажется, один только Джеймс.

— А я и не знал, что суд уже заседает, — сказал Джеймс. — Я не знал, что летний перерыв уже кончился. — Рассказ Теобальда, похоже, несколько его не занимал. Он лишь равнодушно поднял вилку, подцепил лакомый кусочек, а все прочее от себя отстранил.

В первую минуту Теобальд даже не понял, то ли его это позабавило, то ли раздосадовало. Может, обратить их невнимание в шутку. Хоть бы заставить их всех хорошенько рассмеяться. Хоть бы объединить в кои веки, чтоб им довольно стало друг друга и не тянуло искать развлечения вовне. Но как? И вдруг, к его удивлению, оказалось, что Шарлотта уловила слова Джеймса.

— Конечно, суд уже заседает, — сказала она и с досадой посмотрела на мужа. Теобальд уже готов был, образно выражаясь, протянуть ей руки и зачислить в союзницы, но тут она подалась вперед и стала выговаривать мужу: — Ну что за глупости, Джеймс? Неужели, когда мы входили, ты не видел в фойе главного судью с женой? Если б не начались заседания Верховного суда, они не вернулись бы в город. — И, еще раз сердито взглянув на мужа, она отвернулась, перегнулась через Теобальда и дернула за рукав Генриетту. — Хочешь посмотреть, Генриетта, вон они за столиком справа от двери. Какое у нее великолепное кольцо. Мне отсюда видно. А в бархатной накидке — это их дочка. Как она тебе? Ее считают хорошенькой.

Никто, тем более сам Теобальд, в этот вечер уже не поминал его забавную историю, к тому же он со стыдом сознавал, что именно из-за его неудачной попытки ее рассказать наименее любопытные из семьи и меньше всех склонные сплетничать Генриетта и Джеймс весь ужин вытягивали шеи, стараясь разглядеть жену и дочь главного судьи. словно те иной породы! Некие высшие существа, которых им, Беккерам, милостиво разрешили лицезреть.

Этими самыми словами он все и сказал Сэмюелу, когда позже вечером они пешком возвращались из ресторана. Только они, холостяки, и могли возвращаться с этих семейных сборищ пешком. Джеймсу, Эрнесту и мужу Генриетты приходилось нанимать кебы, чтобы доставить жен под супружеский кров.

Сэмюел и Теобальд снимали квартиры, но, конечно, в разных местах: Сэмюел считал целесообразным жить поближе к конторе Беккеров, а Теобальд полагал, что в интересах практики лучше жить в более фешенебельном квартале, хотя это и подальше и связано с некоторыми неудобствами.

— Для адвоката хороший адрес весьма существен, — говорил он.

Его раздражало, что приходилось без конца объяснять это семье. Понимал его один лишь Сэмюел. Он даже два раза обмолвился, что и сам подумывает последовать примеру брата. Однако пока ему и так было хорошо. Для холостяка квартира его вполне подходила.

Братья шли по улице, не слишком оживленно, но дружелюбно беседовали, устремив взгляд под ноги на тротуар, и лишь время от времени, в пятнах бледного света уличных фонарей, поглядывали друг на друга, показывая, что слушают собеседника.

Ужин доставил Сэмюелу истинное удовольствие. И шел он сейчас тоже с удовольствием. Ночные улицы были какие-то призрачные, и ему это нравилось. В зеленоватом свете луны, точно в свете рамп, освещенные окна казались искусственными, будто нарочно подсвеченные квадраты целлулоида. Жаль, что Теобальд так упорно возвращает его к действительности. Но чего еще и ждать от Теобальда.

— Нет, ты видел, каковы они сегодня были, Сэмюел? Видел, как пялили глаза на главного судью и его жену? Видел, как вертелись на стульях и вытягивали шеи?

— Да нет, я ничего такого не заметил, — отвечал Сэмюел. Ему все еще не хотелось всерьез втягиваться в разговор. На другой стороне улицы высоко в окне погас свет. Что там сейчас, в той комнате? Что там за люди и что их заботит?

В нем шевельнулось смутное любопытство.

Но Теобальд не унимался.

— То есть как? — вскипел он. — Да ты и сам был хорош.

Сэмюел неохотно оторвался от окна, поглядел на брата и вздохнул.

— А чем плохо смотреть на людей? — кротко спросил он.

Теобальд остановился как вкопанный.

— Ты знаешь это не хуже меня, Сэмюел, — ответил он. — Когда глазаешь на кого-то, кто хоть чуть выделяется, сразу видно, каков ты сам. Это все равно, что признаться в собственной неполноценности, и я-то уж нипочем не стану этого делать. — Сдерживаемая весь вечер злость готова была обрушиться на беззащитного Сэмюела. — Почему на нас нигде никто не глазает? Неужто среди нас нет ни одного, достойного хоть чем-то привлечь взгляды, и мы только и способны разглядывать других?

Сэмюел не ответил — он не знал, что разумнее: ответить или промолчать. Слова Теобальда, быть может, всего лишь затянувшийся взрыв, а ответь ему, и начнется спор. Минуту-другую шли молча, и он уже подумал было, что поступил разумно. Но у следующего фонаря Теобальд опять остановился.

— Никогда к этому не привыкну! — воскликнул он.

Сэмюел искренне изумился.

— К чему?

Но Теобальд поднес ему все ту же пилюлю, только в новой оболочке.

— К их убогим бракам, — ответил он. Это, конечно, опять про Джеймса и Эрнеста. Сэмюел вздохнул. Ну, пошло-поехало! — Как подумаю, тоска берет, — продолжал Теобальд. — Генриетта, бог с ней, а вот какие возможности упустили братья, просто думать не могу, ведь и с положением люди, и не уроды, а главное, при таких-то деньгах. Выбирай кого хочешь. Великолепно могли жениться. А они что сделали? — Не в силах найти достаточно язвительные слова, он лишь фыркнул с безграничным презрением. Потом протянул руку и похлопал Сэмюела по плечу. — Теперь вся надежда на тебя, старина, — сказал он.

Хоть Теобальд и был моложе, отчего слова его и жест приобретали неприятный покровительственный оттенок, Сэмюел был польщен. И сразу же стал слушать брата куда внимательнее, чем слушали его обычно все Беккеры. Не то чтобы он одобрял бредни Теобальда. Просто такая в

него вера приятно щекотала самолюбие, хотя что-то в поведении брата по-прежнему было ему не по вкусу.

— Надеюсь, Сэмюел, когда придет твой черед, ты выберешь получше, — сказал Теобальд, — Надеюсь, ты захочешь подняться ступенькой выше.

Вот оно. Вот он, скрытый смысл, который ему не по душе. Прежде никак не удавалось его уловить. Весь этот разговор о необходимости подняться повыше означал, что нынешнее положение семьи не устраивает Теобальда, а это ему, Сэмюелу, совсем не нравится.

— Послушай, Теобальд, — сказал он. Они как раз проходили под очередным фонарем, и теперь остановился Сэмюел. — Не знаю, про что ты толкуешь, и не знаю, на какую еще ступень хочешь подняться ты, я же, по-моему, знаком в нашем городе буквально со всеми, кто хоть что-то весит. Да вот только сегодня утром я разговаривал за чашкой кофе с сэром Джошуа Ландоном и...

Сэмюел старался говорить небрежно, однако имя баронета невольно произнес каким-то не своим голосом, а пытаясь изобразить безразличие, даже выпучил глаза. Он отступил на шаг-другой, мол, ему надо прокашляться, и укрылся за большим, серого шелка носовым платком с огромной монограммой, вышитой лиловым шелком в цвет стрелкам на серых фильдеперсовых носках: был он самый элегантный из Беккеров. Но у него хватало ума сообразить, что взгляды младшего брата оказывались хоть сколько-нибудь приемлемыми для Беккеров только тогда, когда тому удавалось остаться с кем-нибудь из семьи один на один, вот как сейчас, — ведь и советы его и критика всем им были не по вкусу, и никто не желал принять их на свой счет, но, обсуждая других членов семьи, кой в чем можно было с ним и согласиться.

И сейчас Сэмюел был, разумеется, уверен, что слова Теобальда направлены вовсе не против него. Разве что, говоря о прошлом других членов семьи, Теобальд хочет предостеречь его, Сэмюела, ведь он при всей своей элегантности вовсе не закоренелый холостяк. В сущности, он не обладает стойкостью истинного холостяка и сейчас, по время этой ночной прогулки с Теобальдом, чувствует, что долго ему уже не продержаться. Так что его и тянуло поговорить на опасную тему о браке, и одновременно хотелось бы избежать этого разговора. Он чувствовал однако, что упомянул о баронете весьма к месту: замечание это

может увлечь Теобальда в сторону, и он не станет учинять ему допрос. Но, увидев, какое у Теобальда стало лицо, Сэмюел внутренне поежился — похоже, он сделал неверный шаг и сейчас его обойдут с фланга.

— Да, да, с сэром Джошуа Ландоном, — запальчиво повторил он, словно понял, что позиция его уязвима, и счел за благо ее укрепить. — Он сам подошел и сел за мой столик. Мы на редкость интересно побеседовали.

Но если в первый раз он посмотрел на Теобальда, будто говоря: «Ну, видал?» — теперь он словно спрашивал: «Ну, что ты имеешь против?»

Однако у Теобальда была еще одна весьма досадная привычка, несомненно порожденная его профессией. Он не спешил ответить даже на самое безобидное замечание собеседника, заставляя того томиться в беспокойном ожидании, и ответ тем самым приобретал особый, тревожащий смысл.

— Дорогой мой Сэмюел! — наконец-то заговорил он. — Я нисколько не сомневаюсь, что ты нередко сидишь за столом с подобными знаменитостями и, надеюсь, с людьми поинтересней этого сэра Джошуа. В местах общественных кого только не встретишь!

Шея под тяжелым подбородком Сэмюела побагровела. Возмутительный выпад. Конечно же, опять профессиональный трюк. У Беккеров такие хитрые приемы не в обычае. Но это вовсе не значит, что он, Сэмюел, не сумеет при необходимости прибегнуть к кой-каким уловкам и побить бесовестного братца его же оружием. Что у того на уме, ему ясно. И он ответил брату в том же ключе:

— Забавно... как раз сегодня сэр Джошуа сказал мне буквально эти самые слова, — как мог небрежнее заметил он. — Об этом он и говорил, с какой разношерстной публикой встречаешься в таких вот общественных местах. «Должен признаться, Беккер, — сказал он мне, — я всегда рад видеть вас или кого-нибудь вроде вас, кто может составить подходящую компанию, когда уж приходится бывать в таких местах».

Говоря так, Сэмюел вновь обрел уверенность, чувствовал, что очень даже ловко отбил адвокатский выпад. На мгновение ему даже показалось, что старик Беккер мог с таким же успехом и из него, Сэмюела, сделать законника. Конечно, теперь, после стольких лет, сказывается опыт, но что до природного ума и сообразительности, он в любую

минуту готов скрестить шпаги с Теобальдом. Что ж, похоже, Теобальд рад бы взять свои слова обратно. Вы только послушайте его!

— Я и не знал, что ты так близко знаком с бароном,— говорил Теобальд.

И как ни старался Сэмюел, ему не удалось скрыть удовлетворение. Теобальд чуть ли не извиняется. Что ж, теперь можно проявить великодушие.

— Как же, как же. Я давным-давно его знаю,— сказал он.— Я бы хотел и тебя с ним познакомить, надо будет это устроить. Ты бы мог приехать пообедать со мной в городе, верно? — Сэмюел взглянул на младшего брата. Похоже, совсем сник бедняга. Вот бы Джеймсу и Эрнесту увидеть его такого! — Да,— сказал он, готовый насладиться своим превосходством,— по правде говоря, я уже подумывал вас познакомить. Баронет может тебе пригодиться. И я думаю, он будет рад случаю сделать мне одолжение: не скрою, за годы нашего знакомства я-то не раз оказывал ему всякие услуги.

— Благодарю, Сэмюел,— сказал Теобальд с таким смиренным видом, что Сэмюел просто глазам не верил. И вдруг ему стало не по себе. Не слишком ли кротко прозвучал голос Теобальда? Да, несомненно. А что он такое говорит? Как ни мило это звучало, Сэмюел насторожился.

Но Теобальд всего лишь благодарил.

— Благодарю, Сэмюел,— сказал он.— Я, право, буду рад.— И, чуть помедлив, продолжал: — Мне не раз казалось, что леди Ландон на вид куда умней старика. Очень будет интересно с ней познакомиться. На когда мы условимся?

С минуту Сэмюел смотрел Теобальду прямо в глаза и уже хотел было укрыться за выдумкой: мол, черкнет ему, когда договорится. Но при мысли о том, как расчетливо его заманили в эту словесную ловушку, он так разозлился, что ему уже было не до выдумок. Самая настоящая ненависть к Теобальду захлестнула его, на виске запульсировала жилка, задергались губы. Эти проявления дурного нрава были ему отлично знакомы, но он ничего не мог с собой поделать.

Наглый щенок, воскликнул Сэмюел про себя. Вот уж поистине судейский крючок. Суцая лиса. Теперь только и оставалось выпалить правду:

— Если желаешь знакомиться с леди Ландон, пускай тебя представляет кто-нибудь еще. Я знаю одного старика.

Теобальд только того и ждал. И отозвался короче некуда.

— А-а,— сказал он. И все.— А-а.— Жилка на виске у Сэмюела запульсировала неистовей, но Теобальд протянул руку и похлопал брата по плечу.— Не огорчайся, Сэмюел. Извини, что подначивал тебя, но, боюсь, у нас, судейских, это входит в привычку.

Теобальд одобрительно похлопывал брата по плечу, но смотрел на него встревоженно. До чего ж разволновался, когда его задело! Но вот Сэмюела отпустило, к нему вернулось обычное благодушие, и Теобальд отдернул руку.

— А только ты сам на это напросился, дружище,— сказал он.

Они дошли до улицы, на которой жил Сэмюел, и замедлили шаг, чтобы еще побыть вместе, ибо, хоть они, как положено, и приглашали друг друга зайти, принимать приглашение в таких случаях у них было не в обычае. Однако сегодня Теобальду хотелось задержаться с братом подольше, высказать кое-что важное.

— Бога ради, Сэмюел, хватит морочить друг друга,— воскликнул он.— Не пытайся втирать мне очки насчет своих знакомств. Конечно, ты не знаком с леди Ландон, и, уж если говорить напрямик, ни с кем таким не знаком, а был бы знаком, держал бы язык за зубами, не то все наше семейство уже присоседилось бы к этому твоему знакомству.— И тут Теобальд заговорил фальшивым высоким голосом, в котором брат тотчас узнал голос их невестки Джулии.— О, леди Ландон,— пропищал Теобальд, подделываясь под нее.— О да. О да. Я с ней пока не знакома, но они такие друзья с Сэмюелом. По-моему, она очаровательная, просто очаровательная... и такая скромная. И знаете, очень приветливая, простая... ну прямо как самая обыкновенная женщина.

Так похоже Теобальд изобразил жену Эрнеста, что Сэмюел, сам того не желая, улыбнулся. И даже немного полюбел.

— Ведь верно, а? — спросил Теобальд, не уточняя, впрочем, к чему относится его вопрос.

— Да... в некотором роде, пожалуй, правда,— ответил Сэмюел, он знал, о чем спрашивает брат.

— Ты, конечно, понимаешь, я против них ничего не

имею,— сказал Теобальд, и, хотя никаких имен он сейчас не назвал, по тому, как уничижительно прозвучало у него это «них», можно было понять, что речь идет о невестках.— Джулия, конечно, женщина весьма достойная,— продолжал он на сей раз уже без околечностей.— Носкам, которые она мне связала прошлой зимой, видно, не будет сноса, вот только цвет страшноват, но все равно, намерения у нее были самые добрые, и бедняжка Шарлотта тоже неплохая. Но жаль, что Джеймс и Эрнест не нашли себе чего-нибудь получше.

Смолчать Сэмюел не мог.

— Они счастливы! — беспомощно возразил он.

— Счастливы! Ха, еще бы не счастливы! — презрительно фыркнул Теобальд.— Их в ту пору только и заботило собственное удобство да удовольствие. Если б им и в этом не повезло, тогда вообще о чем говорить. Но счастливы они, нет ли, а я утверждаю и до самой смерти буду твердить: жаль, что их женам больше нечем похвастать.

— И в самом деле обидно, что ни у кого из них, да и у Роберта тоже не было за душой ни гроша,— с неожиданной горячностью сказал Сэмюел.

— То-то и оно! — Теобальд обрадовался согласию брата, хотя, в сущности, имел в виду вовсе не деньги. Но уточнять не стал, рад был уже и тому, что хоть кто-то с ним согласился, признал, что те трое не вполне достойны Беккеров.— То-то и оно! — повторил он.— Ну ведь это просто нелепо, почему мы с этим примирились, почему никто вовремя на них не прикрикнул. В хорошем обществе такие дела делаются более продуманно, только не вообрази, будто я за грубое вмешательство. Да ведь, когда в семье воспитано понимание своих обязательств и своего долга, никакое вмешательство и не требуется.— Он нахмурился.— Должен, конечно, сказать в защиту Джеймса и Эрнеста, что в нашей семье это понимание воспитано не было. Но...— Он умолк и посмотрел прямо в глаза Сэмюелу.— Откуда ж тогда оно у нас с тобой?

Если между братьями еще и оставались какие-то разногласия, столь сокрушительный заряд лести не оставил от них и следа.

— Ну что подделаешь, вероятно, не все одним миром мазаны,— скромно ответил Сэмюел.

— Вероятно,— только и сказал Теобальд и поспешно отвернулся, боясь рассмеяться: уж очень дурацкий сейчас

вид у Сэмюела, хотя разговор был отнюдь не шуточный и, можно себя поздравить, провел он его успешно. Если с браками старших братьев ничего уже не поделаешь, по крайней мере на Сэмюела, кажется, удалось произвести впечатление.

По правде сказать, у Теобальда были две особые причины радоваться, что он, похоже, повлиял на Сэмюела. Во-первых, он уже некоторое время назад почувствовал, что холостяцкая крепость Сэмюела долго не продержится и, пока не поздно, надо провести такой разговор. Во-вторых, он и сам начал строить кое-какие планы, и ему не хотелось еще новых заурядных родственников, которых не спрячешь.

— Ну, спокойной ночи, Сэмюел, — коротко попрощался Теобальд.

Они подошли к старому, в георгианском стиле дому, где все еще в гордом одиночестве проживал Сэмюел. Теобальд в последний раз взглянул на брата и опять поздравил себя, что так решительно высказался. Потом, дождавшись, когда тот затворил за собой дверь, не спеша зашагал дальше и с куда более легким сердцем, чем все последнее время, принялся радостно размышлять над собственными планами, — планами, о которых скоро поставит в известность семью.

Но еще прежде, чем он успел кого-либо о чем-либо поставить в известность, пала холостяцкая крепость Сэмюела.

— ...и моим выбором я в немалой мере обязан тебе, Теобальд, — с особой учтивостью сказал младшему брату Сэмюел, объявив семейству о своей предстоящей женитьбе. — Наш с тобой разговор на днях произвел на меня большое впечатление.

— Ты слышишь, Теобальд? — раскрасневшись от волнения, воскликнула Генриетта. Все Беккеры — кроме Теобальда — обожали свадьбы. Ничто не доставляло им большего удовольствия, разве только крестины. — Ты слышишь? Сэмюел говорит, ты помог ему выбрать невесту.

— Вот как? — утрюмо отозвался Теобальд. — Ну, не скажу, чтобы он с толком воспользовался моей помощью.

— Теобальд! Что это значит? — воскликнула сестра, но ответа ждать не стала. — Право же, тебе просто невозможно понять. — И в самом деле, понять его было невозможно, ведь не в пример всем прочим Беккерам Сэмюел женился на деньгах. И на больших деньгах. Он сочетался

браком с Хонорией, единственной дочерью старшего Крокера из зерноторговой фирмы «Крокер и Крокер», единственной в городе, которая по величине и значению могла хоть как-то сравниться с фирмой «Беккер и Беккер». Впрочем, как спокойно заметил Джеймс, что толку рассуждать, какая фирма весомей, раз они теперь, без сомнения, сольются — ведь Хонория единственная наследница Крокеров.

— Может, ты этого не понял, Теобальд? — сказала Генриетта, давая брату возможность отказаться от своего нелепейшего мнения.

Но Теобальд понял. Все понял. И печально покачал головой. Это они не поняли. Им казалось, что Сэмюел одержал над ним победу, да такую, которая навечно оградит их от того, что они называли его «идеями».

— Теперь Теобальду нечем будет крыть, — сказал в тот день Джеймс, когда, прежде чем объявить о своих планах всем Беккерам, Сэмюел посвятил в них его, главу семьи.

— Неужто Теобальду даже еще и не намекнули? — с жадным любопытством спросила Шарлотта, когда ей шепнули о предстоящем событии. — Дорого бы дала, чтобы поглядеть, как он примет такую новость.

Это всем хотелось знать — что скажет Теобальд.

Что скажет Теобальд? Как поведет себя? — спрашивали друг друга Беккеры, обсуждая предстоящий счастливый шаг Сэмюела. Одну только Джулию это не волновало: по ее мнению, Теобальду теперь сказать будет нечего. Сэмюел выбил у него почву из-под ног.

В этом же убежден был и Сэмюел.

— Хотел бы я знать, что он об этом думает, — сказал Сэмюел, — но, скорей всего, он промолчит.

И хотя, когда ему передали, что младший брат все-таки высказался и как именно высказался, это было для него ударом, терзаться он не стал — ведь в таких случаях может иметь место и зависть.

Только оставшись наедине с Хонорией, позволил он себе огорченно задуматься над словами Теобальда.

— Он ведь самый младший из вас, да? — спросила Хонория. Ей, у которой не было ни братьев, ни сестер, подчас трудно было разобраться в многочисленном семействе Беккеров. — Что-то, по-моему, я про него слышала, — сказала она, — а что, не помню... Но мне до смерти хочется с ним познакомиться.

— Скоро познакомишься со всеми, дорогая, — сказал Сэмюел. — Как я понимаю, Джеймс по этому случаю даст обед. — Тут он вспомнил последний обед, который давал Джеймс, и как потом они шли с Теобальдом по безлюдным улицам, и нахмурился. — Надеюсь, Джеймс согласится устроить это у себя дома, — сказал он. — Так будет удобнее, чем в ресторане, правда?

— Ну, я мало в этом понимаю, — ответила Хонория и, похоже, была разочарована. — Я рестораны люблю. Люблю глядеть на людей. Мы с папой иногда обедаем в ресторане, и только ради этого — чтоб поглядеть на людей. Вот вчера мы обедали, и знаешь, Сэмюел, кто сидел за соседним столиком? Нипочем не догадаешься — сэр Джошуа Ландон, папа с ним немножко знаком. Папа шепнул мне, кто это. И леди Ландон тоже там была. Ой, Сэмюел, она такая милая. Так просто держится! И такой обед простой заказала, ну прямо как ты, или я, или кто угодно.

Где он уже слышал эти слова? Они отдались в мозгу знакомым и неприятным эхом. Не это ли самое говорил он недавно Теобальду, и тот сразу же его отчитал?

— Нам будет удобнее встретиться у Джеймса, — сказал он и решил непременно на этом настоять.

Когда он заговорил с Джеймсом, тот без особой охоты, но согласился.

— Ладно, — ответил он, — я скажу Шарлотте, и мы выберем какой-нибудь день на следующей неделе. Хорошо?

Это не просто хорошо. Это великолепно. В кои-то веки вся семья единодушно предпочла отпраздновать помолвку в своем узком кругу. В кои-то веки все их внимание сосредоточено было на них самих. Все до единого они жаждали своими глазами увидеть, как Теобальд отнесется к богатой невесте Сэмюела. И еще по одной причине интерес их был сосредоточен на делах семьи. Прошел слух, что Теобальд сам вот-вот представит им нового члена семьи. Быть может, в своем кругу, во время обеда по случаю помолвки Сэмюела что-нибудь и прояснится? При этой мысли начинали чаще биться сердца женской половины семейства. Какова она, та, которую счел достойной себя сам Теобальд? Как же им не терпелось ее увидеть.

Кто она? Какая из себя? А главное, действительно ли отвечает высоким требованиям Теобальда? Всем до единого страстно хотелось верить, что нет на свете такой вушки. И хотелось не из каких-то особо низменных

буждений, а просто-напросто из чувства самосохранения. Как бы всем полегчало, если бы раз и навсегда можно было заткнуть Теобальду рот.

И чем определеннее становился слух, тем определеннее оказывалось охватившее Беккеров невеликодушное чувство, и наконец им осталось только либо усомниться в незыблемости Теобальдовых принципов, либо решить, что в слухе этом нет ни капли правды.

— Не может этого быть, — решительно заявила Генриетта утром того дня, когда Джеймс и Шарлотта давали свой скромный обед в честь Сэмюела и Хонории. — Никогда этому не поверю!

— А я верю! — сказала Шарлотта. — И Джулия тоже.

— А ты что скажешь, Роберт? Как по-твоему? — спросила Генриетта; Роберт пришел вместе с ней к Джеймсу, чтобы, если надо, в последнюю минуту в чем-то помочь.

— Сказать по правде, я готов поверить слухам, — ответил Роберт, не сумев сдержать ухмылку.

— А почему бы тебе не спросить Теобальда напрямик, Генриетта? — лукаво предложила Шарлотта.

— А я как раз и собираюсь его спросить, — ответила Генриетта. — Непременно спрошу при первом же удобном случае... как только окажусь с ним наедине.

Через несколько минут, оставив Роберта исправлять что-то в электрической проводке, она отправилась за цветами в горшках для Шарлотты и, только вышла из дому, на беду, под самыми Шарлоттиными окнами столкнулась нос к носу с младшим братом. И пришлось ей с места в карьер кинуться в наступление.

— Это правда, Теобальд? — выпалила она и даже руку тротнула, не давая ему пройти, словно боялась, как бы он не убежал.

— Что правда? — холодно спросил Теобальд и посмотрел на нее еще того холодней. — Ты здорова ли, Генриетта?

Выразиться яснее она уже не могла, хоть убейте, но до же что-то сказать, и она продолжала ходить вокруг около.

— Ну, если это правда, одно скажу: надеюсь, ты выбал не хуже Сэмюела.

И довольная, что, как обещала, так и поступила, Генриетта бросила торжествующий взгляд на окна — уж ко-

нечно, Шарлотта смотрит из-за гардин. В восторге от собственной отваги она теперь желала, чтобы в эту минуту Шарлотта не только видела ее, но и слышала.

Но, пожалуй, она мало потеряла оттого, что невестка ее не слышала, ведь до Теобальда, кажется, не дошло, к чему она клонит. Или все-таки дошло? Нет, он просто невозможный. Никак его не поймешь. Генриетта уставилась на брата, гадая, что у него на уме. И тотчас испуганно попятилась. Лицо Теобальда искривила судорога, словно его вот-вот хватит удар.

— В чем дело, Теобальд? — крикнула она.

— Дело! — повторил он, и, хотя он уже успокоился, вид у него был престранный. — Да скажи на милость, чем, по-твоему, так уже прекрасен выбор Сэмюела?

Генриетта просто растерялась. О ком, собственно, идет речь? О нем или о Сэмюеле? Ей казалось, это о нем, о Теобальде, она пытается что-то разузнать.

— Ну как же, — ошеломленно сказала она, — у Хонории куча денег.

— Денег! — с нескрываемым презрением отозвался Теобальд. — Что только в деньгах? Во всяком случае, для Сэмюела. На что ему деньги, у него и своих хватает. Деньги, моя дорогая, — это еще не все.

Не все? Генриетта могла бы многое на это возразить, но сейчас ее занимали не общие рассуждения, а то, что открылось ей в словах Теобальда. Она мигом сообразила, что к чему. Если в слухах о Теобальде есть хотя доля правды, значит, скорей всего, его-то суженая без гроша. Но Теобальд все разглагольствовал насчет Сэмюела.

— Никак не ждал от него такой недалёковидности, — говорил он. — Он совершает ошибку похуже всех вас.

Генриетта столько уже стерпела от Теобальда подобных колкостей, что предпочла без возражений проглотить и еще одну, зато, похоже, удастся кое-что из него вытянуть.

— То есть как? — недоуменно спросила она.

— Ну неужели не понятно! — в досаде воскликнул Теобальд. — Какая Сэмюелу разница, тридцать у него тысяч или пятьдесят. Ему надо не больше денег, а меньше. И всем нам тоже.

— Меньше денег? — Истинная дочь Беккеров чуть в обморок не упала.

— Вот именно. Я думал, у Сэмюела хватит ума хоть

раз в жизни забыть про деньги и попытаться обрести то, чего так отчаянно не хватает нашей семье.

— Чего же это? — Генриетта даже рот раскрыла от изумления.

Теобальд смерил ее холодным взглядом.

— Положения в обществе — это раз и достоинства — два, прежде всего достоинства. А Сэмюел взял и поднес нам эту посредственность, эту Крокершу. Я же говорю, его ошибка похуже ваших. Что сделали вы все? Грубо говоря, просто не вышли из своего круга, а Сэмюел еще расширил этот круг посредственностей.

Вне себя Теобальд стал размахивать руками, что, по мнению Генриетты, на улице уж вовсе неприлично, но вдруг руки его бессильно опустились, и тут ей стало за него еще тревожнее.

— Скажи, — тихо, уныло спросил он, — у этой девицы, наверно, табун родичей? Много их, по-твоему, будет сегодня у Джеймса?

— Кажется, только ее отец, — поспешно отозвалась Генриетта, — и, может быть, еще старая тетушка, но она глухая. — При этом вопросе она встрепенулась. — А что?

— Я думал, если сегодня явится не слишком много Крокеров, может, это как раз подходящий случай познакомиться вас всех с моей Флорой, — ответил Теобальд.

— С Флорой? — тупо повторила Генриетта, и тут ей кровь бросилась в голову: да ведь эта самая Флора и есть живое олицетворение слухов, которые она пыталась проверить. — Ой, Теобальд, — воскликнула она, — значит, ее Флорой зовут? То есть, значит, это правда? То есть, я хочу сказать, до нас дошел слух, но...

— Ладно, Генриетта, — оборвал Теобальд и даже позволил взять себя за руку, которую она пыталась схватить, пока слова ее спотыкались и налетали друг на друга. Больно было слушать ее несвязное бормотание, больно было и видеть то, что он принял за смущение, зная, что Флора назовет это неуклюжестью.

Но Теобальд ошибался — хоть Генриетта и вправду была в замешательстве, но не от смущения, она пыталась делать два дела сразу: и говорить и думать. А думала она изо всех сил. Ясно же, каковы бы ни были достоинства этой его Флоры, но уж несметные богатства не из их числа. Флора наверняка отнюдь не богатая наследница, не то что Хонория. Так разумно ли — в Генриетте, конечно,

говорил самый обыкновенный здравый смысл — на торжестве в честь Хонории представлять семье и другую невесту, которая, если верить предсказаниям Теобальда, во всем, кроме денег, утрет бедняжке нос. Справедливо ли это? А главное, возможно ли, чтобы она, Генриетта, единственная знала, какую бомбу собирается бросить сегодня на обеде их младший брат? Не слишком ли тяжка такая ответственность для нее одной? Может, так ему и сказать? Да, сказать необходимо.

Вот какие мысли мелькали у нее в голове, пока в знак поздравления она трясла ему руку.

— Я, конечно, мечтаю с ней познакомиться, Теобальд, — сказала Генриетта, когда наконец выпустила руку брата. — Только вот не знаю, следует ли представлять ее нам именно сегодня?

— А почему бы и нет? — сказал Теобальд. — Должен же я когда-нибудь вас с ней познакомиться.

Генриетту и по сей день жгли иные едкие замечания Теобальда по поводу Роберта, и у нее вдруг вспыхнула злая надежда. Может, он стыдится своей Флоры?

Но ей тотчас безжалостно дали понять, как сильно она ошибается. Теобальд стыдился вовсе не Флоры.

— Не сегодня, так завтра мне все равно это предстоит, — сказал он. — Рано или поздно этого не миновать, и я все-таки надеюсь, Флора не будет судить слишком строго. Такие люди обычно на редкость снисходительны к чужим недостаткам.

Генриетта судорожно глотнула, перевела дух. Неужели Теобальд и правда совершил подвиг, которого от себя ждал? Она опять глотнула. Тем важнее защитить бедняжку Хонорию от опасного сравнения.

— Все равно, Теобальд, — твердо сказала она. — По-моему, это нехорошо, по отношению к твоей Флоре нехорошо, представить ее так, мимоходом. По-моему, надо подождать и поговорить с Джеймсом, и пусть он назначит для этого какой-нибудь вечер. В таких делах лучше поступать как принято, тебе не кажется?

Прозвучало это у нее так чопорно, что Теобальд запрокинул голову и беззастенчиво расхохотался.

— Как принято? С Флорой? Сразу видно, что ты ее не знаешь. Дорогая моя Генриетта, пожалуйста, не воображай, будто она способна восседать на нашем пошлом пиршестве. Да она, верно, понятия не имеет, что можно так объ-

едаться. В конце концов, это ведь так буржуазно. Признаться, когда я говорил ей о сегодняшнем обеде, я так это представил, будто подобные сборища и у нас не в обычае. Этакая, знаешь ли, невинная ложь — изобразил, будто мы все это затеяли больше в угоду Крокерам; они, мол, народ довольно старомодный. Дал ей понять, что для нас это будет просто пытка. Так что прошу тебя, Генриетта, — на этот раз уже он взял ее за руку, — помоги мне выйти из положения, подыграй мне, ладно?

— Н-ну, если ты непременно хочешь ее привести, — медленно ответила Генриетта, — не могу же я выставить тебя лжецом. Но нелегко мне будет притворяться.

— Знаю, — сухо сказал Теобальд.

Что у него на уме, она толком не поняла, и ей совсем не нравился его тон, но, похоже, он все-таки оказался перед ней в не слишком выгодном положении.

— Надо предупредить остальных, Теобальд, — сказала она.

— Ни в коем случае, Генриетта! — воскликнул Теобальд. Это прозвучало очень настойчиво, и поверх головы Генриетты он посмотрел на окна — как бы там не услышали их разговор. — Пусть никто об этом не знает, только ты, я и Флора. Пусть для всех это будет неожиданно. Только при этом условии я и смогу уговорить Флору прийти. Иначе она не пойдет.

— Но Теобальд! — снова воспротивилась Генриетта. Нет, такая ответственность ей не по плечу. — Джеймсу я обязана сказать. И Шарлотте. От других можно скрыть, а им мы сказать обязаны. Ну как это так — привести к ним лишнего гостя без предупреждения, и как это так — Флора придет, а места для нее нет! Вдруг даже стульев не хватит! — Генриетта совсем разволновалась, словно это она хозяйка дома и это у нее на обеде разорвется Теобальдова бомба.

Теобальд только засмеялся.

— Не беспокойся, Генриетта, — сказал он. — Мы просто заглянем на минутку в конце обеда. Засиживаться не станем. Когда будут накрывать на стол, нас принимать в расчет не нужно. — Он сурово посмотрел на сестру. — Я, кажется, ясно сказал: Флора просто не поймет, как это можно вместить все, что нагромоздят на стол Джеймс и Шарлотта. — И он опять засмеялся, на этот раз от удовольствия. — Флора ест как птичка.

Птичка? Пока они разговаривали, Генриетта тщетно пыталась представить, какая она с виду, эта Флора. Но при словах Теобальда, что та ест как птичка, Генриетта вдруг взлетела на крыльях воображения, и перед мысленным взором ее замелькали ослепительно яркие воздушные создания в пестрых перьях. У нее даже голова закружилась, и наконец все они слились в крохотное существо, вроде жаворонка, летней певчей птицы, столь легкой и воздушной, что она только и знает, что парит в небесах. А быть может, это и не жаворонок... зяблик, что ли? Такая малютка с золотистыми волосами.

— Ох, Теобальд, разумно ли это? — опять воскликнула она. — Разумно ли это при таких обстоятельствах?

— При каких еще обстоятельствах? — спросил бестолковый Теобальд, но увидел, как покраснела Генриетта, и сообразил. — Ну, на этот счет тоже можешь не беспокоиться. Жизнь Флоры так наполнена, так разнообразна, что она просто этого не заметит. Уверю тебя, она не из тех, кто обращает внимание на мелочи.

— Мелочи! — Генриетта опять покраснела, на этот раз от досады. Она имела в виду совершенно определенные обстоятельства, и уж их-то мелочью никак не назовешь. Вовсе незачем присматриваться, чтоб такое заметить. Одно из них — что она опять в интересном положении и это уже начинает бросаться в глаза. Другое — что невестки тоже в интересном положении, только у обеих срок и того больше. Самое подходящее время вводить в дом такую вот пеструю птичку. Ведь образ Флоры в представлении Генриетты уже отлился в наипрочнейшую форму.

— Ты не понимаешь, Теобальд, — чопорно сказала она. — Незамужнюю молоденькую женщину это может смутить.

— Чепуха! — отозвался Теобальд. — А если и так, как же тогда Хонория?

— Ну, Хонория другое дело, — ответила Генриетта, хотя тут же подумала, что это не очень-то справедливо по отношению к суженой Сэмюела. Пухлая, упитанная, в знак своей состоятельности вся в мехах, не хуже любой матроны, она, конечно же, смутится куда меньше, чем эта птичка-невеста, у которой даже имя особенное — Флора. Да Хонория уже и сейчас с виду ни дать ни взять солидная мужняя жена.

— Ну, Хонория совсем другое дело,— как могла выразительней повторила Генриетта вместо объяснения. Мужчине такое не втолкуешь, тем более Теобальду, который вовсе ничего не понимает.

Да, сегодня Теобальд вовсе ничего не понимает.

— По-моему, ты несешь околесицу, Генриетта,— сказал он.— Только твоим положением я и могу это объяснить. Напрасно я сказал тебе. Не будем больше об этом.— И, приподняв шляпу, он шагнул было прочь.

Генриетта просто онемела. Час от часу не легче. Так как же, приведет он ее или нет? Оставаться в неведении немисливо.

— Теобальд! — воззвала она к брату.

Он все-таки обернулся, вежливость заставила.

— Так значит, ты ее не приведешь? — спросила Генриетта.

— Ничего подобного! — Он приостановился.— Я не собираюсь упустить такой удобный случай убить двумя выстрелами одного зайца... то есть нет, одним выстрелом двух зайцев. До свидания, Генриетта.— И теперь уже решительно он пошел прочь.

Вконец расстроенная Генриетта смотрела ему вслед. Брат всегда изъяснялся неторопливо, обдуманно, нечаянная оговорка для него величайшая редкость. Генриетта покачала головой. Должно быть, он совсем помешался на этой Флоре... Ее даже бросило в дрожь. Каково это — принимать у себя особу, которая Теобальда и того свела с ума!

И все утро, пока она старалась выполнить поручения Шарлотты, ее бросало в дрожь от дурных предчувствий. А стоило вспомнить оговорку Теобальда, и даже ноги подкашивались. Но вообще-то Генриетта была женщина здравомыслящая и разумная. К тому времени, как она покончила со всеми поручениями и вернулась в дом Джеймса, она уже знала, как поступит,— совершенно независимо от внушений Теобальда. Она ни словом не обмолвится о предстоящей неожиданности. Ведь как ни непохоже это на Теобальда, он мог над ней и подшутить. А если так, какой же душой она будет в глазах всех остальных. Она отдала Шарлотте цветы, бумажные папилютки для отбивных котлет и еще сливок в запас и отбыла вместе с Робертом, никому не открыв секрета про Флору.

Лишь вечером, когда она заняла место, отведенное ей между отцом Хонорией и Эрнестом за радующим глаз сто-

лом Шарлотты, она со стыдом по-настоящему ощутила бремя нечистой совести.

— Тебе нездоровится, Генриетта? — по крайней мере дважды спросила Шарлотта, один раз за супом, другой — за рыбой, когда Генриетте почудились шаги на лестнице и лоб у нее покрылся испариной.

Ох, почему она никому не сказала, хотя бы Роберту? В отчаянии она поглядела на него через стол. Может, еще не поздно поделиться с ним своими страхами? Но Роберт не замечал ни сидящей слева от него Джулии, ни тем более сидящей напротив Генриетты, уж очень боялся подавиться рыбьей косточкой. Он взял себе за правило, когда ест рыбу, не разговаривать.

Но вот и суп, и рыба съедены, а Теобальда нет как нет, и скоро обед подошел уже к середине, по крайней мере если считать по числу поглощенных блюд, хотя, если принять во внимание их сытность, можно было бы уже подумать, что дело идет к концу. Успешно одолев самые большие препятствия, гости, так сказать, выходили на последнюю прямую и теперь уже, несомненно, станут набирать скорость, чтобы галопом прийти к финишу. Иными словами, с супом из черепахи, с рыбой, с жареным поросенком и гарниром из горы картофельного пюре, холмиков брюссельской капусты и ложечки-другой яблочного соуса было уж покончено, а салат из зелени, анчоусы на поджаренном хлебе, кофе и мятный ликер, надо думать, много времени не потребуют. Теобальда же все нет как нет! Если он хочет застать их за столом — а таково, ей кажется, было его намерение, — ему следует поторопиться.

Хотя Генриетта и сердилась на брата, она невольно ела так медленно, что почувствовала на себе недоумевающий взгляд Шарлотты, испугалась, как бы невестка не подумала, будто десерт не удался, и пришлось последовать примеру остальных и поскорей заглотать, что осталось, быстро и жадно.

Мигом появились анчоусы. Остатки их мигом были убраны, и на сцену выступили сыр и сухое печенье.

И в эти минуты, когда из-за хруста печенья трудно было что-либо расслышать, Генриетте вновь почудилось, что приехал Теобальд. Она услышала, как у дверей Джеймса остановился экипаж. Должно быть, это Теобальд. Конечно же, такая особа, как Флора, пожелает приехать в экипаже. Генриетта отложила печенье и прислушалась.

Да, из прихожей доносятся голоса. И смех. Она огляделась. Неужели, кроме нее, никто не слышит? Очевидно, нет. У Генриетты сердце замерло. И вдруг запоздало всколыхнулось в ней чувство долга: решено, она скажет им, что сейчас на них обрушится, она подготовит их к удару.

— Извините меня. Простите, что перебиваю,— воскликнула она, как на грех, в ту самую минуту, когда впервые за весь вечер Хонория проявила уверенность в себе, к которой ее обязывало положение, и принялась что-то рассказывать. Генриетта тотчас поняла, как не вовремя вмешалась, но выбора не было, пришлось продолжать.— Я должна всем вам кое-что сказать,— в отчаянии говорила она.— Я знала с самого утра, но он хотел преподнести сюрприз.

Попробуй Генриетта в другое время обратиться ко всему застолью, ее писклявый голос и не услышали бы, но сейчас все с усиленным вниманием слушали, что пытается рассказать Хонория, и потому не упустили бы ни единого слова Генриетты.

— Что такое? — хором вскричали сразу несколько Беккеров и посмотрели на Генриетту, а потом друг на друга. Один только Джеймс сохранял спокойствие.

— Кто хотел преподнести, какой сюрприз? — громко, даже резко спросил он сестру.

— Теобальд, конечно,— нетерпеливо ответила Генриетта: не глухие же они, должны бы узнать смех Теобальда, хоть это и большая редкость, а именно он только что расхохотался там, на лестнице.— Теобальд, конечно, кто же еще? — позволила она себе этот выпад, прежде чем устремить взгляд на дверь.

— Теобальд? — При имени брата Джеймс сделал вид, будто ему не так уж и любопытно. Да и на остальных лицах выразилась странная холодность, ведь, если б Теобальд не пришел, это был бы первый случай, что кто-то из Беккеров умышленно не явился на семейное торжество. И хотя Теобальд заранее предупредил, что не сможет прийти, в душе все были им недовольны.

— Теобальд? — громко переспросила глухая тетушка Хонории, ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Ну, это еще один брат,— нетерпеливо пояснила ей Хонория.

— Тот, который тебе так не нравится? — осведомился отец Хонории, даже не посчитав нужным понизить голос,

так как уши всех Беккеров жадно ловили сейчас совсем иные звуки.

Одна Шарлотта услышала его и в качестве хозяйки дома сочла своим долгом вступить за Теобальда.

— Как мило, что он все-таки смог приехать, — сказала она. Правда все равно выйдет на свет, и она прибавила не слишком последовательно: — Не верилось, что, какие бы там у него ни были дела, он будет занят весь день, да еще и весь вечер. Я рада, что он решил все-таки заглянуть к нам хоть на минутку.

— Но как раз это... это я и хотела вам сказать! — воскликнула Генриетта, обращаясь прежде всего к Шарлотте, а уж потом ко всем прочим. — Он собирался прийти! Он хотел преподнести сюрприз! — Она так разволновалась, даже встала со стула. — Он приехал с ней!

— С ней? С кем это? — раздался хор голосов.

— С Флорой! — выкрикнула Генриетта. — Сюрприз — это Флора!

— Флора? — Джеймс бросил на сестру испуганный взгляд. — Ты что, с ума сошла, Генриетта? — воскликнул он, ибо при звуке этого имени у него шевельнулось смутное воспоминание и перед мысленным взором заплясали пестрые, сверкающие образы. Кажется, была в дни его юности такая оперетка, «Флора Дорас»? Что это, спрашивается, нашло на Генриетту? Флора? Флора? — Что ты такое говоришь? — сердито спросил он.

Генриетта еле удержалась, чтоб не сказать, что Флора — это птичка. Но вдруг ей вспомнилась оговорка Теобальда — двумя выстрелами убить одного зайца — и все, что он рассказал о своей невесте, и, когда Теобальд распахнул дверь столовой, Генриетте показалось, будто один выстрел сразил всех Беккеров и всех гостей, сколько их ни сидело за столом.

А что же птичка?

Генриетта смотрела во все глаза. На руке Теобальда повис, нет, ухватился за нее тоненькой ручкой эдакий зяблик, махонькое существо, какое она и ожидала увидеть.

Флора оказалась крохотная. Совсем крохотуля. И хрупкая, кажется, сожми ее покрепче, и раздавишь — как птичку. Но хоть и крохотная, она была на редкость складенькая — опять же как птичка, и наряд ее, казалось, прилегал к ней, как перышки, сросся с ней, так что сама она его, кажется, даже и не замечала. Наряд был для нее все

равно что для птицы перья: неотъемлемое одеяние. Да, похоже, Флора вовсе и не думала, как она выглядит. Не успела еще она впорхнуть в комнату, а взгляд блестящих ее глаз уже заскользил по лицам и острое личико засветилось любопытством. Сходство с птичкой еще сильнее, оттого что личико худенькое, резкое очерченное, а подбородок едва намечен, и кажется, будто головка, точно у птицы, поворачивается под прямым углом к крохотному тельцу. Не в пример Беккерам, которые старались не выдать любопытства, она смотрела на них всех с откровеннейшим жадным интересом. Казалось, даже сердце ее колотится быстрее, и все хрупкое тело дрожит и трепещет, и ей просто необходимо дать выход радостному волнению: того и гляди, захлопает крыльями, взъерошит перышки или ухватится покрепче за свою жердочку и запоет, запоет так восторженно, что и жердочка тоже затрепыхается.

Однако не такова была ее жердочка — Теобальд, и радостный трепет Флоры не передался руке, на которую она опиралась. Теобальд поглощен был одним: хотел поэффектней предстать перед родней.

— Ну, здравствуйте все! — сказал он и по-хозяйски прижал маленькую, с длинными, сверкающими лаком ноготками руку Флоры. — Привет, Сэмюел. Привет, Хонория. Хочу представить вам всем еще одну будущую Беккер.

Бог весть как Беккеры приняли бы новость, свались она на них уж вовсе неожиданно, но Генриетта все-таки успела смягчить удар. Теобальд огляделся, надеясь увидеть изумленные лица, а увидел бессмысленно одеревенелые. Все уставились на Флору и на него в тупом оцепенении.

— Так как же? — повторил он уже без прежней бодрости. — Вы что ж, не рады нам?

При этих словах Джулия ткнула в бок опарашенного больше других Джеймса, и он неуклюже поднялся.

— К сожалению, мы уже почти отобедали, — сказал он, оглядывая стол. — Но мы как раз собираемся пить кофе. — Тут он впервые осмелился прямо посмотреть на Флору. — Надеюсь, вы не откажетесь от чашечки?

А! Это уже лучше. Молодчага Джеймс! Беккеры с облегчением перевели дух.

— Где они сядут? — спросила Джулия и стала отодвигать свой стул. Не сказать, чтобы за массивным сто-

лом красного дерева было куда двигаться, народу и так хватало. Вряд ли удастся втиснуть сюда еще один стул, тем более два. К тому же все по примеру Джулии принялись освобождать место для вновь пришедших, и скоро вокруг стола царила полная неразбериха. Джулия двигала свой стул вправо, Генриетта пыталась подвинуть свой влево, а Эрнест, сидевший по другую сторону от нее, двигался вправо и столкнулся с Шарлоттой, которая двигалась влево.

— Они словно в какую-то игру играют, — шепнула Теобальду Флора, но ее, к своему стыду и отчаянию, услышала Шарлотта, которая, перегнувшись через стол, пыталась привлечь внимание этого глупого-преглупого Джеймса, как она в мыслях сердито его обругала. И, махнув рукой на приличия, она крикнула ему:

— Ну почему не выпить кофе в другой комнате?

— Минутку!

К всеобщему удивлению, слово это прозвучало нежно и мелодично, как музыка. То был голос Флоры.

— Пожалуйста, не беспокойтесь! — воскликнула она. — Пожалуйста, прошу вас, оставайтесь на своих местах. Мы уже обедали. Не обращайтесь на нас внимания.

Флора сказала это так спокойно и повелительно, что те, кто уже успел подняться, сразу сели. Стоять остался один только Джеймс, а все потому, что не знал, что же от него, хозяина дома, сейчас требуется. А вот Шарлотта с благодарностью ухватилась за слова Флоры.

— Не приставай к ним, Джеймс, — сказала она и обернулась к Теобальду. — Если вы действительно обедали, посидите в гостиной, пока мы допьем кофе. А ты тем временем покажи Флоре альбомы.

Но, еще не договорив, Шарлотта поняла, что придумала не слишком удачно. Ну а что еще можно предложить? Не годится ведь, чтоб они так и стояли. Нет, выходка Теобальда просто возмутительна. Привел незнакомую гостью, застал всех врасплох, да еще какую-то особенную гостью — Шарлотта не могла этого не заметить, — ни на кого не похожую, есть в ней что-то прямо-таки необыкновенное.

И сразу, словно бы ни с того ни с сего, Шарлотту пронзило острое сожаление: напрасно она в прошлом месяце не отделала заново столовую, как собиралась. Но

хватит об этом! Как же с ними теперь быть... уходить в гостиную они, видно, не собираются?

Ненадолго задумавшись, Шарлотта, кажется, что-то пропустила. Флора успела улыбнуться, а улыбка у нее была такая, что пропускать ее не следовало. Именно улыбку ее, внезапную, светящуюся, Беккерам суждено было запомнить навсегда. И, просияв сейчас впервые, улыбка эта саму их неловкость обратила в веселье.

Флора спасла положение.

— Нет-нет, не двигайтесь! — воскликнула она. — Такая очаровательная получилась группа. — Она обернулась к Теобальду и уже негромко, доверительно сказала: — Правда, странно, почему фотографы не догадываются усадить людей вот так за стол? — Полным очарования жестом она показала на сидящих и опять улыбнулась. Теперь Шарлотта уже не пропустила эту улыбку, и, как и всех Беккеров, улыбка согрела ее, точно красное солнышко. — Ах, вот бы мне быть фотографом! — воскликнула Флора. И вдруг повела себя совсем удивительно. — Давайте представим, будто я и вправду фотограф, — опять воскликнула она и презабавно пригнула голову, словно перед ней штатив, золотистые волосы упали на лицо, точно покрывало фотографа, она сделала из пальцев кружок, поднесла к глазам — вот и объектив воображаемой камеры. — Кажется, вы у меня все вошли, — сказала она, чуть пригибая голову то вправо, то влево, проверяя, в фокусе ли они. — Теперь замрите. Сейчас вылетит птичка. И улыбайтесь! Улыбайтесь! — Все заулыбались, она вытянула руку и сжала воображаемую резиновую грушу — щелкнул затвор объектива.

Ничего подобного никто не ждал. Словно она и в самом деле фотограф. Беккеры невольно застыли в неестественных позах, как всегда цепенеют все перед фотографическим аппаратом. Но вот гостя выпрямилась, откинула волосы с лица — и все вновь ожили. Джулия представила, как нелепо они, должно быть, выглядели, и рассмеялась. За ней рассмеялись все остальные, даже горничная, которая подавала на стол, даже Хонория, а по ней никак не скажешь, чтобы она смеялась часто. И главное, смеялся Теобальд. Он был в восторге от самого себя. Он с гордостью смотрел на невесту. Да, она всегда на высоте.

— Правда, она просто чудо? — сказал он Шарлотте.

Но пора наконец их представить.

— Идем, Флора,— позвал он и повел ее вокруг стола, начав, разумеется, с хозяина дома.— Это Джеймс,— сказал он и уже совсем непринужденно положил руку на плечо старшего брата.

Беккеры так развеселились — никто и не ждал, что сейчас Флора протянет руку и произнесет привычные общепринятые слова. Все смотрели на нее с жадным нетерпением.

— Джеймс? — В голосе Флоры прозвучала озорная нотка, и кое-кто захихикал. Потом под общий хохот она опять поднесла к глазам сложенные кружочком пальцы, опять наклонилась над воображаемой камерой и сделала поясной снимок Джеймса.

Все так смеялись, никто не в силах был вымолвить ни слова, и сам Джеймс, хоть и опешил на миг, тотчас понял, что затеяла забавная гостья, и тоже заулыбался.

— Надеюсь, ваша камера меня выдержала, дорогая? — сказал он.

Теобальдова гордость Флорой оказалась заразительной. Старый, чопорный Джеймс и тот не устоял. Флора его очаровала.

Одна Флора даже не улыбнулась. Она колдовала над камерой. И от ее серьезности Беккеры только пуще хохотали. Но вот она снова выпрямилась.

— Мне надо сфотографировать каждого в отдельности,— сказала она и повернулась к следующему.— Вы кто? Вы Джулия, да? — спросила она, настраивая объектив.— Минутку. Пожалуйста, не шевелитесь.— Она пристально смотрела на Джулию, видно, сочла, что это случай трудный, однако Джулии ее пристальность, к счастью, только польстила.— Улыбнитесь! — неожиданно распорядилась Флора. Но в решительную минуту Джулия рассмеялась, к немалой досаде фотографа.— Вы пошевелились,— сурово сказала Флора.— Снимок будет смазан.— Она отвернулась.— Кто следующий?

Следующим был Сэмюел, и с ним ей тоже пришлось обойтись строго.

— Не могу я снимать, когда вы ухмыляетесь во весь рот! Пожалуйста, не шевелитесь. Сейчас вылетит птичка! — Она сделала снимок, но, видно, осталась недовольна и сфотографировала его еще раз.— Вы ведь Сэмюел, да? — сказала она.— Боюсь, вы не фотогеничны, но, если

повезет, может получиться совсем неплохо.— Она продвинула штатив с фотокамерой дальше. Всего забавнее в этом представлении была ее невозмутимость.

— Кто теперь? — спросила она. Теперь пришел черед Генриетты.— Вы на редкость фотогеничны,— сказала Флора к восторгу Генриетты.— У вас черты очень определенные. Пожалуйста, немного поверните голову. Да... вас, по-моему, лучше всего снимать в профиль.

Умора, да и только. Беккеры и не подозревали, что бывают на свете такие люди.

— Ну, что ты о ней скажешь? — вполголоса спросил Джеймса Теобальд.— Этот спектакль еще пустяки! Она просто гений. Вы даже не представляете, как на нее смотрят всюду, куда мы ни придем. Ее, конечно, и так хорошо знают, она из очень старинной семьи, но внимание привлекает не только поэтому. Она просто поразительная. Она все на свете может.— Теобальд засмеялся.— И уж если что задумает, не отступится. И все она делает с блеском. Слышал бы ты, как она играет на фортепьяно. Она и красками пишет. Видел бы ты ее акварели. Она скоро устроит выставку. И представь, она и стихи пишет! Какой-то издатель закидывал удочку, не прочь был выпустить томик. Талантам ее нет числа. Но я всегда ей говорю, что истинное ее призвание — сцена. Да ты сейчас сам видел! А какой дар подражания. Поглядел бы ты, как она умеет перевоплощаться!

— Да, талантлива, сразу видно! — восхищенно сказал Сэмюел, он как раз подошел к ним; да и все остальные уже встали из-за стола, и кое-кто ходил вместе с Флорой, будто бы помогал ей двигать штатив и усаживать тех, кого она еще не успела сфотографировать.

Теперь собрались фотографировать отца Хонории — и лицо у него стало такое, что она и сама расхохоталась, а до сих пор она лишь из вежливости присоединялась к общему смеху.

— Посмотрите на папу! Нет, вы только посмотрите на него! — твердила она и хохотала так, что пришлось ей обхватить себя руками, чтобы не тряся весь стол.

— Да она прирожденная актриса,— сказал про Флору Сэмюел, радуясь возможности наконец выразить вслух свое восхищение; до этой минуты он помалкивал: опасался обидеть Хонорию, заметив, что она веселится не так бурно, как его родные. А теперь можно и не скрывать, в

каком восторге он от этой Флоры, которая — просто не верится! — по милости сухаря Теобальда войдет в их семью.

Он решился наконец посмотреть на нее повнимательней. До сих пор он старательно отводил глаза, как-то нехорошо при Хонории разглядывать другую женщину. К его удивлению, было во внешности Флоры что-то мальчишеское, между тем как в первую минуту, быть может, из-за ее имени она показалась ему воплощением женственности. В сущности, еще до встречи, едва он услышал, что ее зовут Флора, ему вообразилась некая нимфа, в легких белых одеждах, босоногая, с развевающимися золотистыми волосами, которая резвится на летнем лугу, срывает цветы и плетет из них венки за венком. Он даже поразился, что на ней строгий черный костюм, а черные туфельки не с бантами, а с пряжками. Впрочем, одно в ней все же напоминало о цветах — ее духи. Хонория никогда не душилась. Сэмюел пожалел об этом. В духах есть что-то пленительное.

Да, именно пленительное. Флора пленила всех Беккеров. В считанные минуты все они покорились ее очарованию. Как сказал Эрнест Джулии по дороге домой, только одно его смущало — что такая обворожительная девушка свяжет свою жизнь с этим занудой Теобальдом.

— Сама знаешь, до чего он нудный с этими своими теориями и принципами.

— Ну, ты должен признать, живет он в точности по своим принципам, — заметила Джулия. — Скажу тебе по совести, Эрнест, я всегда была убеждена, что в конце концов он окажется в дураках. С чересчур разборчивыми людьми всегда так. Я не сомневалась, что он женится неудачно. Никогда не сомневалась.

Эрнест чуть было не признался, что и сам нередко думал так же, но в эту минуту он слишком расположен был к младшему брату и предпочел не откровенничать.

— Теобальд за свою жизнь совершил не так уж много ошибок, — сказал он уклончиво.

— А я про что! — воскликнула Джулия. — Такие люди, как Теобальд, под конец хуже всех и ошибаются.

Но Эрнест ее уже не слушал. Он думал о младшем брате. Стало быть, в его дурацком поведении все-таки был какой-то смысл. Значит, он не просто болтун. Эрнест ощутил что-то вроде почтения. Любопытно, есть ли у Фло-

ры деньги? Драгоценности, которые на ней были, наверно, стоят недешево. Он попытался поточнее вспомнить, что на ней было, и вдруг растерялся. Да были ли на ней драгоценности? Вот тебе и раз! Он всегда гордился своей наблюдательностью, как же мог он не заметить такой важной подробности! Озадаченный, недоумевающий, он даже не услышал слов жены, и ей пришлось повторить то же самое.

— Да что с тобой, Эрнест? Оглох ты, что ли? Я говорю, как она ловко это разыграла, с фотографированием, сто лет не видала ничего остроумней.

— А, да-да. Конечно, она прямо актриса.

— Да уж, настоящая актриса! — отозвалась Джулия, да таким тоном, что Эрнест с недоумением покосился на нее.

— Ты что имеешь в виду?

— Да нет, ничего, — небрежно ответила Джулия. — Только, по-моему, она иногда пересаливает. Уж очень выставляет свои таланты напоказ. И скажу тебе, когда мы прощались на лестнице, она вела себя совсем уж не-лепо.

— А что такое? Я ничего не заметил.

— Ну, неужели ты не слыхал, что она сказала Джеймсу? Он как раз пожимал ей руку, а она ему и говорит с самым серьезным видом: я, мол, пришлю вам карточки сразу же, как только отпечатаю.

Джулия начала рассказывать об этом неодобрительно, но вдруг не выдержала и засмеялась:

— Ты бы видел, какое у Джеймса стало лицо, умора! И это еще не все. До него хоть и не сразу, но дошло, он засмеялся, и тут уж она перешла все границы. Скорчила такую, знаешь, мину оскорбленной добродетели, взяла Теобальда под руку и стала спускаться с лестницы, слова больше не сказала. Вот было забавно! Наверно, никто на свете не сумел бы разыграть такую шутку и ни разу не выйти из роли.

— Что верно, то верно, — сказал Эрнест. — Теобальд прав. Она на редкость талантлива. Теперь, когда ты про это заговорила, я вспоминаю, к концу вечера мне тоже раза два показалось, что она даже немного пересаливает. Притворилась, что складывает фотографический аппарат и всякие принадлежности, а когда Теобальд предложил ей руку, она это свое имущество перехватила другой рукой.

Кстати сказать, Теобальд этого и не заметил; он хоть и очень высокого мнения о себе, а иногда туговато соображает. Я-то сразу заметил и ей показал, что понял. Вы бы, говорю, дали все это Теобальду, пускай он понесет,— и сделал вид, будто хочу ей помочь. А она в ответ — ничего, мол, мне не тяжело. И улыбнулась. До чего же хороша у нее улыбка!

— Что верно, то верно, в нашей семье такого еще не бывало,— сказала Джулия; но тут они свернули на свою улицу, подошли к дому, она подождала, пока Эрнест повернул ключ, распахнул перед нею дверь, и, только уже войдя в дом, подпустила мужу шпильку.

— А все равно обидно, что Теобальд теперь зазнается, вообразит, будто женился удачнее всех вас.

Примерно такое же чувство было и у других Беккеров. Достоинства и таланты нареченной Теобальда волея-неволей признавали все, но при этом волея-неволей чувствовали, что теперь он только еще больше о себе возомнит.

Ну ладно. Пока что предстоит свадьба. Вот что все предвкушали. Когда Теобальд с Флорой намерены пожениться?

Оказывается, очень скоро. Флора, видимо, считала, что, раз уж они помолвлены, медлить незачем, и, хотя это могло бы вызвать кое-какие язвительные замечания, Беккеры единодушно согласились, что так и правда лучше. Конечно же, Теобальд не стоит своей невесты, так пускай поспешит, а то как бы ее не упустить.

Однако рассудительный Джеймс напомнил семейству, что приличия требуют сначала справить свадьбу Сэмюела. Он поглядел на руку Флоры — Теобальд еще даже не подарил невесте кольца.

И тут выяснилось, что никаких колец в знак помолвки Флора тоже не признает. Женщины семейства Беккер были уж вовсе обескуражены.

— Она говорит, кольцо на пальце ее раздражает,— сообщила Шарлотта.

— Так ведь обручальное кольцо ей все равно придется носить? — сказала Джулия.

— Кто ее знает,— сказала Шарлотта.— Я слышала, она говорит, обручальные кольца — безвкусица.

Шарлотта и Джулия посмотрели на свои руки — золотые обручальные кольца у обеих массивные, с крупными

бриллиантами в солидной оправе. Обе всегда так ими гордились, но теперь все их понятия начали сотрясаться. И вскоре потрясениям, можно сказать, уже не было конца.

Первым делом Теобальд объявил, что не намерен покупать себе дом. Они с Флорой снимут квартиру. Флора, оказывается, не может обременять себя заботами о целом доме. Сейчас она как раз готовит к печати сборник своих стихов, у нее есть обязательства перед издателем. Позже они, может быть, и подумают, не купить ли дом, но пока об этом речи нет.

— Ну, поначалу, это, пожалуй, не страшно,— сказал Джеймс,— а потом станет очень неудобно.

Все дружно кивнули. Они понимали, что он имеет в виду.

— Хотя, скажу я вам, меня бы ничуть не удивило...— начала Генриетта, но спохватилась и замолчала. Ведь тут же сидит Хонория и, хотя она только месяц как замужем, вдруг обидится.

Но после Генриетта поделилась своими соображениями с Шарлоттой.

— Конечно, для Флоры это не слишком важно, она так щедро одарена во многих отношениях. Всякий другой на месте Теобальда совсем бы расстроился, а Теобальд, я думаю, не слишком огорчится, ведь он много чего получает взамен.

А у Флоры и правда было множество дарований. Примерно за месяц до свадьбы вышла книжка ее стихов, и хотя, по совести сказать, Беккеры в этих стихах не поняли ни слова, поэтессой они гордились больше, чем сам Теобальд. Особенно доволен был Сэмюел. Теперь он неукоснительно каждый день ходил в свой клуб и смотрел, не появились ли в печати рецензии на книжку Флоры.

— Напрасно Флора ее не иллюстрировала,— говорил он всякий раз, как речь заходила о книжке.— Издание выглядело бы еще лучше с рисунками автора.

Надо сказать, что Сэмюел порой больше всех восхищался Флорой и даже начал неодобрительно отзываться о бедняге Теобальде. «Этот малый явно не понимает, что, когда имеешь дело с такой женщиной, это ко многому обязывает,— ворчал он.— Ему следует почаще развлекать ее. Вот на прошлой неделе в Чарлевилл-хаузе была выставка современной живописи. Я в газете читал. А Тео-

балльд наверняка об этом и не знал. Надеюсь, ей не пришлось пойти туда одной, ведь она, конечно же, не захотела пропустить такую выставку».

И Сэмюел тут же дал себе зарок, что, как только Флора станет его невесткой, он возьмется исправлять промахи Теобальда в подобных делах. У него родилось подозрение, что Теобальд при всех своих разглагольствованиях не очень-то интересуется изящными искусствами. Сам он, Сэмюел, может быть, и не слишком разбирается в искусстве, да и времени не хватает — дела, то, другое, однако же он намерен как-то восполнить пробел. Теперь, когда в его распоряжении еще и приданое Хонории, можно пойти на риск — купить несколько картин; пожалуй, даже постепенно собрать небольшую коллекцию. Говорят, если покупать с умом, вложить капитал в картины даже выгодно. И тут, надо думать, советы Флоры будут неоценимы. Мешкать незачем — надо походить по картинным галереям, навести кое-какие справки. Если Флора станет его сопровождать, это дело верное. Да, надо будет походить вдвоем, поглядеть, что и как.

Мысль вступить в царство искусства в обществе Флоры была для Сэмюела тем заманчивей, что вскорости ему предстояло на время лишиться общества жены. Едва ли месяц миновал с того дня, когда щепетильная Генриетта побоялась вслух задеть при Хонории некую деликатную тему, а уже ясно стало, что ее опасения были излишни. Впрочем, восторженные предвкушения лучше держать при себе. Надо соблюдать приличия. Ну ничего! Свадьба Теобальда с Флорой уже не за горами.

Пришло время решать, что дарить на свадьбу.

Подарки занимали в семействе очень важное место. Беккеры жадно хватались за любой повод обменяться подарками, а лучшего повода, чем свадьба, разумеется, не сыщешь. Подносить и получать подарки — вот давний, испытанный способ выразить чувства, которые при собственной Беккерам почти болезненной сдержанности иначе никак не выразишь. Подарки — это безмолвный знак родственного единения. Беккерам они говорят о многом — и на языке, всем им понятном. К примеру, когда Джеймс Беккер с женой отправляется в гости к Эрнесту Беккеру, супруги неизменно ощущают прочность семейных уз, попивая после обеда кофе, дымящийся в чашках из сервиза, который они подарили хозяевам к свадьбе. В свою

очередь Эрнест Беккер с женой испытывают те же чувства, когда, сидя вечером у Джеймса и Шарлотты, узнают время по большим бронзовым позолоченным часам, которые поднесли хозяевам к недавней годовщине их свадьбы. И обоим супружеским парам очень приятно, когда у Генриетты и Роберта чай им подают в серебряном сервизе георгианского стиля, причем поднос подарила хозяевам одна чета, а самый сервиз другая, и, хотя куплены эти вещи порознь, они в точности подходят друг к другу, а все благодаря уму и такту весьма внимательного антиквара, у которого Беккеры испокон веку приобретают всю мебель, фарфор и серебро.

Братья Беккеры и, разумеется, Генриетта тоже выросли в обстановке, где все дышало добротным, хорошим вкусом, и жены Беккеров быстро усвоили те же воззрения. Им быстро пошел на пользу хороший пример, и они поняли, сколь недостойна солидных владельцев новехонькая мебель, которую до замужества они с восхищением разглядывали в витринах на Графтон-стрит. Что тут недостойного, оставалось неясным, однако жены быстро решили во что бы то ни стало избежать подобного пятна на своем имуществе. И не замедлили обратить эти новые тревожные познания в руководство к действию: покупать следует только вещи, которым не меньше ста лет.

А посему жены семейства Беккер были потрясены до глубины души, когда оказалось, что у Флоры о мебели и убранстве дома совсем иные понятия. Флора так и объявила — или это одни только слова, — что у себя в доме она не потерпит ни единой старой вещи, все будет новехонькое. Жены были, мало сказать, изумлены, прямо-таки огорошены. Тут ведь явно ни при чем их бывшее невежество, когда они не умели отличить обыкновенную старую вещь от старинной и пренебрежительно отвергали то и другое как старье. Не сказать, чтобы они часто вспоминали те времена. Однако иногда приходилось принимать у себя подруг юности, вышедших замуж не столь удачно, и те нередко вслух удивлялись, что они, жены Беккеров, выйдя за богатых, не обзавелись обстановкой поновее, — и в таких случаях Джулия и Шарлотта самоуверенно разъясняли прятельницам, как глубоко те заблуждаются. Если же переубедить подруг не удавалось, женам Беккеров довольно было просто сознавать, каких несравненных высот достигли их вкусы.

И вот, не угодно ли, Флора высказывает самые еретические суждения не только насчет столов и стульев, но и насчет хрусталия, столовой посуды и даже драгоценностей. И это совсем не то, что их собственная бывшая неосведомленность, тут кроется что-то другое. Ее заблуждения коренятся не в невежестве, как было прежде с ними, хотя на первый взгляд и может показаться, что это одно и то же. Жены Беккеров растерялись, тревожная мысль возникла у них — быть может, существует какой-то другой мир, еще изысканней, чем мир антикварных редкостей? Мир, им доселе неведомый? Но они готовы, они просто жаждут его узнать!

Флора часто повторяла выражение, которое жены подхватили: «старина завтрашнего дня». Именно такими вещами нареченная Теобальда собиралась обставить свой дом, и в недели перед свадьбой так и сыпала именами столяров и краснодеревцев, рисовальщиков, медников, позолотчиков и иных мастеров, про которых ни Джеймс, ни Эрнест не слыхивали, чьи мастерские находились на неизвестных улицах, даже Роберт не знал, что существуют у них в городе такие проулки, закоулки и тупички. Очень странно. Да, очень-очень странно. И хотя Джеймс Беккер, Генриетта и Роберт героически пытались уловить и запомнить имена хотя бы некоторых из этих загадочных мастеров и не жалели труда, разыскивая их, им никак не удавалось поверить, что бесформенные, бесцветные изделия, которые всерьез предлагали купить эти ремесленники, и вправду хоть чего-нибудь стоят.

Сэмюел, единственный, нашел в себе толику истинного мужества и в один прекрасный день сказал Хонории, что надо оставить все сомнения и купить Флоре на свадьбу большое полотно художника, чье имя он, безусловно, от Флоры слышал, хотя, кроме подписи самого художника, ровным счетом ничего на его картине разобрать не мог.

Картина была куплена, подарок Флоре очень понравился, и тогда расхрабрился еще кое-кто из Беккеров. Эрнест с Джулией купили какую-то гравюру, Генриетта — новомодное, до крайности неудобное кресло. Но никто из них не ощутил при этом гордости, какую они испытывали прежде, покупая подарки друг для друга. И все понимали, что, обедая у Теобальда с женой, не получают того удовольствия, что в гостях друг у друга, — иначе говоря, не будет у них горделивого сознания, что суж-

дение их тонко и выбор верен. В этих подарках ничего или почти ничего нет от них самих, и покупать их — никакой радости. Правда, вручив эти подарки, пожалуй, не часто доведется их созерцать — едва ли в доме Теобальда они окажутся на виду, а возможно, их и вовсе уберут с глаз долой. Впрочем, дарители не будут в обиде — вероятно, они сами виноваты, не сумели разобраться во всех оттенках новоявленного хорошего вкуса.

Итак, ореол обаяния, что окружал Флору, засиял еще ярче. По общему мнению, один лишь Сэмюел способен был хоть отчасти ее понять. Он даже сам признался Генриетте, что они с Флорой родственные души и в некоторых отношениях у нее с ним больше общего, чем с Теобальдом. И когда ему предложили быть шафером на свадьбе, он принял это как дань родству их душ и не сомневался, что этого пожелала Флора.

— Думаю, просто я подхожу по росту, — скромно заметил он в разговоре с Джеймсом. — Наверно, им и это надо принимать в расчет, ведь на такую модную многлюдную свадьбу налетит туча репортеров и фотографов.

— Разве будет много фотографов? — переспросил Джеймс.

Хоть делец он толковый, но на удивление туго соображает, подумал Сэмюел. И ответил грубовато:

— А ты что, сам не понимаешь? Шутка ли, такая новобрачная!

— Пожалуй, твоя правда, — согласился Джеймс и в предвидении такой шумихи забеспокоился. Впрочем, беспокойство тут же сменилось гордостью за род Беккеров. Вот какой женой обзаводится Теобальд, давным-давно не было в семействе лучшего приобретения.

Где бы ни появлялась Флора, она неизменно привлекала внимание. Канули безвозвратно те времена, когда Теобальд горевал, что все его родные — люди самые не приметные! Теперь, куда бы они ни пошли — разумеется, если с ними Флора, — их неотступно провожают восхищенные и любопытные взгляды. И если Беккерам случится ужинать в ресторане, что теперь бывает не так часто, как прежде, уже не приходится досадовать, что они глазек по сторонам: нет, все сидят, уставясь на Флору, просто не сводят с нее глаз, даже смешно. У них, да и у всех в зале, бесспорно, появляется некий общий магнит. И вот странно, похоже, Теобальд думает, что это уже слишком. Братьям

и сестре порой кажется, что он рад бы упрятать Флору подальше от всех взоров, и это их немало забавляет.

— По-моему, он просто ревнует,— шутя, сказала Сэмюелу Флора при Теобальде в день, когда они вернулись из свадебного путешествия и кое-кто из Беккеров пришел навестить счастливую чету в новом жилище.

— Чепуха.— Теобальд решительно отверг подозрение в столь недостойных чувствах. Просто он пытался чуть-чуть ввести жену в рамки, она подчас не знает меры. А ведь не всякий правильно поймет и оценит ее неожиданные выходы. В гостинице, где они провели медовый месяц, она была единственная в своем роде. Такая живая, пылкая, неугомонная, она казалась другим постояльцам едва ли не существом с иной планеты. Она ошеломляла их остроумием, насмешками, яркой и образной речью. А уж когда разыгрывала сценки с перевоплощением, все вокруг, и Теобальд в том числе, просто изнемогали.

— Ты сама не понимаешь, Флора, как ты действовала на этих людей.— Теобальд пытался говорить построже, ведь ее поведение в гостинице и вправду всех смущало. И пояснил родичам: — Она была точно пляшущий огонек, жгла их всех без передышки, они все перед ней поблекли.

— Огонек? — отозвалась Флора, услышав эти слова.— Какая прелесть! — воскликнула она, подбежала к мужу и поцеловала его.— Ты никогда еще не говорил мне таких милых вещей, Теобальд.

Она закрыла глаза, и на лице ее заиграла слабая улыбка, быть может отблеск какой-то затаенной мысли, и стала слегка раскачиваться, а через минуту по всему телу ее прошла дрожь.

Присматриваясь к ней, Сэмюел заметил, что на лице ее все ярче разгорается румянец. От слов Теобальда она вся затрепетала, будто в нее вливалась какая-то неведомая, непонятная сила. Живой Флоры из плоти и крови не стало, а оттуда, где только что были ее ноги, рвался ввысь язык пламени.

Что за нелепость, подумал Сэмюел. Что-то у него чересчур разыгрывается воображение, в нем даже шевельнулась было тревога за себя, но тут раздался гневный голос Теобальда.

— Перестань сейчас же, Флора,— сказал он.— Я уж вижу, что ты затеяла. Смотри, она опять за свое! — обернулся он к Сэмюелу.— Пробует вообразить себя огнем!

Сэмюел вздохнул с облегчением. Стало быть, ему не померещилось. Он сразу успокоился, даже стало приятно. Вот как чутко воспринимает он настроения Флоры! И он посмотрел на нее уже без тревоги, одобрительно. Непонятно, почему это Теобальд так недоволен? Скучная он все-таки личность!

— Вот и в гостинице было то же самое,— сказал Теобальд.— О чем ни заговоришь, Флора сразу принимается это разыгрывать.— Он взял жену за руку повыше локтя и довольно сильно встряхнул.— Перестань сейчас же, Флора.

Огонек, что был Флорой, угас, будто на него плеснули холодной водой. На лице Теобальда выразилось нелепейшее облегчение. Он смущенно засмеялся.

— Пожалуйста, не поощряй ее, Сэмюел,— сказал он, услышав, что брат рассыпался в похвалах Флоре.

— У вас огромный талант, дорогая,— сказал Сэмюел, пожимая ей руку.

— Ну что, Теобальд? Слышишь? — воскликнула Флора и доверчиво обернулась к Сэмюелу: — Вот бы Теобальду ваше умение ценить прекрасное! Вы подумайте, он недоволен даже моим зеленым дракончиком!

На сей раз и Теобальд невольно засмеялся. Не то чтобы он уж очень ее одобрял, но невозможно было устоять, так естественно, словно о милых друзьях, говорила Флора о детищах своей фантазии.

— Какой такой зеленый дракон? Это что-то новое? — спросил Сэмюел.

— Зеленый дракон? — в притворном испуге взвизгнула Генриетта, до которой донеслись эти слова, и побежала через всю комнату к братьям.— О чем это вы? — закричала она, и через минуту уже все присутствующие шумно требовали объяснений.

Выяснилось, что зеленый дракон — один из самых удачных образов Флоры, в медовый месяц она изображала его чаще всего. Фотографирование в первый день знакомства с Беккерами было импровизацией, а вот зеленый дракон, видно, входит в постоянный Флорин репертуар.

— Ах, пожалуйста, Флора, покажите нам его! Покажите! Ну пожалуйста! — дружно взмолилась добрая половина ее новых родственников.

— Я его не показываю,— возразила Флора.— Я сама его вижу.

Они ничего не поняли.

— Должен признаться, это и правда талантливо, — сказал, смягчаясь, Теобальд. — Напрасно Флора уверяет, будто меня это раздражало. Просто мне казалось, она уж слишком часто разыгрывает эту сценку. А чужие люди все равно ничего не понимали. Публика в гостинице была довольно тупая.

Тут Сэмюел воззвал к своей новой невестке.

— Умоляю вас, Флора, пожалуйста, дайте и нам увидеть зеленого дракона. А то ведь и на нас ложится клеймо тупиц, не лучше той публики в гостинице.

Теобальд кивком поддержал брата. И даже попытался помочь родным проникнуться духом предстоящего.

— В сущности, это совсем нехитрая штука, — пояснил он. — Флора просто встает, смотрит прямо перед собой и говорит, что видит зеленого дракона, он сидит на столе или в кресле — в общем, где угодно. Только и всего, но она уж так смотрит, можно голову прозакладывать, что там и вправду сидит дракон. Очень убедительно она смотрит. И с ужасно забавным видом.

— Ах, как интересно! — сказала Генриетта. — Пожалуйста, Флора, ну пожалуйста!

— Что пожалуйста? — спросила Флора, и выражение лица у нее в эту минуту было поистине неподражаемое. Большей серьезности нельзя себе представить. Вот в чем соль ее таланта: она остается невозмутимой, когда все вокруг хохочет до упаду. Никто не сомневался, что она уступит просьбам. Все жадно предвкушали развлечение.

Но Теобальд, который теперь лучше, чем до свадьбы, читал по лицу Флоры, подметил на этом лице выражение упрямства, ускользнувшее от остальных. На минуту у него возникло чувство, знакомое по детским годам, когда его сестра Генриетта была еще девочкой — рослым нескладным подростком: бывало, ее просят поиграть на фортепьяно, а она, то ли из самолюбия, то ли из каприза, к общей досаде, отказывается и целый вечер упрямо дуется. Неужели сейчас повторится глупейшая история в этом роде? Теобальд смущенно глядел на жену. Но он неправильно ее понял. Флора вдруг обернулась, посмотрела на золоченое креслице (кресла эти были так малы и крупки, что Беккеры опасались на них садиться), потом на престранный мраморный стол, который, по их мнению,

очень мало подходил для трапез, и, наконец, с чуть заметным презрением — на Генриетту.

— Извините, но я не могу его вам показать, — сказала она. — Его нигде не видно. Наверно, убежал в сад.

Такое озорство, и притом такой изящный отказ. Почти такой же артистизм, как если бы она разыграла саму сценку. Все начали озираться по сторонам, а Сэмюел подошел к окну и выглянул в сад. Отсутствие зеленого дракона было почти столь же убедительно, как если бы он был тут, в комнате. Теобальд понял, что родные чуть ли не воочию видят дракончика. И с новой силой возгордился женою. В лоне семьи пусть Флора играет, как ей вздумается, он ничуть не против. И это не просто игра. Она так искусно вышла из положения. Ей сейчас не хотелось представлять, но с каким тактом она от этого уклонилась. Потому-то ее маленькие розыгрыши так удачны — она выступает с ними, лишь когда ощущает в этом потребность или вдохновение, назовите это как угодно.

Все уже прощались и готовились уходить, жены облачались в меха, Джеймс и Эрнест укутали шеи шарфами, и тут, словно подтверждая мысль мужа, Флора, которая вместе с Теобальдом провожала их до дверей, вдруг внимательно посмотрела вдоль темной улицы.

— А, вот он! — воскликнула она. — Как я рада, что он явился, пока вы еще не ушли! Вот он, видите?

— Кто — он? — переспросили менее сообразительные, вглядываясь в темноту.

— Зеленый дракончик, кто же еще? — словно бы нетерпеливо ответила Флора, наклонилась и протянула руки: — Иди сюда, маленький! — и сделала вид, будто подхватила что-то живое, что услышало ее зов, высоко подпрыгнуло и прильнуло к ней.

— Ну чудеса! Сроду ничего подобного не видал, — сказал Джеймс. — Можно биться об заклад, что у нее на руках что-то есть!

— Правда, он милый? — сказала Флора. — Смотрите! Он любит, когда я щекочу его за ухом.

— Ох, Флора! Что вы с нами делаете! — стонали дамы Беккер. Они изнемогали от смеха, больше сил не было смотреть. Но Флору это не остановило. Она вела себя в точности, ну в точности так, словно у нее на руках свернулся какой-то зверек, прижимала его к груди, что-то ему говорила, щекотала его, совсем так же они, Беккеры — по

крайней мере кое-кто из них (может быть, Роберт?), — играли бы со щенком или с котенком; вот только — и это очень важно — пальцы Флоры двигались тихонько, осторожно, словно ласкать ее любимца следовало с оглядкой — быть может, мешала чешуя.

— Гениально. Просто гениально, — сказал Сэмюел.

Джеймс и тот оказался на высоте, всех поразил редкостной вспышкой остроумия.

— Унесите его в дом, дорогая, — сказал он. — До свидания, до свидания. Мы сами найдем дорогу. Не стойте в дверях, вечер прохладный. Малыш может простудиться.

Малыш! Это про дракончика! Никогда еще от Джеймса не слышали такой отличной шутки. Вот как действовала на него новая невестка.

Опять раздался взрыв хохота, женщины так развеселились, что даже спотыкались, сходя с крыльца. Теобальд изумленно смотрел им вслед. Да разве бывало когда-нибудь, чтобы Беккеры громко смеялись на улице? Нет, они явно переменились. И это только начало. Теперь, когда в семью вошла Флора, у них что ни час то новости, не устаешь удивляться.

В иные дни, за каких-нибудь два часа до спектакля, Теобальд с женой приглашают все семейство в театр — оказывается, Флора ходила купить рыбы, а заодно взяла кучу билетов, и надо собрать побольше Беккеров, чтоб деньги Теобальда не пропали зря.

Или вдруг затевается загородная прогулка. И Теобальд спешно разыскивает Джеймса с женой, или Эрнеста и Сэмюела с женами, или Генриетту и Роберта, чтоб не пустовали скамьи в линейке, которую Флора увидала у дверей Шелбурнского отеля и не устояла перед соблазном — наняла. Кому-то из родных покажется, что уж очень они бросаются людям в глаза, выезжая в таком старомодном экипаже, — ну и что ж, через неделю Флора вздумает прокатить их в шарабане. Ей все равно, возвратиться ли в прошлое, забежать ли вперед, лишь бы ускользнуть от нынешней скуки и однообразия; и точно так же ей все равно, изображать ли Генриетту или Хонорию, лишь бы в кого-то перевоплотиться и не быть самой собой. Когда на нее нападала жажда перемен, ничто не могло ей помешать. Нередко Беккеры видели, как посреди разговора, на полужразе, на полуслове она вдруг вскочит и повернет какую-нибудь картину лицом к стене.

— Не могу больше на это смотреть! — объясняет она.

Понятно, у себя дома распоряжайся сколько хочешь, беда невелика, но когда в гостях у Шарлотты Флора, вот так же перевернула акварель — подарок Джулии, то, по мнению самой Джулии, это было уж слишком. А в другой раз ей чем-то не угодила цветочная ваза, и Флора сунула ее куда-то, с глаз долой.

— Может быть, просто она так кокетничает, — сказала потом Шарлотта, рассуждая об этом с Джулией.

— Это не оправдание, — отрезала Джулия. Единственная из всего семейства она не окончательно поддалась обаянию Флоры.

— А по-моему, Джулия так говорит из зависти, — сказала Хонория, когда Шарлотта передала ей слова Джулии. — Завидует, что у Флоры такой утонченный вкус. По-моему, Флора совершенно права, ваза безобразная. — Хонория могла высказать это напрямик без малейшего смущения, ведь не кто иной, как она сама подарила Шарлотте злополучную вазу. — Сказать по правде, — прибавила она, оглядывая свою заставленную всякой всячиной гостиную, — когда Флора смотрит на моих фарфоровых собачек, тетушкин подарок, мне всякий раз не по себе.

Хонория поднялась, тяжелой походкой прошла по комнате и сняла с каминной доски тетушкиных собачек. Держа их безразлично в вытянутой руке, будто они запаршивели, она звонком вызвала прислугу.

— Выбросьте их, пожалуйста, — велела она удивленной горничной. — И это тоже, — прибавила она, чуть подумав, дотянувшись и сняла висевшую над камином акварель. — А на твоём месте, Шарлотта, я бы избавилась от Будды, которого Джеймс подарил тебе в прошлом году, надо же считаться со своим положением. Тебе сейчас просто вредно смотреть на такую физиономию, ну и вообще на него смотреть, а когда ты сидишь у себя в гостиной, он торчит перед глазами.

— Но куда же я его дену? — спросила Шарлотта; впрочем, ответ угадать было нетрудно, ведь она видела, как разделалась невестка с фарфоровыми собачками. Хонория не из тех, кто останавливается на полпути.

Конечно, Хонории подобное варварство было простительней, чем Джулии и Шарлотте, ведь они-то бесприданницы, не принесли в семью ни гроша, и, когда они тоже начали выбрасывать вещи из дому, их мужья не так легко

с этим мирились. В оправдание столь жестоких расправ только и можно было сказать, что это — влияние Флоры. Ну и, несомненно, комнаты стали выглядеть куда лучше, когда из них повыбрасывали старый хлам. В домах всех Беккеров, как и в их жизни, прибавилось воздуха, красок, света. Даже Генриетта кое-что у себя переменяла, а Шарлотта под конец и в самом деле выкинула Будду, точнее, отдала его прачке.

Прачка Шарлотты была, что называется, колоритная фигура. Из тех личностей, кого на удивление похоже изображала Флора. Иной раз не клеится в гостиной беседа, а то и вовсе прервется, и вдруг Флора что-нибудь скажет не своим голосом.

— Шарлоттина прачка! — вскричат сразу четверо или пятеро Беккеров, будто шараду разгадали. Никогда не надо было объяснять, кого изобразила Флора, а между тем с виду она ничуть не менялась. Только иной раз растреплет волосы, спустит прядь на лицо да приведет в беспорядок платье, такая сразу неряшливая делается. И уж тут можно пари держать, что перед вами эта самая прачка, даже лицо становится похоже.

Да, Флора с истинным наслаждением перевоплощалась в разных людей, но при этом любила, чтобы зрители мгновенно понимали, кого она изображает. И вот что странно — очень сердилась, если кто-нибудь ошибался в догадке.

— Да нет же! Какой вы глупый! — вспыхнула она однажды, когда бедняге Джеймсу показалось, будто она изображает Генриетту. — Я Шарлотта. Вы разве слепой? Не видели, как я в дверях нагнулась?

Шарлотта была очень высокая, и у нее образовалась привычка в дверях боязливо наклонять голову, хотя опасность удариться о притолоку ей вовсе не грозила — у нее дома было просторно, потолки высокие.

— Но вы же не были Шарлоттой, когда входили в гостиную, — возразил Джеймс, по мнению Сэмюэла, не слишком убедительно, ведь сейчас уже все ясно видели, что Флора держится в точности как Шарлотта.

Флора смерила Джеймса уничтожающим взглядом.

— Шарлоттой я родилась, — заявила она, — Шарлоттой и останусь!

Грянул взрыв хохота, Джеймсу не очень понятный, ведь его не было накануне вечером, когда Флора спро-

сила Шарлотту, почему бы ей не называться Лотти, а Шарлотта разобиделась и в точности таким вот тоном изрекла почти эти же самые слова: «Шарлоттой я родилась, Шарлоттой и останусь до самой смерти!» Сейчас Флора была вылитая Шарлотта.

Порой, однако, перевоплощения Флоры оказывались слишком тонки и никому не давалась разгадка. Так бывало, когда она избегала явных примет — жеста, голоса, — а старалась выразить некие особенности чьего-либо характера, обычно скрытые. Порой, даже не обращая внимания на зрителей, словно бы не замечая их и вовсе не затем, чтобы на нее смотрели, а лишь наслаждаясь своим искусством, она пробовала в кого-нибудь перевоплотиться. Вот этим и отличается истинный артист, думал Сэмюел. Сколько раз он за нею это замечал. Вот она пристально смотрит на кого-то, и через минуту чудесные темно-карие глаза ее становятся какими-то другими, они полны любопытства, любопытство все сильнее, все явственней, взгляд становится глубоким, сияет затаенным внутренним светом. А затем — даже страшно смотреть — лицо меняется, глаза утрачивают блеск, живость, глубину, а главное, гаснет их удивительное сияние, и они становятся неразличимо схожи с глазами того человека, на кого смотрела Флора. Сэмюел видел, как эти чудесные глаза становятся узенькими щелками, приспускаются веки и скользит из-под них колючий, подозрительный взгляд — взгляд Джулии. Видел он, как эти глаза теряют всякую глубину и глядят на все вокруг с младенческим простодушием, присущим Хонории. Видел, как они становятся холодными, невыразительными, даже цвет меняют, точно морская волна на песчаной отмели, и понимал, что перед ним Теобальд.

Чем дальше, тем с большим наслаждением следил Сэмюел, как его новая невестка перевоплощается, словно покидает собственное тело и поселяется в чьем-нибудь чужом естестве. Но он тщательно хранил ее тайну и, если замечал, что она готова преобразиться, сам раздвигался — одновременно и старался отвлечь внимание родных, и украдкой присматривался к Флоре, тайно участвовал в ее затее. Лишь в тех случаях, когда ему неясно было, в кого она вживается, он осмеливался докучать ей любопытством. Тихо подойдет, заговорщицки склонится к ней и шепнет на ухо имя:

— Шарлотта?

Если догадка верна, Флора вскинет на него глаза и улыбнется. Если он ошибся, что случалось очень редко, она, хоть и не сумеет скрыть досаду, ответит всегда остроумно, на ошибку укажет своеобразно, неожиданной шуткой. Вдруг спросит:

— Что с вами? Вы, кажется, ослепли? Вон же она, Шарлотта!

Да, ошибался Сэмюел редко. Однажды было даже так: в ресторане, куда Эрнест с женой пригласили родных поужинать, Флора, поднеся к губам бокал кларета, чуть помедлила — и, хоть не прибавила ни слова, ни жеста, Сэмюел мгновенно понял, что она сейчас обратилась в Теобальда, это Теобальд остановил поток своих мыслей и вдруг ощутил самого себя, ощутил, что полон жизни. И Сэмюел не выдержал, через стол наклонился к Флоре.

— Теобальд? — шепнул он.

На секунду Флора, кажется, испугалась. Потом кивнула, но как-то отрывисто, и тотчас почему-то — быть может, стараясь скрыть смущение — спросила громко, нетерпеливо:

— Что вам угодно?

Сэмюел был человек чуткий и понятливый. Он не стал обижаться. Наверно, Флора боится, как бы и другие не разгадали ее тайную игру. Он решил больше не досажать Флоре подобной неделикатностью. И когда несколько дней спустя все-таки нарушил этот зарок, виной тому было нестерпимое любопытство, с которым он не смог совладать, ведь ни за что на свете не хотел он лишиться дружбы Флоры. Этой дружбой он дорожил все больше, особенно в последнее время, потому что Хонория, хотя ее положение еще совсем не было заметно, уже не выходила по вечерам из дому и просила то Шарлотту, то Генриетту посидеть с ней. Но она была на редкость внимательна к мужу и не желала и его привязывать к дому. Настаивала, чтобы по крайней мере один-два вечера в неделю он шел куда-нибудь проветриться, а где же ему было проводить эти вечера, если не у Теобальда и Флоры? Уж конечно, не у Джеймса и не у Эрнеста. А по доброй воле навязать себе общество Роберта было бы просто смехотворно. Вот он и шел к Флоре каждый вечер, когда Хонория могла без него обойтись.

А потом настал особо памятный вечер. Сэмюел ужинал дома и затем отправился к Теобальду с женой, поси-

деть у них немного перед сном. Было лето, и, когда горничная отворила ему, ламп в доме еще не зажигали. Хозяин нынче ужинает в клубе, сказала горничная, а хозяйка в гостиной. Доложить ей о госте или он сам туда пройдет?

Сэмюел пересек прихожую и отворил дверь. Сперва ему показалось, что в комнате никого нет. Сгущались сумерки, и мебель уже сливалась со своими тенями на стенах. За окнами в саду еще можно было различить деревья. Сэмюел смотрел на их черные ветви и вдруг заметил Флору.

Она стояла сбоку у окна, прислонясь спиной к белой раме, прижалась к ней, отведя назад плечи, выше обычного запрокинув голову. Взор ее устремлен был вверх, и, когда Сэмюел подошел ближе, он увидел там, за окном, острые лучики первых звезд. Флора сейчас точно деревянная фигура на бушприте старинного корабля, подумал он, и такая же незрячая — его она, во всяком случае, не видит. Она его не замечала, пока он не стал рядом, — по крайней мере так казалось, хотя непонятно, неужели она не услышала, как он вошел. Но, подойдя почти вплотную, он увидел, как напряженно она застыла, какое сосредоточенно отрешенное у нее лицо, и его сковало смущение. Он не смел вторгнуться в ее мысли и тоже стоял безмолвно, боялся вздохнуть. Ему чудилось — перед ним совсем незнакомая женщина, его пробрала дрожь, и лицо странно подергивалось, чего не бывало уже долгие, долгие годы.

Это не жена Теобальда. Это какая-то незнакомка. Кто она? Сэмюел никогда еще ее не встречал. Он взял себя в руки. Вполне возможно, разумеется, что это кто-то из ее прежних знакомых. Или даже кто-то, существующий только в ее воображении, кому она дала жизнь, как писатель дает жизнь героям книги. Придумывают же, создают людей авторы романов и драм, почему бы так не творить и Флоре? Ей надо писать, подумал Сэмюел. Пожалуй, сочинить пьесу? Надо, надо, необходимо! Еле слышно он шепнул, вернее, выдохнул вопрос, который так его мучил.

— Кто это? — прошептал он. — Кто вы сейчас?

Жена Теобальда вздрогнула всем телом. Обернувшись, посмотрела печально и устало. Сердце Сэмюела сжалось. Уж не случилось ли чего? Но Флора заговорила почти обычным своим голосом.

— Что вы, Сэмюел! Какой странный вопрос. Я, Флора, конечно, кто ж еще!

В самом деле, кто? Кто другой мог так ответить?

Да, то была Флора; но, если кого-нибудь когда-либо и застигали в минуту самовоплощения, так именно это и произошло в тот миг, ибо Сэмюел понял, что в натянутой как струна незнакомке, которая минуту назад не заметила его прихода, Флора сосредоточила всю суть своего «я». И в этом «я» столько было горечи, что горькая печаль проникла и в сердце Сэмюела.

— Я понимаю,— поспешно сказал он.— Не хочу вам мешать.

Круто повернулся и вышел.

Однако на другой вечер Флора была весела, как всегда. Даже больше — такой шумной, жизнерадостной, неутомимой ее, кажется, никогда еще не видели. Беккеры — все, кроме Джулии, — были в восторге.

— Нет, она не просто неутомимая, она безответственная, — сказала Джулия после того, как Флора в минуты, когда Теобальд выходил из комнаты, дважды за вечер его изобразила. — Если Теобальд узнает про эти проделки, он ей вовеки не простит.

— Ну, он не узнает, — возразила Шарлотта. Ей было бы слишком жаль лишиться такого представления, оно ей понравилось больше всех прочих выдумок Флоры. — Это было так забавно! — При одном воспоминании Шарлотта опять рассмеялась. — Она повернулась к нам спиной, только и всего, а почему-то можно было голову прозакладывать, что это вылитый Теобальд.

— Все равно, — проворчала Джулия, — я считаю, что с ее стороны это предательство, больше того, я считаю, что некоторые ее представления просто неприличны.

— Неприличны? Что ты, Джулия! — Шарлотта была поражена столь злобным обвинением.

Впрочем, Джулия решила высказаться еще яснее:

— Наверно, мне незачем особенно расстраиваться, ведь сама Хонория как будто не обижается.

— А, вот ты о чем! — Шарлотта с облегчением засмеялась. Шуточка, быть может, и не совсем прилична, но уж очень потешно маленькая, тоненькая Флора изображает — и как похоже! — огромную, неуклюжую Хонорию, да еще когда та с каждым днем раздается вширь. — И потом, Хонорию это забавляет не меньше, чем всех нас, — приба-

вила Шарлотта в защиту Флоры. Ее, самую бесцветную из Беккеров, ничем не замечательную, разве что высоким ростом, Флора до сих пор редко изображала, и потому больше всех после Сэмюела она ценила талант невестки. Но, надо признать, Хонория на редкость добродушно относилась к этим сценкам, ведь Флора так часто именно ее избирала своей жертвой.

Да, войдя в семейство Беккеров, Флора поначалу постоянно представляла перед ними в обличье то Генриетты, то Шарлотты, то Джеймса, Джулии, Эрнеста, а то и кого-либо из слуг или всем знакомых торговцев, а вот в последнее время единственной ее мишенью стала Хонория. Довольно ей было особенным образом улыбнуться, или подойти к Сэмюелу и снять с его рукава пушинку, или даже только достать носовой платок и высморкаться — и все помирали со смеху.

— Нет, вы только посмотрите на эту Хонорию! — кричали они.

Раза два Флора доходила до того, что, когда Сэмюел, войдя в комнату, звал жену, даже откликалась вместо настоящей Хонории.

— Я здесь, Сэмюел, — говорила она. — Чего тебе?

А один раз в ту же минуту отозвалась и Хонория — и Флора повела себя совсем уж неожиданно и забавно. Обернувшись к настоящей Хонории, окинула ее ледяным взглядом и ее, Хонорию, назвала Флорой!

— Довольно, Флора, — сказала она. — Пожалуйста, прекратите эти ребяческие выходки.

Как будто не она это разыграла, а Хонория! Все так и покатались со смеху.

Настало лето, Флора подбила Беккеров всей семьей снять большую виллу на побережье — и наперекор опасениям Джулии оказалось очень приятно, что Флора с ними: ее вечные шалости и затеи рассеивали скуку однообразной жизни за городом.

— Да, да, все так, — отвечала Джулия, когда ей об этом говорили, — а только незачем ей цепляться к Хонории. На твоём месте, Сэмюел, я бы живо положила этому конец, тем более что у Хонории уже подходит срок.

— Но уж конечно... — прервала Шарлотта.

Она хотела сказать: конечно, Флора слишком деликатна и очень скоро перестанет подсмеиваться над Хонорией, — но в эту самую минуту жена Теобальда направилась

через комнату к Сэмюелу, и походка у нее была престранная. Джулия тоже это заметила.

— Вот видишь! — воскликнула она. — Говорила я тебе! Какая гадость! Какое бесстыдство. Бедняжка Хонория, она этого не заслуживает! Да еще когда ждет своего первенького!

Ведь у самой-то у нее фигура становилась бесформенной уже в третий раз, а фигура Шарлотты — в четвертый, обе они, понятно, уже не столь чувствительны, как Хонория, для которой эта беременность — первая.

— Нет, я сейчас же положу этому конец, — сказала Джулия и решительно направилась к Флоре. — Послушайте, Флора, что это вы вздумали? — спросила она резко.

Но Флора ответила так кротко, что на минуту ее обезоружила.

— Пожалуйста, Джулия, не называйте меня чужим именем, — сказала она. — Вы разве не видите, никакая я не Флора, я Хонория. Как вы можете нас путать, тем более теперь?

Сэмюел не удержался, фыркнул. Джулия обрушилась на него.

— Ты что, совсем не соображаешь? — прикрикнула она. — По-твоему, это смешно? — Потом пожала плечами: — Что ж, если тебе угодно так это принимать, мое дело сторона, вмешиваться не стану.

«И не вмешивайся, пожалуйста», — чуть было не вырвалось у Сэмюела, но он только натянуто улыбнулся и обратился к остальным:

— Не порадуете ли нас музыкой, милые дамы?

Только сказав это, он вдруг понял, что с тех пор, как в семье появилась Флора, с которой всегда так интересно, у них редко кто-нибудь подходит к фортепиано.

— Так как же насчет музыки? — повторил он, и сам подивился своему лицемерию: ведь лучшей музыкантшей в семье считалась Джулия и его просьба, возможно, её задобрит.

Но не успела еще Джулия поднять крышку, а Флора уже ухватилась за его слова и воспользовалась ими по-своему.

— Я вам поиграю, — сказала она все еще голосом Хонории. — Я сыграю любимую пьеску Сэмюела!

Через минуту она сидела на круглом табурете и играла единственную пьеску, запомнившуюся Хонории из много-

летних, дорогостоящих уроков музыки, к которым, в сущности, и свелось почти все ее образование.

Флора сыграла эту пьеску Хонории. Сыграла еще раз и еще. Да, ее вполне можно было принять за Хонорию, она в точности так же приподнимала руку, изгибалась и покачивала головой — всем этим Хонория выучилась восполнять недостаток музыкального дарования.

— Ну и что? — шепнула Генриетте Шарлотта. — Особой беды в этом нет.

— Ты думаешь? — прошипела, придвинувшись ближе, Джулия. — Ну, если ты так думаешь, пожалуйста, посмотри, как она сидит.

И правда, Флора сидела как-то странно. Неловкая поза, и Шарлотте и Генриетте пришлось это признать. Флора отодвинулась от клавиатуры по крайней мере на фут дальше, чем это было нужно и естественно.

— Какая гадость! — сказала Джулия. — Я уже говорила вам и опять повторяю. — Она оглянулась, проверила, нет ли поблизости мужчин. — Надеюсь, наши мужья ничего не замечают. Она просто насмехается над материнством. — Джулия многозначительно посмотрела на талии своих собеседниц, показала на свое свободное одеяние. — Надеюсь, вам понятно, что все это от зависти. Флора всем нам завидует, а больше всех Хонории, ведь они вышли замуж почти в одно время.

Сколько бы злобы ни таилось в этих словах, они не достигли цели, напротив, и Шарлотту и Генриетту вдруг захлестнул прилив жалости к бедной, маленькой жене Теобальда.

— Ах, бедняжка, беденькая Флора! — воскликнули они, потом оглянулись на нее. — А может быть?.. — начали обе с надеждой, но талия Флоры оставалась тоненькой и гибкой, и ее фигурка опровергала все их добрые чаяния на ее счет. А Джулия вовсе не потрудилась взглянуть в ту сторону.

— Ничего подобного, — сказала она и, понизив голос, докончила: — Насколько я могу судить, это и есть ложка дегтя в бочке Теобальдова меда.

— Да что ты! — воскликнула Шарлотта. — Неужели, по-твоему, это возможно? Какая жалость! — Она мысленно перенеслась наверх, в детскую, где лежал в колыбели и сосал собственный палец ее крупный белобрысый малыш. — Нет, почему же, я сколько раз слышала, бывает,

гораздо дольше ничего нет, никаких признаков, а потом все кончается благополучно!

Но через два дня уже сама Шарлотта опять заговорила о том же.

— Ты уверена, Джулия? Насчет того, что ты тогда сказала, — ты уверена, что не ошибаешься?

— Почему ты спрашиваешь? — сухо осведомилась Джулия.

— Понимаешь, мне бросилось в глаза, как она себя вчера вела за ужином. — Называть имена не требовалось. — Помнишь, она всегда любила маринованный лук? А вчера его не ела. Даже не притронулась! И с яблочным соусом то же самое. А она его тоже любила. Вот я и думаю, если ты не ошибаешься, так это очень странно, потому что, когда я в ожидании, мне тоже противен запах лука и я не переношу яблочного соуса. У меня от него ужасная изжога. И это еще не все. За ужином она сидела... причем с самого начала и до конца... в общем, она сидела за фут от стола, как в тот раз у фортепиано. Может, мне уже мерещится, но после ужина мы немножко погуляли в саду, и мне показалось, у нее и походка стала какая-то не такая. Причем, заметь, она сама предложила пройтись, я даже удивилась... и еще одно... извини, что я говорю о таких вещах, но мне бросилось в глаза... она теперь не застегивает толком пальто, и оно на ней болтается как на вешалке. Так что же все это, по-твоему, означает?

— А по-твоему? — спросила Джулия. Пускай Шарлотта выскажется, и тогда можно будет разбить ее в пух и прах.

— Видишь ли... я подумала, а вдруг ты ошибаешься? Может быть, у нее все-таки будет ребенок?

Этого Джулия и ждала, и у нее готов был ответ.

— Тогда очень странно, почему это Флора не полнеет, а худеет? — язвительно сказала она.

На минуту Шарлотта растерялась. Но она еще не признавала себя побежденной.

— Некоторые женщины сперва худеют.

— Вот как? — Джулию это ничуть не убедило. — Но в таком случае, зачем ей на целый фут отодвигаться от стола? И носить пальто нараспашку? А главное, зачем ходить, как она теперь ходит! — (Походка у Флоры и правда стала престранная.) — Нет уж, — сама себе ответила Джулия с таким жаром, что Шарлотта не решилась от-

крыть рот.— Надоели мне эти ваши разговоры про перевоплощение. Никак же это не перевоплощение. А прямое издевательство. Флора издевается над нашей беззащитной бедняжкой Хонорией.

— Полно тебе, Джулия! — воскликнула Шарлотта.— Неужели тебе совсем изменило чувство юмора? И потом, если ты права, зачем Флоре все это разыгрывать, когда она одна?

— То есть как?

У Джулии стало такое испуганное лицо, что Шарлотта запнулась.

— Н-ну, я даже не хотела про это говорить, — начала она.— Понимаешь, вечером накануне нашего переезда сюда я пошла к Теобальду, Джеймс просил кое-что ему передать, и меня провели в гостиную, и сперва мне показалось, там никого нет, а потом вдруг вижу — кто-то есть. Ох, Джулия, я сама знаю, это звучит дико... правда, свет еще не зажигали... но в первую минуту я была уверена, что там Хонория. А это была Флора. Она ходила взад-вперед по гостиной, и видела бы ты, как она раскачивала бедрами. Знаешь, Сэмюел и тот бы ее принял за собственную жену. Потом горничная внесла лампы, и я узнала Флору и все равно глаз не могла от нее отвести, я просто голову дала бы на отсечение, что, когда я только-только вошла, она была вдвое толще. Сто раз слыхала, что у людей бывают галлюцинации, но никогда не думала, что и со мной такое случится!

Минуту-другую Джулия молчала. Потом медленно заговорила:

— Мне кажется, в последнее время все мы страдаем галлюцинациями. Только сегодня утром Эрнест говорил, Джеймс что-то ему сказал про сходство Флоры с Хонорией. Сходство! Надо ж выдумать такую нелепость!

— Да, правда, кажется, что это нелепо, — согласилась Шарлотта.— И все-таки, признаться, мне тоже раза два приходило в голову, что Флора становится похожа на Хонорию. Вот и Джеймс говорит. Интересно, а другие тоже замечают?

В тот же день осторожно кое-кого расспросили, и оказалось, Генриетта тоже заметила некоторое сходство.

— Я думала, мне просто почудилось, — заявила она, — и не хотела никому говорить, вдруг еще подумают, что это

я из-за моего положения. Вдруг кто-нибудь скажет, это у меня нервы, истерика, фантазии какие-то.

Однако именно это и происходило со всеми Беккерами и особенно с их женами.

— Все Флора виновата, — сказала Джулия.

— А вот Хонория как будто ничего не замечает, правда странно? — сказала Шарлотта.

— Такой уж у нее характер, — сказала Генриетта. — Но все равно, я уверена, она очень расстроена, только виду не показывает. Вчера я ее застала врасплох и голову даю на отсечение: глаза у нее были заплаканные.

— Она плакала? — Две другие почтенные матроны порядком встревожились.

— В такое время слезы — это для нее хуже некуда. Тут можно ждать любых последствий! — не слишком вразумительно заявила Джулия и поднялась. — Я еще раз поговорю с Сэмюелом, — закончила она.

Шарлотта почувствовала, что у нее задрожали колени. Сэмюел всегда горой стоит за Флору. Заговорить с ним об этом, пожалуй, еще труднее, чем с Теобальдом, а к Теобальду идти и думать нечего.

Но где уж было Сэмюелу сражаться с Джулией. Попробовал он отмахнуться от ее жалоб, но она яростно на него набросилась.

— Сэмюел Беккер! — вскричала она, испепеляя его взглядом.

— Тебе что, Флора дороже Хонории? Говорю тебе, по той ли, по другой причине, но жена Теобальда старается выставить твою жену в смешном виде, и, что еще хуже, Хонория начинает это замечать.

Сэмюел побледнел, лицо его исказилось. В последний раз он попытался уйти от разговора.

— Это не нарочно, — сдержанно возразил он. — Если Флора делает или говорит что-то обидное, я убежден, тут нет злого умысла.

Стало быть, он готов признать, что поведение Флоры обидно. Джулии немного полегчало.

— С умыслом там или без умысла, а надо это немедленно прекратить, — сказала она. — Сегодня же! Известно ли тебе, что в последнее время Хонория часто плачет? А из-за чего, по-твоему? И главное, позволь тебя спросить, как, по-твоему, такое настроение Хонории скажется на твоём еще не рожденном ребенке?

Сэмюел побледнел и того сильнее.

— Где сейчас Флора? Я с ней поговорю.

Флора оказалась поблизости. Сидела в малой гостиной у окна и шила. Сэмюел тотчас вернулся, пожалуй, не дошел до конца коридора, подумали Шарлотта с Джулией, но по лицу его сразу поняли — что-то стряслось.

— Что случилось?! — вскрикнула Шарлотта. И вдруг невесть почему отчаянно испугалась.

— Джеймс! Джеймс! — закричала она, вспомнив, что, по счастью, он недалеко — сидит тут же под открытым окном, на солнышке в саду, и читает.

— Чего тебе, Шарлотта, чего ты кричишь? — Он встал, опершись на подоконник, заглянул в комнату и тоже сразу ощутил неладное. — Эрнест, Роберт! — позвал он, увидав их обоих на посыпанной песком боковой дорожке, огибающей виллу. И при всей своей чопорности не пошел к двери, а, не теряя времени, полез прямо в окно к женщинам. — И ты здесь, Сэмюел, — сказал он с облегчением.

Но отчего бы ни расстроился Сэмюел, поднявшаяся суматоха его разозлила.

— Да что это с вами со всеми? — Он обернулся к Джулии. — Я только хотел поговорить с тобой, Джулия. Не понимаю, чего ради вы все всполошились. — Однако, когда поспешно вошли Эрнест и Роберт, он невольно почувствовал в близости стольких Беккеров нечто успокоительное. — Ничего страшного не случилось. Просто я хотел посоветоваться с Джулией... или с Шарлоттой... или с Генриеттой. — Он замялся. — Пожалуйста, кто-нибудь из женщин пойдите со мной, загляните в ту комнату. — Он снова замялся. — Это из-за Флоры.

Шарлотта прижала руку к сердцу, испуганно воскликнула:

— С ней что-нибудь случилось?

— Да нет... по-моему, ничего, — сказал Сэмюел. — Просто я с ней заговорил, а она не отвечает, и мне стало неспокойно. Сидит и шьет, я ее позвал, а она продолжает шить, даже головы не повернула.

— Не слыхала, только и всего, — сказал Джеймс и с высоты своего старшинства нахмурился. Влезая в окно, он ушиб колено о подоконник. Вот досада. — Неужели вы помешали нам греться на солнце, чтобы сообщить, что она глуховата?

Он уже хотел уйти, но Сэмюел положил руку ему на плечо.

— Минутку, Джеймс. Странно то, что Флора, безусловно, меня слышала. — Он снова обратился к женщинам: они быстрее все схватывают. — Слышала, я знаю. Я окликнул ее по имени, и не один раз, а два, даже три, и все равно она продолжала шить. В последний раз, когда я ее позвал, она хотела перекусить нитку, но помедлила, и видно было, что прислушивается. А на меня не посмотрела, перекусила нитку, наклонилась и опять взялась за шитье.

Как будто мелочь, но престранная.

— А кстати, что она шьет? — вдруг спросил Джеймс. — Она все время сидит за шитьем.

— Ну вот еще, Джеймс, — отозвалась Шарлотта. — Какая разница, что она там шьет! — Джеймс всегда так, возьмет и прицепится к какой-нибудь ерунде. Шарлотта опять обернулась к Сэмюелу: — А почему ты к ней не подошел?

И только после его ответа все по-настоящему встревожились.

— Я подумал, лучше пускай к ней подойдет кто-нибудь из женщин, — сказал он. — Потому я к вам и вернулся. Я думаю, лучше всего пойдешь ты, Джулия.

— Я? — Еще недавно Джулия настроена была воинственной всех и требовала что-то предпринять, однако теперь ей совсем не хотелось действовать. — Пойдешь со мной, Шарлотта?

— Да, конечно, — с готовностью согласилась Шарлотта, но тут же кивнула мужчинам: — Пожалуйста, будьте под рукой. — И прибавила очень мягко, обращаясь к Сэмюелу: — Мы оставим дверь открытой, а ты подойди, и все услышишь.

— Только смотрите, потише, — предупредила Джулия, так как Джеймс все еще пытался доказывать, что они суеются зря.

— Где Теобальд? — спрашивал он. — Почему его здесь нет? Почему его никто не разыскал? Если что-то неладно, это прежде всего его забота, а не наша.

После всем вспомнились эти его слова, а сейчас казалось очень удачно, что Теобальда здесь нет. Ибо Флора встретила Джулию с Шарлоттой совсем иначе, чем Сэмюела. Обе ждали, что она и на них не обратит никакого внимания, и оцепенели от страха, когда Флора, услышав, что

ее окликнули, порывисто вскочила. Они только окликнули ее по имени, и притом как можно непринужденнее.

— Флора? — в один голос несмело позвали обе.

Слово еще не замерло у них на губах, а Флора уже вскочила.

Круто обернувшись, гибкая как кошка, вцепилась обеими руками в спинку своего кресла. Шитье упало на пол. Глаза Флоры горели яростью.

— Да что с вами со всеми? — крикнула она. — С ума посходили? С какой стати вы являетесь сюда и издеваетесь надо мной? — Потом словно бы увидела или как-то догадалась, что и остальные члены семейства тоже тут, сгрудились за дверью, и погрозила в ту сторону кулаком. Джулия с Шарлоттой прижались друг к другу и не смели шагу ступить. — Объясните-ка мне, Джулия Беккер, или вы, Шарлотта Беккер, это что, шутка? — кричала Флора. — Если шутка, извольте сейчас же это прекратить. Пора бы вам знать, что я не выношу, когда надо мной издеваются.

— Но мы никогда над вами не издевались, Флора! — воскликнула Джулия.

— Никто над вами не издевался, Флора, — подтвердила Шарлотта.

И видно, только подлили масла в огонь. Лицо Флоры исказила судорога.

— Вот опять! — закричала она и кивнула в сторону коридора, где точно вросли в пол остальные Беккеры. Длинным тонким пальцем она показала за окно, в сад. — А что до той несчастной, пускай кто-нибудь велит ей все это прекратить, пускай она не сводит меня с ума, а то я за себя не ручаюсь.

Джулия и Шарлотта поглядели в окно.

За окном, неподалеку, но на таком расстоянии, что голоса из дома туда не доносились, Джулия увидела Хонорию — та, как всегда среди дня, прилегла отдохнуть на каменной скамье, глаза закрыты, лицо заслонила газетой, чтобы не напекло докрасна солнцем.

Джулия почувствовала, что остальные столпились у нее за спиной.

— Да уж входите, — сказала она.

Флора круто обернулась.

— Да, входите. Все входите! Поговорим начистоту. И ее позовите! — Не оглядываясь, она кивком показала в сад.

Джеймс первым вошел в комнату.

— Ну-ну,— примирительно сказал он,— зачем же тревожить Хонорию. Если у нас тут получилась маленькая неурядица, зачем в это вмешивать бедняжку Хонорию. При нынешних обстоятельствах ей не нужно волноваться.

Что-то в словах Джеймса, видно, уязвило Флору, вызвало новый приступ ярости. Пот проступил у нее на лбу, и, что еще страшней, влага заблестела в уголках губ...

— Хонорию? — переспросила она. — При нынешних обстоятельствах? Так вы все ведете ту же игру? — Она схватилась за ворот платья, рванула его. — Ладно же. Я вас предупредила. Не желаю больше терпеть. Довольно и того, что она одна меня мучила. — Флора опять кинула в сторону ничего не подозревающей Хонории. — Я делала вид, будто не замечаю. А от всех вас не могу я это выносить. Не могу и не хочу! — Она зажала уши ладонями, из глаз брызнули слезы.

— Да что мы такого делаем? — воскликнула Шарлотта. — Мы не понимаем, о чем вы говорите, Флора!

— Флора! Флора! Флора! — Она окончательно вышла из себя. — Хотите меня с ума свести! Вы это нарочно! Нарочно! — Она посмотрела каждому по очереди в лицо, потом окинула каким-то неистовым взглядом все семейство сразу. — Стыдно вам! — сказала она. — Хоть бы с моим положением посчитались.

Сэмюел, который стоял позади всех, уставясь в пол, при этих ее словах вздрогнул и поднял голову.

— Да, стыдно! — повторила Флора. — Знали бы люди, как со мной тут обращаются! — Она ломала руки. — Какой ужас... и некому за меня заступиться. — Она вдруг прикрыла ладонями плоский животик. — Я ведь не за себя боюсь... за ребенка!

Все Беккеры, все, кроме Шарлотты, оцепенели. А Шарлотта истерически расхохоталась.

— Да Флора нас просто разыгрывает! — еле выговорила она, но, еще не dokonчив, почувствовала, как у нее кровь стынет в жилах.

Внезапные слезы Флоры столь же внезапно высохли.

— Если это просто розыгрыш, так пора с ним покончить! — Она подбежала к окну. — Вы только посмотрите на нее. Посмотрите на эту бесстыжую. Она и сейчас надо мной насмехается. Да как она может? Как можно быть такой грубой? А вы все — она изо дня в день такое вытво-

ряет, и вы не возмущаетесь! Вы что, не видите, как она сидит за столом? Не видите, как она одевается, на пальто все пуговицы расстегнуты? — Флора вдруг наклонилась, схватила вещицу, которую прежде шила. — Она даже рылась в моей корзине и вытащила это, как будто это ее, а не мое!

Перепуганные взгляды женщин устремились на крохотную недошитую распашонку. А у самой Флоры при виде этого клочка белой фланели вырвалось рыдание.

— Если б еще она была нормальной женщиной, если б у нее у самой мог быть ребенок, ну ладно! А вы на нее посмотрите, вся тощая, плоская как доска. У нее-то вовек детей не будет! Вот она и завидует, просто она мне завидует. В этом все дело!

На миг лицо Флоры просияло, но тотчас восторг погас, и оно опять стало затравленное, измученное и словно постарело.

— Не могу я больше! — Теперь она говорила негромко, жалобно. Прижала руку ко лбу, словно у нее разболелась голова. — Она меня совсем запутала... — И, стараясь, чтобы голос звучал подтверже, словно бы поверяя Беккерам свою тайну, продолжала: — Но я не сдаюсь! Смотрите! — порывшись в кружевах на груди, вытащила скомканный клочок бумаги. — Когда она что-нибудь такое говорит, хочет сбить меня с толку, я смотрю на этот листок. На нем написано мое имя. Нет уж, я ей не поддамся. Меня-то она не сведет с ума!

Порывисто, отчаянно Флора сунула бумажный комочек в руку Джеймсу и, не успев тот его развернуть, отняла, сунула еще кому-то, потом другому, третьему. Но все они только и разглядели какие-то неразборчивые каракули. Наконец Флора выхватила бумажку и опять сунула в вырез платья. Лицо у нее стало лукавое.

— Вот видите, ей меня не одолеть. Вам всем, вместе взятым, меня не одолеть. — Флора опять прикрыла руками мальчишески стройное тело. — Я должна думать о моем ребенке, — сказала она, и всего невыносимей была перемена в ее голосе, опять он зазвучал бесконечной нежностью.

— О господи! — Шарлотта зажала рот платком, судорожно всхлипнула. Через минуту она уже вся тряслась от плача, и Джеймсу пришлось призвать на помощь Сэмюэла и Эрнеста.

— Выведите ее отсюда, живо! — распорядился он.

Но Флора не поняла, что он говорит о Шарлотте. Она даже подскочила, как заяц.

— Кого это вывести? — закричала она. — Только по-смейте меня тронуть!

— Тише, тише, дорогая, он не о вас говорит, — промолвил Сэмюел, ему все же удалось взять Флору за руку.

— Вы уверены? — В глазах Флоры вспыхнуло подозрение, потом страх, а потом и еще какое-то чувство, Беккерам непонятное. Изумленно они смотрели на брата — Сэмюел оттолкнул Джеймса, и стало ясно, что теперь распоряжается он. Флора тоже признала, что отныне слово Сэмюела решающее. Она ухватила за отвороты его пиджака. — Она ведь того и добивается, чтобы меня отсюда выставили! — Флора отпустила пиджак Сэмюела, схватила его за руки, стиснула их так, что у нее даже пальцы свело и суставы побелели. — Вы поможете мне? Поможете? — взмолилась она. — Только вам одному я и верю. Вы ведь не дадите ей свести меня с ума, правда? Сама-то она сумасшедшая. Понимаете, в этом все дело. Никто не знает, только я, а я прежде никому не говорила. Но я всегда знала. Она сумасшедшая! И всегда была сумасшедшая. У них все сумасшедшие, вся семья. Ее отец умер в сумасшедшем доме. Пари держу, она не говорила про это Теобальду. Никому не говорила. А я узнала, вот она и преследует меня. Хочет меня тоже свести с ума. А я ей не поддамся! Никому из вас не поддамся! Зовите меня Флорой, сколько угодно. Флора! Ладно, валяйте! Кричите мне — Флора, Флора, Флора! А я не стану слушать. Заткну уши, вот и не услышу! — Жена Теобальда внезапно отпустила Сэмюела, хотела было заткнуть себе уши, взмахнула руками, и вдруг они бессильно повисли вдоль тела. — Где мой листок? — крикнула она и опять нащарила на груди клочок бумаги. — Пока у меня тут написано мое имя, никто меня не собьет!

Она устала на бумажку, несколько раз беззвучно пошевелила губами, как бы запоминая что-то, опять спрятала бумажку и с силой заткнула пальцами уши.

— Она себе проткнет барабанные перепонки, — сказал Джеймс.

И разом, словно Флоры уже не было в комнате, у всех Беккеров развязались языки.

— Что с ней стряслось? — спрашивали они наперебой.

Но Сэмюел вскинул руку, словно готов был наброситься на них с кулаками.

— Да как же вы не понимаете! — заорал он. — Уходите! Оставьте меня с ней.

Лицо у него стало такое, что Роберт уже **пятился** к дверям.

Джеймс чуть помедлил на пороге, спросил:

— А ты уверен, что можно остаться с ней одному?

— Что ты хочешь сказать, Джеймс? — воскликнула Шарлотта. — Неужели ты думаешь...

Она не посмела договорить. Но что хотел сказать Джеймс, стало ясно еще прежде, чем за ними затворилась дверь. Все увидели, как Сэмюел обнял худенькие плечи Флоры, у всех похолодело на сердце, когда он заговорил.

— Тихе, Хонория, — говорил он. — Тихе, успокойся.

Это Флоре-то!

— Прошу тебя, Хонория... прошу тебя, успокойся!

И дверь закрылась.

— О боже милостивый! — вымолвила Шарлотта и опять расплакалась.

— Что же нам теперь с ней делать? — осведомилась Джулия.

— И как это мы раньше не понимали? — недоумевала Генриетта.

— Я давно говорила, что тут что-то неладно, — напоминала Джулия, — а вы все не желали меня слушать.

— Ну а если б мы и прислушались, что толку? — огрызнулась Генриетта. — Раньше узнали, позже... какая разница... все равно позор.

— Позор? Да как вы можете так говорить? — Шарлотта уже не плакала навзрыд, но неслышные слезы текли ручьями. — Как вы можете так это называть? Такой ужас, такое несчастье...

— А про Теобальда забыли? — сказал вдруг Джеймс. — Как быть с Теобальдом? Где он? Когда вернется? И кто ему сообщит? — Но тут же понял, что, вернее всего, ему самому и придется все рассказать Теобальду, тяжело опустился на стул в прихожей, вытащил из кармашка платок, который обычно служил просто украшением, и принялся утирать мокрый лоб. — Это еще только начало, — сказал он.

Но Сэмюел, который остался в комнате наедине с Флорой, и крепко сжимал ее руки в своих, и пытался ее успокоить, поддакивая ей и опять и опять называя ее Хонорией, — Сэмюел думал иначе. Все кончено. Вот о чем он думал.

— Тише, Хонория. Тише, тише, успокойся.

Придется вызвать Теобальда. Придется послать за доктором и определить ее хотя бы на время в какую-нибудь лечебницу, может быть, там сумеют вернуть ясность несчастному, помраченному рассудку. Может быть, безумие овладело ею не навсегда и скоро все пройдет, какая страшная тяжесть легла на сердце, ее уже не избыть, это навсегда.

Все кончено — радость, веселье. Короткое путешествие по новому для них миру грубо оборвано. Лишь на миг открылась взорам Беккеров чудесная, поразительная страна, но в этом далеком от них краю им не удалось удержаться. И пленительная волшебница, что дала им заглянуть в ту страну, только легкокрылый дух, среди них ей не место.

Сэмюел посмотрел поверх плеча Флоры в сад. Там под деревом играли дети Джулии, Шарлотты и Генриетты, няня только что привела их с прогулки, — неуклюжая девочка и два неповоротливых мальчугана. А на траве сидел толстый Шарлоттин малыш и сосал палец. Все как один — истинные Беккеры. И младенец, которого носит его жена Хонория, будет такой же, все они одинаковы, не отличить.

И снова посмотрел он на Флору. Она затихла, буря улеглась.

— Скоро все пройдет, все будет хорошо, милая. Постарайся отдохнуть. Постарайся обо всем забыть. Обопрись на меня... — Он чуть помедлил. — Обопрись на меня, Хонория.

Но когда всхлипывания Флоры наконец утихли и она устало прислонилась к нему, он испугался — она почти невесомая! Казалось, она уже тает в воздухе, словно соткана из лучей, светлый дух, что впервые ослепил Беккеров в вечер его, Сэмюела, помолвки; и как же они заблуждались, когда самонадеянно вообразили, будто она стала одной из них, еще одной женой в семействе Беккеров, как Джулия, Шарлотта или та, настоящая Хонория.

Завещание

— Не могу выразить, что я передумала, пока он здесь был! — сказала Кейт, самая старшая в семье, закрыв дверь за адвокатом, который минутой раньше зачитал семейству Конрой завещание их матери. Она подбежала к младшей из сестер и всплеснула руками. — Не могу передать тебе, как я потрясена, Лэлли. Мы понятия не имели, что она была настолько ожесточена против тебя. Правда? — повернувшись, обратилась она к остальным членам семьи, которые в негнущемся траурном облачении стояли вокруг широкого стола красного дерева.

— Я знал, что она ожесточена, — сказал Мэтью, старший из сыновей. — Стоило произнести твое имя, и она тотчас выходила из себя!

— Однажды она сшибла лампу, — сказала Нонни, средняя из сестер. — Последние годы она постоянно держала палку на одеяле около себя и стучала ею по полу, когда чего-нибудь хотела, и вот однажды кто-то сказал что-то про тебя, уж не помню что, только она схватила палку и швырнула ее изо всей силы. И мы увидели, как лампа полетела со стола! Мы сгорели бы вместе с домом, если бы пламя не погасло при падении!

— Но даже после этого мы не могли себе представить, что она совсем не упомянет тебя в завещании. Правда? — Кейт подкрепляла каждую реплику обращением к остальным. — Мы думали, что она так или иначе оставит тебе что-нибудь, пусть хоть совсем немного.

— Я не обижаюсь, — сказала Лэлли. — Честное слово, не обижаюсь. И не хочу, чтобы вы все так из-за этого переживали. — Она переводила умоляющий взгляд с одного на другого.

— Как же нам не переживать? — сказал Мэтью. — Ты наша сестра, как-никак. Она была твоей матерью так же, как и нашей, что бы там ни случилось.

— Только об одном я жалею, — сказала Лэлли. — Что я не застала ее в живых. — На глаза у нее навернулись слезы.

— Я не думаю, чтобы что-нибудь изменилось от этого. Завещание было составлено несколько лет назад.

— Ах, я не имела в виду ничего такого! — воскликнула Лэлли в ужасе, и краска стыда пробила на ее щеки сквозь огрубевшую кожу. — Я только хотела сказать, что желала бы увидеть ее до того, как она умерла, независимо ни от чего.

Слезы струились по ее лицу, они лились и лились, потому что мысли ее были далеко; она думала о тех днях, когда еще жила в этом доме. Она не пыталась осушить глаза. И эти слезы расстраивали остальных — у них не было желания плакать. Наблюдая угасание старой женщины от долгой, затяжной болезни, они растратили все силы души в горестном ожидании. И теперь их головы были заняты устройством практических дел.

— Не расстраивайся, Лэлли, — сказала Кейт. — Возможно, все вышло к лучшему. Если бы она увидела тебя, она бы наверняка пришла в ярость и умерла бы, поднявшись в постели, от прилива крови к голове, а так она умерла прекрасной, естественной смертью, — она лежала вытянувшись, и руки ее были сложены на груди так, как никакой мастер из похоронной конторы не смог бы сложить их. Все вышло к лучшему.

— Надо полагать, она не вспоминала обо мне, правда? Я хочу сказать, перед концом.

— Нет, в последний раз она говорила о тебе так давно, что я и не упомяну когда. Это было ночью, она плохо себя чувствовала. Она плохо спала предыдущую ночь. Я прибиралась в ее комнате, взбивала ей подушки, то да се, а она глядела в окно. Вдруг она посмотрела на меня и спросила, сколько тебе теперь лет. Я была так ошеломлена, когда через столько лет услышала от нее твое имя, что не могла вспомнить сколько и ответила первое, что пришло в голову.

— И что она сказала?

— Сначала ничего не сказала, а потом начала бормотать что-то шепотом. Я не могла разобрать что. Она стала

в ту пору время от времени заговариваться, особенно если не спала ночь накануне.

— Ты думаешь, тогда, шепотом, она обо мне говорила? — спросила Лэлли, и ее глаза, раскрытые губы, нерешительно вскинутые руки, казалось, требовали утвердительного ответа.

— О, я не знаю, о чем она бормотала, — сказала Кейт. — Я думала о том, как привести в порядок ее постель, чтобы ей было удобно лежать на спине. Я не слушала. Помнится только, она бормотала о каких-то голубых перьях. Голубые перья! Думаю, мысли ее тогда были совсем далеко.

Слезы вновь заблестели на глазах Лэлли.

— Я была в шляпке с двумя маленькими голубыми перьями в то утро, когда вошла к ней в комнату сказать, что выхожу замуж. У меня не было нового платья. Я была в моем старом шелковом зеленом костюме и в старой зеленой шляпке. Я только купила два маленьких бледно-голубых пера и приколола их спереди на шляпу. Мне кажется, эти перья раздосадовали ее больше, чем то, что я решила выйти замуж против ее воли. Она не сводила с них глаз все время, пока я была в комнате, и, даже когда она велела мне убираться с глаз долой, она смотрела на эти перья, а не на меня.

— Не плачь, Лэлли. — Кейт чувствовала себя неловко. — Не плачь. Все это давным-давно кончилось. Не копайся в прошлом. Чему быть, того не миновать. Я всегда так считала.

Мэтью и Нонни тоже так считали. Они упрасивали ее не плакать. Говорили, что слезами горю не поможешь.

— Я никогда об этом не жалела! — сказала Лэлли. — Нам было тяжело сначала, но я никогда об этом не жалела.

Кейт отошла к окну и стала поправлять красные плюшевые шторы, как будто это и было ее единственной целью, на самом же деле так она оказалась рядом со своим тощим братом Мэтью. Он стоял, нерешительно теребя подбородок. Кейт резко толкнула его локтем.

— Скажи, что я тебе говорила, — быстро произнесла она тихим голосом.

Мэтью откашлялся.

— Что касается нас, Лэлли, тебе не о чем жалеть, — сказал он и оглянулся на Кейт, которая энергично кивну-

ла ему, чтобы он продолжал.— Мы не разделяли чувств нашей несчастной матери. Конечно, мы тоже думали, что ты могла бы лучше распорядиться своей судьбой, но теперь ноздно говорить об этом, и мы хотим, чтобы ты знала: мы сделаем для тебя все, что в наших силах.— Он снова взглянул на Кейт, которая кивнула еще более энергично, давая понять, что самое важное еще не сказано.— Мы не оставим тебя в нужде,— сказал Мэтью.

Когда это главное было сказано, Кейт решила, что вполне отдала должное авторитету своего брата, и снова включилась в разговор.

— Мы никому не дадим сказать, что мы оставили тебя в нужде, Лэлли. Мы все обсудили. Мы можем договориться.— Она снова бросила на Мэтью взгляд, который перекинул ему разговор, словно мяч.

— Мы подумали,— сказал Мэтью,— что если каждый из нас выделит небольшую долю, то, сложенные вместе, они составят значительную сумму.

Но Лэлли опять всплеснула руками.

— Нет, нет, нет,— сказала она.— Я не хочу ничего, что не принадлежит мне по праву.

— Это будет совсем небольшая сумма от каждого,— примирительно сказала Нонни.— Это никого не разорит.

— Нет, нет, нет,— сказала Лэлли.— Я не могу позволить вам сделать это. Это было бы против ее воли.

— Ты немножко поздно начала смущаться мыслью, что идешь против ее воли,— сказала Кейт с невольным раздражением, но тут же поспешила погасить свою вспышку.— И почему тебе не взять эти деньги? Они сколько наши, столько же и твои.

— Коль скоро мы говорим в своем кругу, можно сформулировать и так,— сказал Мэтью.

— Нет, нет, нет,— сказала Лэлли в третий раз.— Как вы не понимаете? Мне невыносимо будет все время сознавать, что она не хотела давать их мне, а я взяла. И в конце концов, вы должны подумать о себе.— Она поглядела на Кейт.— У тебя дети, и им надо дать образование. У тебя, Мэтью, этот дом, и его надо содержать в порядке! А у тебя совсем никого нет, кто бы позаботился о тебе, Нонни. Я не возьму у вас ни пенни.

— А как же твои собственные дети? — сказала Кейт.— Ты забыла про них?

— О, с ними все в порядке,— ответила Лэлли.— В го-

роде все иначе. В городе много бесплатных школ. И у меня тоже дела идут отлично. Дом — полная чаша.

После этого на время воцарилось молчание, только Кейт и Нонни переглядывались. Кейт подошла к камину и взяла кочергу. Она сунула ее в пылающие угли и начала шуровать с таким неистовством, что Мэтью обернулся и посмотрел на нее: она стояла на коленях на красном ковре.

— Из тебя что, каждое слово надо вытягивать? — сказала Кейт, когда завладела его вниманием.

Мэтью снова откашлялся, и на этот раз Лэлли выжидательно повернулась к нему.

— Мы говорили до твоего приезда и о другом, — сказал он торопливо и нервно. — Было бы лучше для семьи, если бы ты перестала держать жильцов. — Он быстро взглянул на нее, чтобы определить, какое впечатление произвели его слова, и отступил назад на два шага, словно актер, который подал реплику и освобождает место другому.

Пока он говорил, Кейт с кочергой в руке оставалась у камина, но, как только он кончил, она попыталась быстро встать. Однако новое негнущееся траурное платье мешало ей, а холод и сырость, пока она стояла у могилы, повели к неожиданному обострению ревматизма, так что, порываясь подняться, она вдруг перегнулась вперед судорожным движением верблюда. Лэлли рассмеялась, то ли над словами Мэтью, то ли над видом Кейт. Сначала Кейт хотела было обидеться, но тут же сделала вид, что отнесла этот смех на счет Мэтью.

— Я не вижу здесь ничего смешного, Лэлли, — сказала она. — Нам не очень-то приятно сознавать, что наша сестра сдает комнаты внаем. Этого мать никогда не могла простить! Рано или поздно она могла бы простить тебе твой брак, но она никогда не могла простить, что ты унизилась до того, чтобы держать квартирантов.

— Нам надо было как-то жить, — сказала Лэлли, но сказала это легко и, пока говорила, обирала тлей с цветка на столе.

— Не могу сказать, чтобы я винила мать! — неожиданно ядовито вмешалась в разговор Нонни. — Не понимаю, почему ты так жаждала выйти за него замуж, если это означало, что придется сдавать комнаты жильцам.

— Все было совсем наоборот, Нонни, — сказала Лэлли. — Я хотела сдавать комнаты, потому что тогда я могла выйти за него замуж.

— Тише! — сказал Мэтью. — Не надо ссориться. Мы должны обсудить все спокойно. Мы придем к какому-нибудь соглашению. Но нет нужды делать все в один день. Утро вечера мудренее. Лэлли, должно быть, устала после долгой дороги и похорон — она пошла на них, не передохнув и пять минут. Мы все обсудим завтра днем.

Прежде чем заговорить снова, Лэлли некоторое время переводила взгляд с одного лица на другое, словно отыскивала самое снисходительное из них. В конце концов она снова повернулась к Мэтью.

— Завтра утром меня здесь не будет, — торопливо сказала она, словно это не имело никакого значения. — Я уезжаю обратно сегодня вечером. Я приехала только на похороны. Больше я не могу здесь оставаться.

— Почему? — спросила Кейт и затем, словно зная ответ и не желая слышать его из уст своей сестры, поспешно продолжала: — Ты должна остаться. — Она топнула ногой. — Ты должна остаться. И не о чем тут больше говорить.

— Мне в любом случае нет никакого смысла здесь оставаться, — ответила Лэлли. — Я не возьму денег, что бы вы ни говорили, — ни сегодня вечером, ни завтра!

Мэтью поглядел на других своих сестер. Они кивнули ему.

— Нет никакого смысла так упрямиться, Лэлли, — запинаясь, сказал он.

— Ты, вероятно, думаешь, в твоём поведении нет ни капли эгоизма, — заговорила Кейт, — но, позволь тебе сказать, моим детям не очень-то приятно знать, что их двоюродные братья и сестры ходят в городе в бесплатную школу вместе со всяким сбродом и носят записки твоим грязным постояльцам. И как будто этого еще мало, ты, того и гляди, поставишь их за прилавков какой-нибудь зеленой лавки!

Лэлли ничего не ответила.

— Если бы у тебя был отель, это не выглядело бы так ужасно, — неожиданно сказал Мэтью очень взволнованно, выдавая этим, что теперь он впервые говорит по собственному почину. — Если бы ты держала отель, мы могли бы организовать компанию на паях. Мы все могли бы войти в долю. Мы могли бы рекомендовать его порядочным людям. Мы могли бы и сами останавливаться там всякий раз, как будем в городе. — Его возбуждение росло с каждым

словом. Он взглянул на Кейт. — Неплохая мысль? Разве не так? — Затем снова повернулся к Лэлли. — Теперь-то ты должна остаться на ночь, — сказал он с воодушевлением, всем своим видом показывая, что до этого он не считал, что ей стоит уступить их настояниям.

— Я не могу остаться, — слабо возразила Лэлли.

— Нет, можешь. — Мэтью и слышать не хотел о ее затруднениях. — Ты должна остаться, — сказал он. — Комната для тебя готова. Не так ли?

— Совершенно готова, — сказала Нонни. — Я распорядилась, чтобы затопили камин и положили грелку в постель. — И, словно спохватившись, она продолжала объяснять дальше: — Мы хотели устроить тебе комнату здесь, но за всеми хлопотами у нас не было времени заняться этим, и я подумала, что проще всего дать знать в отель на станции, чтобы они приготовили для тебя хорошую комнату. Эта комната уже совсем готова. Я ходила ее посмотреть. Это большая просторная комната с хорошей большой кроватью. В ней два окна, и выходят они на площадку для игры в кегли. Тебе там будет удобней, чем здесь. Конечно, если ты хочешь, я могу поставить раскладушку в своей комнате, но, думаю, ради себя самой тебе лучше сделать так, как я говорю. Ты спокойнее проведешь ночь. Если ты ляжешь спать здесь, это может только напомнить тебе о том, что ты хотела бы позабыть.

— Я очень благодарна тебе, Нонни, за все твои хлопоты. Я благодарна всем вам. Но я не могу остаться.

— Почему? — сказал кто-то, наделяя голосом выражение всех лиц.

— У меня есть дела.

— Какие дела?

— Разные дела. Мне вам трудно объяснить.

— Они могут подождать.

— Нет, — сказала Лэлли. — Я должна ехать. Одна женщина сегодня вечером вселяется в комнату, и мне надо там быть, чтобы помочь ей внести мебель.

— У тебя есть ее адрес? — спросил Мэтью.

— А что? — сказала Лэлли.

— Ты можешь послать ей телеграмму и аннулировать соглашение.

— О, это поставит ее в затруднительное положение, — сказала Лэлли.

— Тебе-то что. Ты больше никогда ее не увидишь. Когда мы заведем отель, ты будешь иметь дело с совсем другими людьми.

— Я никогда не заведу отель,— сказала Лэлли.— Теперь я уже не буду ничего менять. Мне невыносимо будет получать большие деньги, когда Роберт там, где ему от них никакой пользы. Теперь слишком поздно. Я слишком стара теперь.

Она посмотрела на свои тонкие руки с обломанными ногтями и тонкой паутиной морщинок, подчеркнутых грязью. И пока она рассматривала свои руки, остальные тоже смотрели на нее. Они все смотрели на нее — на свою сестру, которая была моложе их всех, они читали в ней признаки своего собственного упадка, и холодок пробежал по их спинам. Они сохранились лучше, но и только; лишения рано состарили ее, и нельзя было не заметить этой согбенной спины, сморщенной кожи, выцветших глаз. По их спинам пробежал холодок. Их грызло озлобление против нее.

— Я начинаю понимать,— сказал Мэтью,— что мать была права. Я начинаю понимать, что она имела в виду, когда говорила, что ты упряма как осел.

— Она так говорила? — сказала Лэлли, и ее лицо осветилось на мгновение солнечным сиянием юности, а душа раскрылась непокорному видению голубого, будто перья на шляпке девушки, неба, на фоне которого высились деревья с пышной листвой, глянцеви́то сверкающей под солнцем.

Нонни порывисто встала.

— Что толку разговаривать? — сказала она.— Никто ничего не сможет сделать для упрямых. Им надо предоставить идти своей дорогой. Но по крайней мере никто не может сказать, что мы не сделали все от нас зависящее.

— Я очень благодарна,— снова сказала Лэлли.

— Ах, оставь свои благодарности при себе! — ответила Нонни.— Как сказал Мэтью, мы хотели сделать это не ради тебя. Не очень-то приятно, когда люди возвращаются из города и говорят, что встретили тебя, а мы все время представляем себе твою поношенную одежду, и твои свалявшиеся волосы, и твое лицо, может быть грязное, если уж говорить все до конца!

— Ты когда-нибудь смотришь на себя в зеркало? — сказал Мэтью.

— Что на тебя нашло, что ты так запустила свои зубы? — сказала Кейт. — Отвратительно их видеть. — Она поежилась.

— Мне было бы стыдно разговаривать с тобой на людях, — сказала Нонни.

В тихом вечернем воздухе послышался далекий стук колес поезда. Сквозь шторы было видно, как сигнальные огни на железной дороге сменили красный свет на зеленый. Даже после того как вошла пожилая горничная с тяжелой медной лампой, зеленый огонь брезжил сквозь оконное стекло настойчиво, как мысль.

— Сколько времени? — спросила Лэлли.

— У тебя уйма времени, — сказал Мэтью. Его слова констатировали общее признание того факта, что она уезжает.

Торопливо принесли поднос с чаем. Послали человека бегом наверх посмотреть, не забыла ли Лэлли перчатки на кровати в комнате Кейт.

— Где же ты их оставила? — повторял кто-нибудь каждые несколько минут и отходил в замешательстве, не получив вразумительного ответа.

— Ты не хочешь умыться? — спросила Нонни. — Это освежит тебя перед дорогой. Я поставила кувшин с водой на лестничной площадке.

Раз или два Мэтью наклонялся через стол и, понизив голос до шепота, осведомлялся, все ли у нее готово для дороги. Есть ли у нее обратный билет? Есть ли мелочь для носильщиков?

Но Лэлли ни в чем не нуждалась, и, когда стало подходить время отправления поезда, обнаружилось, что она даже не хочет воспользоваться машиной, чтобы доехать до станции.

— Но ведь мокро! — сказал Мэтью.

— Темно как в преисподней, — сказала Кейт. И все они, даже горничная, убиравшая поднос, сошлись на одном: дать людям видеть, что она уезжает обратно в тот же день, когда похоронили ее мать, уже само по себе скверно, но скандал усугубится еще и разговорами о том, что ее брат Мэтью не подвез ее на своей машине до станции в дождь.

— Скажут, что у нас споры из-за завещания, — сказала Нонни, сохранившая по крайней мере одну черту, свойственную молодости, — болезненную чувствительность.

— Что из того, что скажут, — сказала Лэлли, — если мы сами знаем, что это не так?

— Если бы каждый так думал, хорош был бы мир, в котором мы живем, — сказал Мэтью.

— Существует такая вещь, как соблюдение приличий, — сказала Кейт и бросила суровый взгляд на пальто Лэлли. — Это пальто черное или синее? — вдруг спросила она, схватив рукав пальто и поднося его ближе к свету.

— Оно почти черное, — сказала Лэлли. — Это очень темный синий. У меня не было времени достать настоящее траурное платье, и соседка одолжила мне это. Она сказала, что его не отличить от черного.

Пожав плечами, Нонни повернулась к Мэтью.

— Она слишком горда, чтобы взять что-нибудь от родных, но не слишком, чтобы брать у чужих.

Послышался пронзительный паровозный свисток.

— Я должна идти, — сказала Лэлли.

Она пожала руку каждому из них. Взглянула на лестницу, по которой этим утром сносили гроб. Положила руку на дверь. И в тот момент, когда они снова стали уговаривать ее сестр в машину, она открыла дверь и побежала по улице.

Они слышали в темноте ее шаги по мостовой, подобно тому как слышали их — и не редко, — еще когда она была девочкой и бегала в город по поручениям матери. И совсем как в те дни, когда она набрасывала пальто на голову, так что рукава свободно болтались, и выбегала на улицу, — совсем как в те дни, дверь осталась широко открытой в темноту. Поколебавшись с минуту, Мэтью закрыл ее.

— Почему ты не настоял? — спросила Кейт.

— С такими людьми, как Лэлли, бессмысленно надсаживать горло. У них собственные взгляды на жизнь, и ничто не может изменить их. Гадать, что у Лэлли на уме, все равно что носить воду решетом.

Они стояли в холодном коридоре. Кейт вдруг заплакала навзрыд.

— Почему ты плачешь сейчас? — спросила Нонни. — На кладбище ты держалась великолепно. Ты нам всем не давала раскиснуть. Почему ты плачешь сейчас? — Ее голос готов был сорваться, и она вцепилась пальцами в рукав Мэтью.

— Из-за Лэлли! — сказала Кейт. — Никто из вас не помнит ее так хорошо, как я. Я шила ей платье для пер-

вого танцевального вечера. Оно было из белого муслина с голубыми бантами впереди. Ее волосы были как свет.— Кейт плакала глухо и надрывно, эти рыдания сотрясали все ее тело и худое, высохшее тело обнявшего ее Мэтью.

Лэлли бежала по темной улице провинциального городка так, как давным-давно бегала по ней девочкой, и ей с трудом удалось перейти на обычный шаг, когда она приблизилась к желтым пятнам электрического света, лившегося из витрин магазинов и открытых дверей домов ближе к центральной площади. Однако теперь причиной возбуждения был стук крови в висках и неистовое биение сердца. Раньше, в детстве, это было возбуждение души, в ту пору казалось, что яркий мир обступает город со всех сторон и что где-то там, вне этой тьмы, существует загадка жизни; **нужно только бежать, бежать дальше, минуя старые городские ворота, дальше под темным железнодорожным мостом, еще чуть подалее по петляющей дороге, и тогда доберешься до сердца этой загадки.** Когда-нибудь она отправится в путь.

И однажды она отправилась. Но теперь не было загадки — нигде. Жизнь была одна и та же и в провинциальном городке, и в большом городе, и в деревне, где петляет дорога. Жизнь была одна и та же и в темноте, и на свету. Она была одна и та же и для старой девы, и для замотанной матери семейства. Человек всегда оставался самим собой, неважно, куда он уходил и что он делал. Человек не менялся. Ее братья и сестры остались такими же, какими были всегда. Она сама осталась такой же, какой была всегда, хотя зубы ее сгнили, а голубое перо на шляпе придало бы ей теперь вид старой ведьмы из пантомимы. Ничто из того, что человек делал, не вызывало в нем никаких реальных перемен. Человек мог думать, что это вызовет великие перемены, но ничто не изменялось. Существовала только одна вещь, способная изменить тебя, и это была смерть. И никто не знал, что это такое.

Никто не знал, что такое смерть, но люди строили жуткие мучительные догадки. Отрывки из старого дешевого катехизиса, который она зубрила в школе, вспомнились ей, искаженные плохой памятью и смятением чувств. Видения адского пламени и грешников, которые визжали и корчились на огне, вставали перед ней, пока она бежала по улице к станции. Пронзительный свисток поезда во тьме придал реальность ее скачущим мыслям, она остановилась

и несколько секунд прислушивалась к нему. Потом быстро повернулась кругом и, пробежав несколько шагов назад, стала пробираться ощупью вдоль темной стены, тянувшейся здесь по одной стороне улицы.

Черные, мокрые прутья калитки коснулись ее пальцев. Это была калитка, ведущая к дому каноника. Лэлли захлопнула ее с той же яростной решимостью, с какой открыла, и по мокрой гравийной дорожке побежала к дому священника.

В темноте она не смогла найти медного дверного молотка и стала колотить в дверь своими крепкими руками. Через минуту в ответ на ее резкий стук дверь столь же резко распахнулась.

— Чего, бога ради, вам нужно? — спросила пожилая женщина в переднике, который белел в темноте.

— Я хочу видеть каноника! — ответила Лэлли.

— Он ужинает, — сказала женщина враждебно и хотела закрыть дверь.

— Я должна его видеть, — сказала Лэлли и шагнула в коридор.

— Я не могу мешать ему во время еды, — сказала женщина, но когда она увидела, что Лэлли ей не знакома, ее гнев несколько поутих. Два сильных чувства не могут ужиться вместе, и теперь ею овладело острое любопытство.

— Как вас зовут? — спросила она.

— Лэлли Конрой, — ответила Лэлли. Старые ассоциации дали себя знать с такой силой, что с ее уст сама собой слетела ее девичья фамилия, а не та, которую она носила вот уже двадцать четыре года.

Экономка прошла через переднюю и вошла в дверь налево. Она закрыла ее за собой, но замок не щелкнул, и дверь снова отворилась. Усевшись в передней на полированный стул красного дерева, Лэлли равнодушно слушала отчетливо доносившийся разговор.

— Там одна женщина, она хочет вас видеть, отец.

— Кто она? — спросил священник; его голос звучал приглушенно, так, будто он вытирал салфеткой рот.

— Она назвалась Лэлли Конрой, — сказала женщина, — и она похожа на Мэтью Конроя, но я никогда раньше ее не видела, и одета она как нищенка.

Речь священника была медлительна и задумчива.

— Я слышал, что в семействе Конрой есть еще одна сестра, — сказал он, — но с ней случилась печальная исто-

рия, я забыл, что именно.— Раздался скрип отодвигаемого стула.— Я приму ее.— Послышался звук шагов по паркетному полу — он шел через комнату к передней.

Лэлли сидела на жестком стуле с деревянным сиденьем, загородив лицо от жара пламени, языки которого, словно змеи, обвивались вокруг поленьев в камине.

— Отец, я спешу. Я еду этим поездом.— Снаружи, во тьме вновь раздался пронзительный свисток паровоза.— Простите, что беспокою вас. Я хотела только спросить.— Ее короткие фразы скакали неудержимо, как пламя в камине.— Я хочу знать, не отслужите ли вы мессу за упокой души моей матери завтра утром в первую очередь. Меня зовут Лэлли Конрой. Я вышлю вам церковную лепту в ту же минуту, как доберусь до города. Я вышлю деньги по почте сегодня же вечером. Вы отслужите, отец? Отслужите? — И как будто разговор был окончен, она встала и, не дожидаясь ответа, стала отступать назад к двери, повторяя свою настоятельную просьбу.— Вы отслужите? Отслужите, отец? Утром, в первую очередь!

Каноник достал часы из складок своего блестящего священнического одеяния.

— У вас есть еще шесть минут,— сказал он.— Присядьте. Присядьте.

— Нет, нет, нет,— ответила Лэлли.— Я не могу упустить поезд.— Свисток раздался вновь, и этот звук, казалось, погнал ее мысли галопом.

— Я хочу, чтобы вы отслужили три мессы,— объяснила она,— но я хочу, чтобы первая была отслужена сразу, завтра утром, в первую очередь. Вы получите деньги, как только я доберусь до дома. Я отправлю их сегодня вечером.

Каноник оглядел ее поношенные туфли и толстые чулки, потрепанное пальто с выцветшей вышивкой.

— Нет нужды беспокоиться о мессах. Она была благочестивой женщиной,— сказал он.— И, как мне известно, в своем завещании она оставила значительную сумму на мессы, которые должны быть отслужены после ее смерти. По-моему, триста фунтов или около того. Во всяком случае, очень значительная сумма. Нет нужды беспокоиться на этот счет.

— Это совсем другое дело — оставлять деньги на мессы самому себе. В счет идут только те мессы, о которых другие для вас позаботились.— Ее возбуждение прыгало, как

пламя в камине. Я хочу, чтобы месса была отслужена за мои деньги! За мои!

Священник наклонился вперед с необычным, непреодолимым любопытством.

— Почему? — спросил он.

— Я боюсь, — сказала Лэлли. — Я боюсь, что она будет мучиться. Я боюсь за ее душу. — Ее глаза всматривались в пылающее нутро пламени, и в них действительно стоял страх, а когда уголь рассыпался, обнажая зияющую бездну огня, глаза эти наполнились безграничным ужасом. В них скакали отблески пламени. — Она была очень озлоблена. — Лэлли Конрой зарыдала впервые с тех пор, как получила известие о смерти матери. — Она была очень озлоблена против меня до самого конца, и она умерла, не простив. Я боюсь за ее душу. — Она подняла глаза на священника. — Вы отслужите их как только сможете, отец?

— Я отслужу их, — сказал священник. — Но не беспокойтесь о церковной лепте. Я внесу деньги от себя.

— Разве я этого хочу? — сердито возразила Лэлли. — Я хочу оплатить мессы моими деньгами. В том-то и дело, что они должны быть оплачены моими деньгами.

Священник в чопорном, обшитом красным кантом церковном облачении беспрекословно подчинился диктату неопрятной женщины, стоявшей перед ним.

— Я сделаю так, как вы хотите, — сказал он. — Не тревожит ли вас еще что-нибудь?

— Поезд! Поезд! — воскликнула Лэлли и стала дергать ручку двери.

Священник снова достал часы.

— У вас как раз есть время поспеть на него, если вы поторопитесь. — И он открыл дверь. Лэлли снова выбежала во мрак.

На секунду, довольная тем, что она сделала, Лэлли почувствовала умиротворение, и, пока она бежала по мокрой гравийной дорожке и холодный дождь бил в ее разгоряченное лицо, голова ее была занята мыслями о возвращении домой. Но когда она оказалась в жарком, душном вагоне, где стоял запах пыли и мокрой сажки, слезы снова потекли по ее лицу, и она начала сомневаться, сумела ли она объяснить все канонику. И когда поезд тронулся, она высунула голову из окна и окликнула железнодорожника, стоявшего с зеленым флажком в руке.

— Когда этот поезд приходит в город? — крикнула она, но железнодорожник не слышал. Он поднес руку к уху, однако поезд уже влетел во мрак под мостом. Лэлли подняла окно и села обратно на место.

Если поезд придет в город до полуночи, думала она, то можно обратиться во францисканский монастырь и попросить немедленно отслужить мессу за упокой души ее матери. Она слышала, что мессы служат в этом монастыре днем и ночью. Она попыталась вспомнить, где она это слышала и от кого, но ее мысли путались. Она откинула голову на валик и, пока поезд грохотал в ночи, лихорадочно складывала суммы, которые получит от постояльцев в верхних комнатах, и вычитала из них деньги, необходимые на еду для себя и детей в течение недели. У нее останутся свободными два фунта десять шиллингов. Она сможет заказать на них по крайней мере десять месс, и даже могут остаться деньги, чтобы затеплить несколько лампад в монастыре Вечного искупления. Она пыталась успокоить себя этими расчетами, но темный поезд несясь сквозь мрак, и она села прямее на пахнувшем пылью, застланном красным ковром сиденье и туго сцепила руки — она думала о муках чистилища. Ярко-красные искры от паровоза легли мимо вагонного окна, и она начала молиться торопливыми бесформенными словами, которые теснились в ее голове, словно снопы горящих искр.

Ирландская Акулина

Конечно, звали ее вовсе не Акулина, хотя при желании ее имя можно было счесть уменьшительным от Акулины — Лина. Да и внешне моя Лина ничуть не походила на героиню тургеневского «Свидания», этой короткой, надрывающей душу сцены в березовой роще, когда ломающийся хам Виктор Александрыч бросает прелестную крестьянскую девушку, как бросил подаренный ею пучок васильков.

Мою-то Лину никто бы не назвал прелестной. Она была так некрасива — я чуть было не сказал уродлива, — что потому я сразу и обратил на нее внимание. Я уже останавливался в маленькой деревенской гостинице, где она служила, и заметил, что все горничные здесь на редкость миловидные и привлекательные; наверное, решил я, хорошенькие служанки — фирменное блюдо гостиницы. И сейчас, сидя в единственном в округе такси, которое везло меня со станции, я с удивлением размышлял, как это хозяевам удастся заманить таких красоток в такую глушь. Я не преувеличиваю: это было фирменное захолустье пейзаж не ахти, и охота и рыбная ловля самые обыкновенные.

Меня деревушка как раз и привлекала своей тишиной и уединенностью. Но то, что по душе непритязательному затворнику вроде меня, вряд ли может удовлетворить жаждущих развлечений служанок. Где, например, эти девушки брали кавалеров? Не считая шофера такси, чей насупленный, хоть и красивый профиль виделся мне в маленьком зеркальце сбоку, здесь не было, я знал, ни одного холостого парня. А шофера и горничные, и официантки единодушно отвергали. Уж очень он много о себе понимает, говорили они, к нему не подступишься. В упор их не заме-

чает, что на такого истукана время зря тратить. Я и сам видел, что парень непрошибаем. На моих глазах то одна, то другая расставляли ему сети, но все напрасно. Любуясь их стройными фигурками и цветущими, задорными мордашками, я дивился, как же это он мог устоять. Наверное, метит выше. Или просто убежденный женоненавистник?

Поэтому представьте себе мое изумление, когда в тот самый вечер я увидел, что на улице под деревом стоит мой мужественный возница, а к нему подходит Лина, он галантно предлагает ей руку, и она небрежно на нее опирается! Глаза ее сияют счастьем, держится она так свободно, так непринужденно и принимает его внимание как должное! За те несколько дней, что я прожил в гостинице, я понял, что эта удивительная естественность была сутью Лининой натуры. И еще ее отличало усердие, с которым она бросалась делать любое дело. Когда она в первый раз прислуживала мне за столом, меня поразила ее энергия. Жизнь била в ней через край. Отодвигала ли она стул или смахивала со скатерти крошку, она вкладывала во все столько оживления, что его с лихвой хватило бы троим или четверым. А уж если она бралась за что-то важное, тут ее усердие не знало границ. Казалось, ее хрупкое тело не выдержит бьющих изнутри сил. В такие минуты лицо ее, обычно столь некрасивое, освещалось чем-то, что с успехом заменяло красоту. Я не боюсь даже сказать, что те, кто видел ее в такие минуты, забывали потом о ее непривлекательности — так иностранцы, услышав однажды пение нашего скворца, не могут потом без волнения смотреть на эту скромную, неприметную птицу, в их ушах всегда звучит мелодия ее песни. Так и с моей Линой. И чтобы вы не считали мое сравнение слишком пышным, я вам открою, что и Лины, как у певчей птицы, был чудесный голос.

Мой номер находился возле служебной лестницы, которая вела в кухню и кладовые, и на одной из площадок помещалась маленькая буфетная, где Лина проводила довольно много времени. Однажды меня поразила необычайной красоты голос, вырвавшийся из этой каморки, и с тех пор я всегда оставлял дверь спальни приоткрытой, чтобы слышать, как она поет, потому что, хотя она в своей неумной деятельности без конца носилась по лестнице вверх-вниз, влетала то в один номер, то в другой, она неизменно возвращалась в маленькую буфетную, как птица возвращается на свое родное дерево. И, вернувшись, всег-

да заливалась песней. Поверьте, пела она восхитительно.

Знаете, какая мысль пришла мне в голову? Мне пришло в голову, что тот, кто сотворил ее и наблюдал сверху за тем, как расцветала душа, которую он, возможно сам того не сознавая — да простится мне мое непочтительное предположение, — вдохнул в столь нескладное тело, потом смягчился и дал ей этот редкостный голос, чтобы она могла выразить в песне всю красоту своей души.

Во всяком случае, когда я узнал Лину лучше, я перестал удивляться, что она привлекла внимание красавца Энди Хэкетта. А сам Энди вырос в моих глазах. Нет, он не самодовольный индеек, а серьезный, вдумчивый, глубокий парень, разбирается в людях, ему нужна не хорошенькая пустышка, а хорошая, положительная девушка. Конечно, он женится на Лине, думал я, глядя, как они каждый вечер проходят под моими окнами рука об руку.

Но однажды, когда я, чтобы сократить путь, спускался по черной лестнице, где постояльцы обычно не ходили, я с удивлением услышал в маленькой кладовой на площадке чьи-то рыдания. Неужели это Лина? Нет, что за глупости. Но кто же? Никто больше из служанок в буфетную не заходил, и, когда я заглянул в щелку, я увидел, что на батарее сушится, как бы официально заявляя, что хозяйка этого помещения — Лина, пара дешевых шелковых чулок кошмарного оранжевого цвета, который, без сомнения, считался здесь телесным и в котором неизменно щеголяла моя бедная певунья. Я сунул голову в дверь.

Да, плакала Лина. Увидев меня, она забилась в уголок за дверью и зашептала:

— Ой, сэр, простите, это вы, я думала, в гостинице никого нет. Никто ко мне сюда не заходит, и я...

Она торопливо вытерла слезы уголком фартука. Но видно, горе девушки, как и все ее чувства, было так безудержно, что за несколько минут плача лицо ее неузнаваемо изменилось. До чего же бедняжка была сейчас некрасива! Я невольно вспомнил ее красавца кавалера и подумал, как нелепо они сейчас выглядели бы рядом.

— Вы поссорились? — спросил я.

Нет, оказывается, дело было не в этом.

— Ну, если у вас все хорошо, о чем же плакать? — сказал я. — Ведь мое окно выходит на улицу, я каждый вечер вижу, как вы идете с ним гулять, и думаю, до чего же все остальные девушки вам завидуют!

Я хотел ее утешить, успокоить, но, видно, лишь разбедрил рану. Она посмотрела на меня такими глазами, что у меня сжалось сердце.

— Ах, какой мне от этого толк, сэр, раз мы все равно не можем пожениться! — воскликнула она. Я не успел спросить почему; она сама тут же объяснила: — Ведь я другой веры.

Так вот оно что, значит, у них разная вера. Такое мне и в голову не приходило. Каждое воскресенье в большом храме на холме возле гостиницы собиралось пятьсот — шестьсот католиков и пятнадцать — двадцать протестантов в церквушке за храмом.

Протестантская церквушка выглядела так одиноко, и я сразу решил, что протестант — Энди, ведь он тоже всегда казался мне одиноким. Судя по всему, родных у него не было. Спал он на чердаке в сарае, где стоял его автомобиль. Конечно, Ленино отступничество вызовет в ее семье бурю, а вот если он захочет поменять веру, никто его отговаривать не станет. Я ободряюще похлопал ее по плечу.

— Ничего, Лина, вы его обратите в свою, — сказал я беззаботно и, желая щегольнуть знанием местных оборотов, добавил: — Он у вас обратится. Вот увидите, Лина, он обязательно обратится.

Но Лина горестно посмотрела на меня.

— Да нет, сэр, вы не поняли. Ведь протестантка-то я.

Ах да, конечно, как же я мог забыть? Ведь Лина жила не в гостинице, а вместе со своей семьей в протестантской церквушке, в полуподвальном этаже. Я не раз видел, как она сбегала по крутой каменной лестнице в подземное жилище, где обитала ее семья, и даже заподозрил, что приютили их в этом склепе лишь в благодарность за Ленино пение в хоре. Ну как же я забыл! Помню, я глядел, как Ленины родные исчезают за темной дверью, и мне приходили на память церковные мыши, юркающие в свои норы. Но я знал, что с жильем в здешних краях плохо, и, если церковные власти лишат Ленино семейство крова, ему придется куда хуже, чем этим мышам. Что и говорить, им о Энди сейчас не позавидуешь. В эту минуту с колокольной собора поплыли звучные, торжественные удары колокола, и Лина снова горько зарыдала.

— Если бы я могла перейти в католичество, — всхлипывая, говорила она. — Мне так нравится их вера. Сколько у них горит свечей! И когда проходишь мимо, так прекрасно

пахнет ладаном. А как у них поют! Я часто встану где-нибудь рядом — еще до того, как познакомилась с Энди, — особенно зимой, когда темнеет рано и никто меня не видит, стою и слушаю. Концерт, настоящий концерт! До чего же мне всегда хотелось быть там, внутри, и петь со всеми. Ах, как бы я пела, пела и ни о чем не думала, и пусть там даже кто-то фальшивит — что мне за дело! Разве у нас в церкви так! У нас церковь почти всегда пустая, а музыка? Сипит старый аккордеон, да я пою — вот и все. Нет, я всегда хотела переменить религию, еще до того, как познакомилась с Энди.

Но я ее почти не слушал. Я мучительно соображал.

— А вы не можете пожениться и чтобы каждый сохранил свою веру? — спросил я, зная, что смешанных браков в Ирландии не так уж мало, хотя смотрят на них косо. Конечно, устроить такой брак нелегко, однако возможно.

Никогда не забуду, как она на меня посмотрела.

— Нет, сэр, ни за что, я хочу думать обо всем так же, как мой муж, — сказала она. — В настоящем браке муж и жена должны быть во всем согласны. Разве богу угодно, чтобы у них были разные взгляды и особенно разная вера?

— Да, конечно, — растерянно проговорил я. Но какой же церкви придется уступить ради столь гармоничного союза?

— Ничего, Лина, все как-нибудь уладится, — неуверенно сказал я, берясь за ручку двери.

Но Лина была безутешна.

— Никогда ничего не уладится, — всхлипнула она. — Не перейдет Энди в протестантство.

— Тогда, видно, придется перейти в католичество тебе, — сказал я. — Родные родными, а о себе ты должна думать в первую очередь.

Лина зарыдала еще горше.

— То же самое я твержу и Энди. Ведь Священное писание велит нам оставить отца своего и мать свою и прилепиться друг к другу, разве не так, сэр? — сказала она, и вдруг мне показалось, что в чуланчике, кроме нас с Линой, есть кто-то третий, кто-то куда мудрее меня, и Лина внимает ему. Она вытерла слезы. И я почувствовал, что я здесь сейчас лишний — во всяком случае, ей я больше не нужен.

— Ну что ж, Лина, — сказал я, открывая дверь. — Как бы ни сложилось будущее, радуйся тому, что у тебя есть

сейчас. Вечером я, как всегда, буду смотреть на тебя в окошко и надеюсь, ты опять будешь такая же веселая и счастливая.

— Спасибо вам, сэр,— ответила она. Я стал спускаться вниз, но она, с той предупредительностью, которая стала ее второй натурой, окликнула меня от двери, хотя волнение ее еще не прошло, я это ясно видел.

— Вы меня вечером не увидите, сэр. Я сегодня работаю только полдня, и мы с Энди встретимся пораньше. Поидем погулять в Беллинтерский лес.

Меня очень растрогала ее внимательность.

У меня в тот день и в мыслях не было идти в Беллинтер, я попал туда совершенно случайно и оказался невольным свидетелем сцены, которая там произошла. Около полудня полил дождь, и я отправился на прогулку позднее обычного. В пути меня снова застиг дождь, я решил переждать его в лесочке у дороги, забрался на откос и стал под густым деревом.

Мог ли я вообразить, что у такого крошечного лесочка есть название, и уж тем более мне не пришло в голову, что именно сюда придет Лина со своим кавалером. Но, стоя под мокрыми ветвями и глядя на потемневшие за пеленой дождя поля, точно уже наступили сумерки, я думал о ней. Где-то она сейчас? Девушка так много трудилась, чтобы заработать эти полдня, и вот теперь дождь помешал ей.

Конечно, и мне дождь был ни к чему, но, судя по всем приметам, он скоро кончится, не то что утренний ливень. И в самом деле, вот тучи начали редеть, сквозь ветви бука над головой я увидел голубые промоины. Еще немного, и дождь кончится, капать будет только в роще, с намокших деревьев. И как раз в эту минуту, точно желая доказать, сколько жизнелюбия заключено в природе, пригнутая дождем к земле травинка у моих ног вдруг сбросила свой сверкнувший груз и стройно выпрямилась. И сейчас же из своих зеленых убежищ стали выпархивать птицы, отряхиваясь и расправляя гладкие перышки, запели, защелбтали, а воздух наполнился свежим дыханием омытых дождем листьев.

Я уже хотел выйти на дорогу, как вдруг услышал, что кто-то взбирается на откос, как недавно взбирался я, и входит в лесок. Я вздрогнул от неприятного ощущения, какое

испытываешь, встретив неожиданно в безлюдном месте человека, и невольно отступил назад. Опомнившись, я хотел выйти из своего укрытия навстречу идущему и вдруг увидел, что это не кто иной, как Энди Хэккет. Я почувствовал неизъяснимую неловкость — конечно, из-за утреннего разговора с Линой — и снова встал за дерево.

Сейчас он пройдет мимо, решил я, и мне не придется с ним встречаться. А пока воспользуюсь случаем и повнимательнее его разгляжу, разгляжу новыми глазами, помня о том, что рассказала мне сегодня Лина о нем и об их беде.

Однако, к великому моему замешательству, парень остановился в нескольких шагах от моего убежища, поглядел на часы и прислонился к дереву, хотя мшистая его кора промокла насквозь. Я глянул вправо, влево, назад — кусты вокруг были слишком густые, сквозь них не продерешься. Снова выходить на дорогу? Тогда надо будет встретиться с ним, а этого-то мне меньше всего хотелось. Вдруг Лина, не дай бог, подумает, что я нарочно пришел в Беллинтерский лес, зная, что у нее здесь свидание? Я мучительно размышлял, как выбраться из этого идиотского положения, и тут снова хрустнул сучок под чьими-то ногами. Это шла Лина, и ее красная шляпка мелькала среди ветвей.

Не обнаружив своего присутствия с самого начала, я оказался в форменной ловушке. Одна надежда, что, встретившись, парочка куда-нибудь уйдет. И точно, моя надежда подтвердилась: Энди, услышав ее шаги, оторвал свое могучее плечо от дерева, которое стояло в столь опасной близости от меня, и пошел ей навстречу.

Но силы небесные, что произошло с Линой? Энди вскрикнул, ее увидев, да и сам я едва удержался от восклицания. На что она была похожа — чучело, настоящее чучело. Конечно, она вымокла до нитки, но это бы еще ладно, ее шляпка полиняла под дождем, и все лицо было в красных потеках, хотя сама-то она об этом и не догадывалась. Я уже сказал, что чуть было не выдал себя удивленным возгласом. Но в громком восклицании Энди было куда больше досады, чем удивления.

— Ты просто с ума сошла, Лина! — закричал он. — Зачем ты шла под таким дождем? Я бы все равно тебя ждал сколько надо, ты же знаешь!

Он, как и я, конечно, разглядел, что на Лине нет сухой нитки. Только что кончившийся дождь был не такой уж сильный, под ним она не могла так промокнуть. Свалились

она в реку, она, наверное, и то была бы суше. С нее буквально текло — как только она остановилась, на земле сейчас же образовалась лужа. Но лицо ее под полями мокрой, хоть отжмай, шляпки, в обрамлении жестких, как проволока, мокрых кудрявых волос, лицо ее — поверьте мне — сияло счастьем.

— Пустяки, Энди, я промокла давно! — засмеялась она, словно бы даже гордясь своим видом. Не обращая внимания на Энди, она сорвала с головы шляпку и принялась ее отряхивать. — Ой, Энди, что я тебе расскажу! — воскликнула она. — Может, и не стоило выходить из дому в такую погоду, но, знаешь, я решилась, и тут уж человеку все равно — дождь или не дождь. А скоро я так вымокла, что от этого маленького дождичка прятаться уже не стоило.

— Да где же ты была? — с недоумением спросил молодой человек.

Лина схватила его за руки, не замечая, что пачкает ему костюм краской от полинявшей шляпки, и посмотрела на него так, что я с болью в сердце понял — сильнее любить невозможно.

— Ах, Энди, я больше просто не могла. Не могла я больше ждать. Ведь, в конце-то концов, решать была должна я, правда? Ты не можешь отказаться ради меня от своей веры, я знаю, иначе ты бы уже давно отказался.

Почудилось мне или парень в самом деле испуганно отпрянул? Не знаю, потому что я во все глаза смотрел на сияющую Лину.

— О чем ты, Лина, я что-то не пойму, — сказал Энди настороженно, но Лина ничего не замечала.

— Как о чем, Энди, о нас с тобой. То есть обо мне и о моей вере. Я знаю, ты боялся: мои родные не простят мне, если я перейду в твою веру. Ну конечно, не простят. Но сегодня утром у меня открылись глаза, я поняла, что никого не надо слушать, только тебя. И вот я... — Она перевела дух, готовясь сделать столь важное признание. — И вот я пошла к священнику и все ему о нас с тобой рассказала. Честное слово! — с торжеством воскликнула она, потому что на лице у парня появилось выражение, которое она приняла за недоверие. — Все-все. И он сказал, — с гордостью добавила она, — что я поступила правильно. Завтра же вечером он начнет готовить меня. Он бы начал прямо сегодня, сразу, да уж очень я вымокла. — Она засмеялась. И хотя по щеке ее скатились одна за другой еще две крас-

ные капли, она удовлетворенно вздохнула. — Он сказал: видно, я всерьез хочу обратиться, раз пришла в такой ливень! Надеюсь, завтра дождя не будет, сказал он. — Она сунула руку за лиф облепившей ее мокрой кофточки и вытащила маленькую брошюрку на дешевой бумаге, которая насквозь промокла от дождя, как и вся Лилина одежда. — Вот что он мне дал! — воскликнула она. — Теперь-то ты мне веришь? Это катехизис. Сегодня я должна выучить первую главу, а завтра вечером он меня будет спрашивать.

Лилина, Лилина, как же ты не поняла взгляда своего возлюбленного, когда начала ему все рассказывать, как не слышала слов, которые он хотел тебе сказать, зачем показала ему свое убогое, раскисшее от дождя сокровище? Зато уж сейчас не понять выражения его красивого лица было просто невозможно — его исказила ярость.

— Дура! — закричал он. — Сделала такую глупость и не посоветовалась со мной! Говорил же я тебе: не будем спешить, все в конце концов уладится, ты что, забыла? — Мне, невольному свидетелю этой сцены, стало так тяжело и больно, что я отвел взгляд от Лилиного лица, но, к счастью, голос Энди смягчился. — Не гляди на меня так, Лилина, — сказал он. — И не плачь. Прошу тебя, не плачь. — Значит, она плакала, и ее слезы его огорчили — слава богу. — Ты сама знаешь, Лилина, я верно говорю. От тебя всего ждать можно, пора бы мне привыкнуть — вечно делаешь все без ума, а другие потом расхлебывай, но нельзя же только о себе думать, ведь я тоже человек. Что твои родные обо мне говорить будут, это тебе не пришло в голову? Неужто они поверят, что ты придумала это сама? Да ни в жизнь! Скажут, это я тебя заставил, я во всем виноват. Эх, Лилина, и как это тебя огорзило?

При мысли, что поступки Лилины так расходятся с ее желаниями, остатки гнева сменились в нем жалостью к себе.

— Зачем ты все испортила, Лилина, — сказал он. — Как я теперь погляжу в глаза твоим родным? Как приду к ним в дом? Что они станут обо мне думать — ведь они столько раз говорили, что ненавидят двуличие!

Энди был так жалок в своем огорчении, что мой вспыхнувший против него гнев — и мое презрение — почти улетучились, и я стал думать, что ведь он один как перст, да еще чужой в этих краях, ему, конечно, очень хочется войти в большую, дружную семью, пусть даже столь простую

и бедную, как Лилина. Наверное, я правильно угадал его мысли. Решив, что из-за Лилиного безрассудства он не сможет занять в этой семье подобающего мужчине места, а то и вообще породниться с ней, Энди снова забыл о Лилином горе, прижался лицом к мокрому дереву и заплакал — да, да, заплакал.

Вряд ли его слова дошли до Лины, а вот слезы ее мгновенно прорвали.

— Энди, милый, почему же мне было знать. Я-то думала, ты не хочешь спешить из-за меня. Я ведь думала... я думала...

Но то, что она думала, слишком уж расходилось с тем, что произошло, и бедняжка просто не могла высказать свои мысли вслух. Однако, едва Лина оправилась от первого потрясения, она со свойственной ей страстностью снова схватила его за руки.

— Я сейчас же пойду к священнику, — воскликнула она, мгновенно забыв о себе в новом порыве сострадания. — Пойду и скажу, что передумала. Он меня не осудит. Он старенький и очень хороший. Говорил, в таких делах спешить не следует, просто я-то уже решила, он это видел. — Лицо ее с каждым словом светлело. — Энди, родной, не смотри на меня так! Все будет хорошо.

Но успокоить Энди было не так-то легко. Глаза его все еще бегали от страха.

— Думаешь, это так просто! — безнадежно сказал он. — Ты назвала священнику мое имя?

Лина замаялась, сокрушенно вздохнула.

— Пришлось, Энди.

— Ну вот видишь, видишь! Если он узнает, что ты из-за меня отказываешься менять веру, мне несдобровать, это уж точно. Эх, Лина, Лина, ну зачем ты все затеяла? Теперь вон хочешь пойти и отказаться — поздно, сказанного не воротишь, сделанного не исправишь.

— Да ведь никто ничего не знает, Энди, только священник, а уж он никому не расскажет! — воскликнула Лина. Вряд ли она знала о тайне исповеди, просто она судила по лицу старенького священника. — Ни одной душе, я уверена!

— Он-то, может, и не расскажет, — без всякой убежденности сказал Энди. — А вдруг кто-нибудь видел, как ты входила в церковь, почему ты знаешь? Народ-то у нас дошлый, живо сообразят, что к чему.

На лице Лины тоже мелькнул испуг, но она тут же улыбнулась.

— Да нет, никто меня не видел, Энди, не волнуйся. На улице никого не было, я нарочно проверила, потом взбежала по лестнице и громко постучала, чтобы скорее впустили. Нет, Энди, меня никто не видел. А хоть бы и видел, какая разница — ведь все равно никто меня там не знает.

— Там? Где это — там?

— Ты что, подумал, я была у священника в нашей церкви? Господь с тобой, Энди! Нет, я пошла в Кентстаун, там меня никто не знает. Потому-то я так и вымокла.

Лицо Энди мгновенно преобразилось.

— Что же ты мне сразу не сказала?! — воскликнул он. — Тогда, конечно, другое дело. Тамошний священник тебя не знает. Он уже, наверное, и имя твое забыл, а мое и подавно. Ты говоришь, он старенький, стало быть, вряд ли придет сюда разыскивать нас. Уж чего-чего, а вмешиваться в дела чужого прихода священники не любят. — Энди оживился, от его уныния не осталось и следа, но вдруг он снова нахмурился. — Почему он не посоветовал тебе обратиться к священнику в своем собственном приходе? Странно.

Лина тоже задумалась, но лишь на минуту.

— Да ведь у меня тут священника нет! — радостно вскричала она. — Я ведь еще протестантка.

— Ага, понятно. Ну и хорошо. Отлично. Он никогда не узнает, кто ты. А ты держись от него подальше, вот и все.

— Но как же, я ведь не хочу...

Энди сурово посмотрел на нее.

— Хочу, не хочу — тебе только это и важно. Нет, Лина, хватит, пора считаться и со мной. А то делаешь все, что взбредет в голову, и вон сколько дров наломала. Теперь уж слушайся меня. Или тебе все равно, что я говорю?

— Энди, Энди, ну как ты так можешь? Ведь я пошла только потому... ты же знаешь...

Глаза ее снова наполнились слезами, но сейчас она плакала не так, как раньше, когда он набросился на нее с упреками: это были слезы нежности и умиления, слезы преданной, верной, беззаветной любви. Больше ей не надо было ничего говорить.

— Ну ладно, ладно, не плачь,— проворчал Энди и с грубоватой лаской обнял Лину. Одновременно он поглядел на небо, которое уже совсем расчистилось и ярко синело над головой.— Распогодилось-то как хорошо,— сказал он.— Пошли, и так уж вон сколько времени потеряли.— Он крепче прижал ее к себе, и на лице его появилось совершенно новое выражение.— Куда бы нам пойти? — спросил он и, не дожидаясь ответа, повернул в сторону густых кустов, где можно было укрыться уютно и надежно, как в шалаше. Дышал он тяжело, и в первый раз его глаза и лицо зажглись чем-то похожим на страстное оживление, которым всегда была полна Лина.— Давай поглядим, что там,— сказал он,— а то мы никогда дальше этого дерева не ходили.

Он схватил ее за руку и потащил к зарослям. Но, раздвигая их, вдруг увидел дешевенький катехизис, который Лина все еще прижимала к груди.

— А вот эта штука нам ни к чему,— сказал он, взял книжицу, порвал ее на части и бросил клочки на землю, хотел было их затоптать, но вдруг остановился и спросил: — На ней ведь твоего имени не было, нет? — и стал втаптывать их каблуками в грязь.

— Ну пошли,— сказал он наконец.— Ты чего?

— Ничего,— запинаясь, прошептала Лина.

— Знаю я, что ты думаешь,— сказал Энди.— Только зря ты, Лина, боишься. Мы поженимся, дай срок, обязательно поженимся, только надо действовать с умом.— Он игриво подтолкнул ее в бок.— Пошли. Уж мне-то можешь верить, Лина, я тебя не обману. Все в конце концов уладится, даю тебе слово.— Он склонился к самому ее лицу и зашептал хриплым, срывающимся шепотом: — Зачем лезть напролом? Не будем восстанавливать против меня твоих родных. Пусть все идет своим чередом; может, вскорости они сами захотят, чтобы мы поженились, может, сами пойдут на уступки.

Его рука так неистово стиснула ее талию, что теперь я уже не мог бы сказать, он ли ее ведет в чащу, или она идет с ним сама по доброй воле.

Наконец-то я был освобожден из плена, но у меня от напряжения затекли ноги, и я не сразу вышел из-за деревьев на полянку, где стояли влюбленные, а когда я гля-

нул на землю, я увидел втоптанные в глину клочки бумаги. Мне вспомнился букет васильков, который Тургенев нашел в траве, когда Акулина убежала. Он поднял его и унес с собой. Но я-то, конечно, не стал подбирать клочки разорванного катехизиса. И я никогда больше не видел Лину. На следующее утро, когда прислуга еще спала, я уехал. Ночной сторож подал мне чашку чая, я пошел пешком на станцию и долго ждал первого поезда. С тех пор прошло много лет, но я часто думаю о Лине, о том огне, который горел в ее сердце. Скоро ли жизнь этот огонь погасила? Этого мне никогда не узнать.

В сырой ли земле, на дне ли морском...

Конечно, это был утопленник. Была ночь, и море в чешуе волн плясало между их черной лодкой и тем, что виднелось вдали, на поверхности, но все равно они знали, что это утопленник.

— Я сразу понял: человек кричит,— сказал высокий рыбак другому, с которым они вышли с вечера ловить макрель. Высокого звали Тад Муэр, и он был отец рыбака, что сидел с ним рядом и был чуть ниже ростом, темнее волосами, шире в плечах и звался Тад Ог, потому что был Таду Муэру сыном. «Муэр» означает «мужчина, взрослый», а «Ог» означает «сын», «дитя». Но «Муэр» к тому же может значить «огромный», а «Ог» — «чуть меньше огромного».

— Я сразу понял: человек кричит,— еще раз сказал Тад Муэр.

— Я как раз вторую сеть вытаскивал и сразу понял: там лодка,— сказал Тад Ог.

— А сказал я: «Чайка кричит в темноте», помнишь?

— А я про лодку сказал: «Гляди, как высоко ветер поднял черную волну», помнишь?

— А на самом-то деле кричал человек.

— И не волна это вовсе была, а лодка.

— И вот теперь там плавает утопленник.

— А где же сейчас черная лодка? — спросил Тад Ог.

— Где черная лодка? Видать, перевернулась,— сказал Тад Муэр,— перевернулась и ушла в зеленую воду, на дно.

— А как ты думаешь, чья это была лодка? — спросил Тад Ог, с силой налегая на весло.

— Думаю, это была лодка Имона Бида,— ответил Тад Муэр, разрезая веслом острые гребни пенных пляшущих волн. Рыбаки взмах за взмахом приближались к тяжело-

му, безвольному телу, которое весело кидали и подбрасывали неутомимые зеленые волны.

— Имон Бид Мюрнен! — сказал Тад Муэр и поднял над водой весло, с которого хлынул серебряный поток капель.

— Имон Бид Мюрнен! — как эхо повторил Тад Ог и поднял над водой свое желтое весло, с которого не упало в море ни единой капли.

Ох, как трудно было втаскивать его в лодку через крутой, выгнутый борт. Плещущие волны били и били его о лодку, одежда намокла и тянула его вниз, ее грубую, толстую ткань было никак не ухватить, желтые волосы выскальзывали из пальцев, будто шелковые нити. Но наконец-то они его втащили — в черный час ночи, которую освещал лишь бледный свет дробящихся волн, — и положили на дно, в блестящую грудку макрели, и закрыли сверху сетями. И все равно сквозь сложенные сети блеснула рыба чешуя и прямо на них, в упор, глядели блестящие глаза Имона Бида. От живого блеска мертвых глаз Таду Муэру сделалось жутко, и он повернул труп Имона Бида лицом вниз, в грудку серебряной макрели. Долго Тад Муэр и Тад Ог смотрели на мертвого в черной одежде и с желтыми волосами, лежащего в их лодке, точно в гробу, на серебряной, тускло переливающейся подстилке из рыбы, потом опустили весла в кипящую воду и поплыли к острову.

— Как ты узнал, что это Имон Бид Мюрнен, а не кто-то другой? — спросил Тада Муэра Тад Ог. — Ведь когда ты назвал его имя, между нами было сорок пляшущих волн, может, и больше.

— Я скажу тебе, как я узнал, — ответил Тад Муэр. — Когда море забирает себе кого-то из нас, перебери в уме всех и реши, о ком будут больше всех горевать, и того-то, о ком будут больше всех горевать, волны выбросят в конце концов на камни.

— Да, об Имоне Биде горевать будут долго, — сказал Тад Ог.

— Его будут долго оплакивать.

— Его никогда не забудут.

— Долго и горячо будут молиться за упокой его души.

— Много, много вечеров его жена будет в забывчивости ставить ему на стол ужин, — сказал Тад Ог.

— Умнейший из всех и храбрейший! Эти слова произнесут над его могилой — умнейший из всех и храбрейший.

Лодка взбиралась на гребни волн, падала в глубокие провалы между ними, и гребень за гребнем разрезали весла в руках Тада Муэра и Тада Ога.

— Почему зеленое море крадет всегда умнейших из нас и храбрейших? — спросил Тада Муэра Тад Ог.

— А почему оно крадет единственных сыновей? — отозвался вопросом Тад Муэр.

— Почему оно крадет сыновей вдов?

— И отнимает мужей у женщин, с которыми они не прожили и года? У молодой жены, которой мы его ведем... — Тад Муэр указал глазами на труп в серебрищейся макрели, — будет сегодня ночь черного горя.

— И сегодня, и завтра, и все ночи до самой последней ночи в ее жизни, — сказал Тад Ог, потому что был молод и понимал, что такое любовь и горе.

— Счастье, что его не утянуло под воду, на дно, в зыбучие водоросли. Молодой жене, которая не прожила с ним и года, от этого будет легче ночами, — сказал Тад Муэр.

— Да, море редко кого отдает обратно, — сказал Тад Ог.

— Мартина Муэра море не отдало, — сказал Тад Муэр.

— Не отдало Мириса Фаде.

— И Лоркена Ога не отдало.

— И Руэри Дува.

— Француза в кожаной куртке нашли на двадцать вторую ночь, а искали его целых пять лодок.

— Мелхоглина О'Дали нашли через сорок девять дней, а когда нашли, глаз у него давно уже не было, их выклевали бакланы и чайки.

— И вымыли волны. Уж чего-чего, а это волны умеют — вымыть глаза, — сказал Тад Муэр.

— Хорошо, что мы его нашли, — сказал Тад Ог. — И глаза у него целы, блестят, как у живого.

— Будто он на небо глядит и радуется.

— И вот-вот улыбнется.

— Да, когда он улыбался, все улыбались, — сказал Тад Муэр, — а он почти всегда улыбался.

— И когда он смеялся, всем хотелось смеяться, — сказал Тад Ог. — И смеялся он почти всегда.

— Нет, он не всегда смеялся, — сказал Тад Муэр.

— Что ж, порой и у самых веселых смех пропадает, — сказал Тад Ог.

— Вот и ему порой бывало не до смеха. Отплывает он в своей черной лодке в море, глядит на женщину с боль-

шой земли, а она стоит на берегу, и волосы ее летят по ветру. Вот тогда-то на его лице не то что смеха не было — улыбки.

— Рыбак с острова должен брать в жены дочь рыбака,— сказал Тад Ог.

— Женщина с большой земли должна выходить замуж за мужчину с большой земли.

— Женщина с большой земли, которая вышла замуж за Имона Бида, больше всего на свете боялась моря и ненавидела, когда лодки отходят от берега.

— Бывало, уйдет он в море на своей пустой черной лодке, а она его проводит, да так и простоят у воды, пока он не возвратится с уловом — лодка до краев полна рыбы, вся как живое серебро.

— Нелегко ему было каждый вечер с ней расставаться.

— А уж если небо горело огнем и собирался шторм, расставаться с ней ему было и вовсе не вмоготу.

— Нельзя рыбаку с острова так любить женщину с большой земли.

— Его приворожили к ней любовные речи и любовные взгляды,— сказал Тад Муэр.

— Женщины с острова тоже умеют вести любовные речи и дарить любовные взгляды,— ответил Тад Ог.

— Нет, вести такие речи, как она, и так глядеть, как она глядит, они не умеют,— сказал Тад Муэр.— Сколько раз я видел, как она подойдет босая к воде и трогает волны руками, вроде бы гладит их и ласкает и просит, чтобы они его ей вернули. Сколько раз он мне говорил: «Она больше всего на свете боится, что я утону и буду лежать на дне в зыбучих водорослях». — «На островах умирают, но ведь и на большой земле умирает не меньше,— отвечал ему я,— скажи это ей», — отвечал я. «Говорил, много раз говорил», — отвечал он. «Но тех, кто умер на большой земле, хоронят в могиле,— возражала она.— Их опускают в землю, которую освятил священник, и гроб засыпают родные». — «Скажи ей: на дне, под водой, человека не будут есть черви», — говорил ему я. «Говорил,— отвечал он,— много раз говорил». — «И что на это отвечает она?» — спрашивал я. «Она на это отвечает: прах жаждет встречи с прахом». — «А что же это значит?» — спрашивал я. «Что это значит? Она объяснила мне, что это значит. Она говорит: когда двое ложатся в одну могилу, горя нет. Земля соединяет так же прочно, как любовь, говорит она, а море ни-

кого не соединяет. Море разлучает. В море можно хоронить сыновей, говорит она, и братьев, но любовники должны ложиться в землю, говорит она, и мужа тоже. Там они хранят верность и в смерти под ревниво берегущей их землей».

— Да, удивительные слова умеет говорить эта женщина, — сказал Тад Ог.

— Таких слов она ему говорила много, — сказал Тад Муэр, — когда сидела на свае мола и зашивала сети, а он солил рыбу или чинил свои весла.

— Она будет рада, что мы отняли его у зеленого моря. Это великое чудо, ведь он уже был под водой, в зыбучих водорослях, и все-таки всплыл, и мы его нашли.

— Там, где эта женщина, всегда происходит чудо, — сказал Тад Муэр. — Настоящей женщине дана великая сила. Ей дана власть над морем. Бывало, стоит она высоко на обрыве, волосы ее летят по ветру, мою черную лодку так и заливают злая белая пена, а погляжу назад, в море, где Имон рыбачит, и, поверишь ли — хоть бы одна волна плеснула ему за борт.

— Да, бывают такие женщины, я слышал. Она принимала гнев моря в свое сердце и обращала его в холодную белую соль.

Они вели разговор о женщине с большой земли, которой была дана власть над морем, неспешно, медленно, надолго умолкая, как только и можно вести разговор, когда вспененные валы под тобой тяжко наползают друг на друга в нескончаемой чередѣ и несут лодку с ее страшным грузом к берегу.

Порой злобный пенный язык взлетал в темноте над бортом и падал на лежащее под сетью тело. Тогда Тад Ог хватал край рваной сети и хлестал им по воде.

— Уймись ты, ненасытная тварь, — говорил он, — не тронь хоть мертвого, дай высохнуть его одежде.

— Не говори ему обидных слов, Тад Ог, — остерегал его Тад Муэр. — Нам еще мыс обогнуть надо. Не говори ему обидных слов.

— Он никогда не говорил ему обидных слов, и что же — пощадило его море? — отвечал Тад Ог. — Когда оно ревело, он пел ему песни, а теперь вон гляди — лежит у нас в лодке мертвый!

И они глядели на Имона Бида, который лежал в их лодке, точно в гробу, под сложенными в несколько раз

сетями, на серебряной, тускло переливающейся подстилке из рыбы, лицом вниз. И пока они так глядели, из моря снова взметнулся острый хищный язык и лизнул труп. Тад Ог стегнул воду концом рваной сети.

— Побереги силы, Тад Ог, они тебе пригодятся, когда ты будешь стучать в ее дверь, — сказал Тад Муэр. И Тад Ог понял, что это ему придется нести весть о смерти молодой жене Имона Бида, такой непохожей на жен всех других рыбаков острова, женщине, которая все дни ходила по кромке воды своими белыми босыми ногами, а все вечера и ночи простаивала на берегу, и волосы ее летели по ветру.

— А вдруг она будет стоять на берегу, как ты думаешь? — с тайной надеждой спросил он, указывая головой туда, где в темноте слабо светилась полоса прибоя.

— Разве сейчас шторм? — спросил Тад Муэр. — Разве ветер силен? Или льет дождь? Или еще чем-нибудь страшно море?

— Нет, — ответил Тад Ог, — сейчас нет ни шторма, ни ветра, ни ливня.

— Сказать тебе, почему ты спросил: «А вдруг она будет стоять на берегу?» — сказал Тад Муэр. — Ты просто хочешь, чтобы она там стояла, вот почему и спросил.

— Разве легко принести весть о смерти жене, которая не прожила с мужем и года и больше всего на свете боится моря, — ответил Тад Ог.

— Ты принесешь жене, которая не прожила с мужем и года, добрую весть: ведь ты скажешь ей, что море отдало обратно ее мужа и он ляжет в освященную священником землю, как все, кто живет на большой земле, и могилу его засыплют родные.

— Странно — он утонул в такую тихую ночь, ведь и ветра-то почти нет, — сказал Тад Ог.

— В тихую ночь женщины ложатся спать, а если власть над морем дана женщине, лишь когда она ступает по воде своими белыми босыми ногами, когда ее черные волосы летят по ветру и в сердце ее горит огонь, то море только ждет, чтобы душа этой женщины ненадолго покинула ее тело — ну хотя бы отправилась погостить к себе домой, на большую землю, — и вот тогда-то морской царь медленно повернется в своей глубине и ударит чешуйчатым хвостом. А ты и ждать не ждешь ничего плохого, можешь, выпустил из рук весла и встал в лодке во весь рост,

и вдруг тебя вместе с лодкой рвануло на дно, ты, может, и крикнуть не успел. А женщина, которая спасла бы тебя своими молитвами и своей любовью, в это время сладко спит в своей пуховой постели, и, лишь когда соседи громко постучат ей в дверь, она узнает о том, что случилось.

Тад Ог постучал по краю лодки костяшками пальцев.

— Нет, не годится, стучи громче,— сказал Тад Муэр.

Тад Ог постучал по краю лодки еще раз, сильнее и громче.

— Ты что же, не знаешь, как надо стучать в дверь глухой ночью, когда все в доме крепко спят, а на берегу лежит утопленник и его засыпает песок, а рыба чешуя присохла к его коже так крепко, что женщины, которые будут обмывать тело, сломают себе ногти, стараясь ее отдрать? Неужто в твоих руках так мало силы? — И Тад Муэр сам постучал кулаком по мокрому сиденью.

— Вот как должен стучать в дверь мужчина, неважно — днем он стучит или ночью,— сказал он и постучал еще громче, хотя, кажется, и невозможно было стучать громче, чем он стучал в первый раз.

Тад Ог помолчал, потом сказал, глядя не на Тада Муэра, а на свое весло, которым он вспарывал воду:

— Если будут стучать двое, получится еще громче.

— Один из нас должен остаться с мертвым,— ответил Тад Муэр.

Тад Ог занес весло далеко назад и выдохнул воздух из груди, пристально вглядываясь в приближающийся берег.

— Что же я скажу ей, когда она выйдет на мой стук?

— Когда она выйдет на твой стук, отступи немного от двери — пусть она увидит, что на твоей одежде блестит вода, и услышит, что от нее пахнет морем,— и громко скажи, что поднялся ветер и море штормит.

— Если я так скажу ей, она сейчас же побежит на берег.

— Тогда скажи ей,— ответил Тад Муэр, слегка притабивая веслом, чтобы замедлить ход лодки,— тогда скажи ей, что, говорят, за мысом утонула лодка.

— Если я так скажу ей, она ничего больше и слушать не станет и быстрее ветра побежит по холодной гальке своими белыми босыми ногами, и ее волосы будут лететь по ветру.

— Ну что же, коли так,— сказал Тад Муэр,— тогда ты смело встанешь у двери и крикнешь в ночь: «Умнейшие из всех и храбрейшие!»

— И что она на это ответит?

— Она на это ответит: «Да защитит их господь!»

— А я что скажу ей в ответ?

— Ты скажешь: «Да упокоит господь их с миром!»

— А что скажет она?

— Она спросит: «В сырой земле или на дне, в зыбучих водорослях?»

— И что ей скажу я?

— Ты скажешь: «Господь упокоит Имона Бида в сырой земле, он ляжет в освященную могилу, и гроб его засыпят люди».

— И что мне скажет она?

— Она скажет: «Неси его в дом, ко мне, Тад Ог!»

— И что тогда скажу ей я?

— Это уже все равно, говори что хочешь, но говори громко, чтобы твой голос заполнил весь дом до самой крыши и она не слыхала, как по гальке несут тело ее мужа. А когда его положат на выскобленный добела стол, ты тоже будешь говорить очень громко, чтобы она не слыхала, как капает на пол вода с его одежды.

Они умолкли, и теперь тишину нарушал только плеск весел, рассекающих воду. Потом между ударами весел слышалось шуршание. Это шуршала прибрежная галька, которую тащили за собой откатывающиеся волны.

Еще несколько взмахов веслами, и лодка ткнулась в берег, они вылезли в распластывающиеся по камням волны и вытащили лодку повыше, так что ее киль ушел глубоко в мокрую гальку.

— Помни, Тад Ог, стучать надо громко,— сказал Тад Муэр, и Тад Ог пошел в темноту, к дому женщины, которая не прожила с мужем и года, и было лишь слышно, как скрипит и осыпается под его ногами галька. Дом стоял в дюнах, и, когда он ступил в густую осоку, что покрывала дюны, шагов его на берегу стало не слышно. Но через несколько минут раздался громкий, мерный стук кулаком в деревянную дверь. Стучала сильная рука, и дерево было крепкое как камень. Тад Муэр сидел в лодке возле мертвого и вспоминал, сколько раз ему самому приходилось стучать в дом к женщинам, которым он прино-

сил весть о смерти их мужа или сына. Но жены-рыбачки — это дочери рыбацек-вдов. Они знают, что море дает им пищу и оно же несет смерть. Жизнь и смерть — это в конечном счете одно и то же. Море всегда наносит раны, и они не заживают. Море было всегда, еще до того, как появился человек, женщины острова это знают. Но что знает о море женщина с большой земли? Ничего. Разве знает она, зачем оно существует в мире с первого дня его сотворения? Нет, ничего она обо всем этом не знает. Не знает ничего, что помогло бы ей ночью, когда раздастся громкий стук в ее дверь. Тад Муэр все слушал и слушал громкие, будто молотом, удары в дверь юной жены Имона Бида, а Имон Бид лежал в его лодке, точно в гробу, на серебряной подстилке из рыбы, и лодка глубоко ушла своим килем в мелкую гальку. Холодная выдалась ночь. Было темно, но даже в том свете, что исходил от волн, разбивающихся белой пеной о черный берег, блестела чешуя макрели. Горько было глядеть на труп в черной одежде и с желтыми волосами, еще горше слушать шум моря, и все же Тад Муэр был рад, что он сейчас здесь, на берегу, а не в дюнах, и что не он стучит в дверь к женщине, которая нынешней ночью стала вдовой.

В деревянную дверь стучала рука человека, и несколько первых ударов успокоили Тада Муэра, но Тад Ог все стучал и стучал, и скоро удары в дверь, как и всякий звук, который звучит слишком долго, словно бы утратили связь с человеком и стали такой же частью природы, как шум волн, набегающих на берег. Тад Муэр приложил ладони ко рту и крикнул сыну, чтобы он возвращался к лодке. Тад Ог побежал обратно к берегу, и под его ногами заскрипела, зашуршала осыпающаяся галька.

— В доме, куда ты стучал, никого нет,— сказал Тад Муэр.

— Я стучал в дверь сильнее, чем ты стучал по сиденью лодки,— ответил Тад Ог.

— Я слышал, как ты стучал,— сказал Тад Муэр.— Ты стучал хорошо. Но когда ты пойдешь к соседям спросить, куда ушла из дому женщина, которая нынешней ночью стала вдовой, стучи еще громче.

— Меня не впустили в один дом, почему же ты думаешь, что впустят в другой? — спросил Тад Ог.— Когда-то ты сам говорил, и я слышал: любое дело должен делать тот, кто его делать умеет.

— А как ты научишься делать какое-то дело, если не будешь его делать, когда придет твой срок? — ответил Тад Муэр.

Тад Ог снова влез в лодку и сел в темноте рядом с отцом. Несколько волн плеснули в корму, и тогда Тад Ог приподнял сеть и ощупал одежду Имона Биды.

— Высыхает одежда, — сказал он.

— Если я пойду с тобой в дом Шане Брайд, кто же останется с мертвым? — спросил Тад Муэр, и Тад Ог понял, что Тад Муэр пойдет с ним, и ответил, не слишком заботясь о своих словах.

— Пусть с ним останется море, — сказал он, и, когда волна откатилась, увлекая за собой бессильно протестующие камешки, он перекинул ногу через борт лодки.

— Давай сначала перенесем его на берег, — сказал Тад Муэр. — Бери за ноги. — И он стал снимать сеть, складывая ее на весла, чтобы она не запуталась и не порвалась.

Они подняли Имона Биды и вышли из лодки, и потревоженная их ногами макрель тотчас же хлынула в углубление, которое оставило его тело. Они отнесли мертвого на длину лодки от расплывающихся по гальке волн и положили ногами к острову, но берег в этом месте круто поднимался вверх, и голова оказалась ниже ног, и тогда они перевернули его ногами к воде, к тугим заворачивающимся волнам, которые схлестывались в полосе прибоя, швыряя высоко вверх клочья пены. Одежда покойника была вся в медной и серебряной чешуе.

Тад Муэр шел впереди, по осыпающейся гальке, и Тад Ог ступал прямо в его следы, потому что шаги у отца и сына были одинаковые. Пока они шли вдоль берега, в ушах их звучал шум моря, но, когда они поднялись на дюны и за одежду их стала цепляться острая, жесткая трава, они уже слышали только дыхание друг друга.

Первый дом, что встал на их пути чернее ночи, и был тот самый дом, куда напрасно стучал Тад Ог. Тад Муэр остановился у двери, точно решая, не постучать ли и ему тоже, но, видно, раздумал и пошел за сыном к соседнему дому, где жила Шане Брайд, а уж она-то знала все, что происходит вокруг за три острова. Тад Муэр постучал в дверь Шане Брайд, и стук его был куда тише, чем эхо, которым отзывались на берегу удары Тада Ога в дом юной жены Имона Биды, но второй раз стучать ему не пришлось — за дверью сразу же раздались шаги.

В доме зажгли свечу, за окном метнулась тень, и в открывшейся двери появилось белое пятно лица.

— Сегодня вы ошиблись и пришли не в тот дом,— сказала Шане Брайд.— Всех мужчин, что жили в этом доме, море забрало двенадцать лет, два месяца и семнадцать дней тому назад.

— Да, покойника мы принесли не в этот дом, но мы все равно не ошиблись и пришли туда, куда надо,— ответил Тад Муэр.— Мы пришли в этот дом узнать о тех, кто живет за две дюны отсюда, потому что там на наш стук не открыли.

— Я долго стучал, сначала рукой, потом взял с земли камень и стучал камнем,— сказал Тад Ог, подходя к двери.

Женщина прикрыла рукой пляшущее пламя свечи и отступила назад, в темноту дома.

— Стало быть, вы привезли утонувшего женщине с большой земли, женщине, которая не прожила со своим мужем и года? — спросила она.

— Да, помоги нам, господь,— сказал Тад Муэр.

— Да, помоги нам, господь,— как эхо повторил Тад Ог.

— Умнейшего из всех и храбрейшего,— сказал Тад Муэр.

— И стало быть, на ваш стук никто не ответил,— сказала старуха, снова приближаясь к ним в пляшущем пламени свечи.

— Нет,— сказал Тад Ог,— никто. А стучал я громко, как только мог.

— Громче, чем море шумит,— сказал Тад Муэр.

— Видно, люди с большой земли спят очень крепко? — спросил Тад Ог.

— Люди с большой земли спят крепко в своем родном доме, среди полей,— ответила Шане Брайд,— но, если их увезти оттуда и поселить у моря, они даже во сне слышат шум шагов по камням. Почему на ваш стук никто не ответил? Странно, очень странно.

— Да, никто на наш стук не ответил,— сказали Тад Муэр и Тад Ог в один голос, будто одновременно ударили каждый своим веслом по воде, сидя рядом на сиденье лодки.

— Когда женщина с большой земли кладет голову на свою пуховую подушку,— сказала Шане Брайд,— подуш-

ка становится вроде как раковина, какие дети любят прикладывать к уху и слушать: в ней плачут скорбные голоса моря.

— Так ты, стало быть, думаешь, ее нет сейчас дома? — спросил Тад Муэр.

— Да, ее нет сейчас дома, — сказала старуха.

— А где же она? Гостит у родных на большой земле? — спросил Тад Ог, потому что он был молод и полон любопытства.

— Зайдите в кухню, — сказала старуха, — я спрошу Брид Ог. Может, она видела, как жена Имона Бида выходила нынче вечером из дому.

Она исчезла в комнате, что была за кухней, Тад Ог ступил в дом, но Тад Муэр остался стоять на крыльце, все так же глядя на берег.

— Если женщины с большой земли нет сегодня ночью дома, куда же мы отнесем Имона Бида? Вот он лежит сейчас на берегу с непокрытым лицом и глядит своими мертвыми глазами, и весь он в блестящей сине-зеленой чешуе, будто рыба, что плавает в море.

Тад Ог сделал еще один шаг от порога в кухню Шане Брайд.

— Послушай, что говорит Брид Ог, — прошептал он.

— Брид Ог, — слышался голос старухи, — скажи мне, Брид Ог, женщина с большой земли, что живет за две дюны от нас, выходила сегодня вечером из дому?

— Да, выходила, — сказала Брид Ог.

— Брид Ог говорит очень тихо днем, — сказал Тад Ог Таду Муэру, — но ночью, в темноте, она шепчет, как море летним утром.

— Слушай же, что она говорит, слушай, — сказал Тад Муэр и шагнул в кухню к Таду Огу.

— Может, она уехала к родным на большую землю? — спросила Шане Брайд.

— С того самого дня, как жена Имона Бида приплыла к нам на остров в своем голубом платье и с бусами на шее, — слышался голос Брид Ог, — она ни разу не побывала у своих родных на большой земле.

— Если она не у родных на большой земле, — сказала старуха, — то где же она?

— Там, куда она и ушла, где же ей еще быть? — слышался голос Брид Ог. — В море со своим молодым мужем, с которым она не прожила и года. — В каморке за

кухней, где спала Брид Ог, заскрипели ржавые пружины, и ее голос стал яснее и громче, будто она села на кровати и теперь глядела в окно на черное море в белых бурунах, которые, казалось, излучают свой собственный свет.— Она говорит, никогда так не будет, чтобы Имон Бид лег на дно, в зыбучие водоросли, а меня бы опустили в одиночную могилу на острове, в сырую землю, и придавили каменной плитой. Она говорит: муж и жена должны покоиться в одной могиле. Она говорит: каждую ночь мое сердце стораает дотла, и остается горсть белой, холодной соли. Она говорит: и нынешней ночью, и завтра, и каждую ночь, пока я жива, я буду плавать вместе с Имоном Бидом в его черной лодке по злему, кипящему морю. Она говорит: если он ляжет на дно, я лягу на дно рядом с ним, мои руки обовьют его крепче, чем водоросли, и навсегда свяжут нас вместе. Она говорит: женщины с острова покорились морю, а с ним надо бороться, его надо укрощать. Она говорит: если женщина лежит в сырой земле одна, а муж ее скитается по морскому дну, то женщина не найдет успокоения в земле, она для нее проклята. Она говорит: пусть в сырую землю ложатся женщины с большой земли. Она говорит: пусть в землю ложатся матери и сестры, пусть в землю ложатся девочки, которые умерли еще маленькими. Но женам, говорит она, назначена другая могила — морское дно. И потому сегодня ночью она уплыла в его черной лодке в море, как поплывет и завтра, и послезавтра, и все ночи, сколько их будет в его жизни! — сказала Брид Ог.

— Завтра ей уже не надо будет плыть, скажи это Брид Ог,— сказал Тад Муэр.

— Нет, пусть спит до утра. Успеет еще узнать,— ответил Тад Ог, стараясь заглянуть в комнату поверх дрожащего пламени свечи, с которой выходила от Брид Ог старуха.

— Вы слышали, что говорила Брид Ог,— сказала старуха.— Уж лучше б он там и остался.

— Таких слов у нас на острове еще никто не говорил,— сказал Тад Муэр.

— Когда искали Мартина Муэра, то по всему берегу жгли костры, чтобы лодки не сбились с пути.

— Но море его не вернуло,— сказал Тад Муэр.

— Пока искали Руэри Дува, ему успели соткать саван, а лодки так и вернулись ни с чем,— сказала старуха.

— Руэри Дува море не отдало.
— Не отдало Мартина Муэра.
— И Лоркена Ога.
— И Мириса Фаде.
— И всех моих четверых сыновей оно тоже не отдало,— сказала старуха.

— И отца Брид Ог,— сказал Тад Ог, глядя на закрытую дверь, где в темноте, за бегаящими тенями свечи, лежала Брид Ог.— Отца Брид Ог море так никогда и не отдало,— повторил он, забыв, что только что это сказал.— Сколько гробов из желтых, некрашенных досок стояли пустыми у церкви, сколько саванов из небеленого холста висело неделя за неделей на ржавеющих гвоздях, а тех, для кого гробы сколотили и сшили саваны, мы так и не нашли, и вот поди ж ты — нашли человека, которого вообще никогда не надо было находить.— Тад Ог приоткрыл дверь, и шум прибоя стал отчетливей и ближе.

— Вот как оно в жизни бывает,— сказал Тад Муэр.

— Да, только так и бывает,— сказала старуха.

— Море сильнее мужчин,— сказал Тад Муэр.

— Море сильнее женщин.

— Море сильнее женщин с большой земли,— сказал Тад Муэр и повернулся к двери.

— Море сильнее любовных речей,— сказал Тад Ог, выходя за ним в темноту. Было так темно, что он не видел окошка Брид Ог, но, застегивая куртку, он глядел туда, где, он знал, оно было.

Тад Муэр и Тад Ог пошли обратно к морю. Они шли, тяжело и прочно ступая по гальке, на которой распластывались тугие завитки волн. Вода поднялась высоко и закрыла почти весь волнолом.

Их лодка качалась на волнах, она не удержалась в гальке, куда глубоко зарылось ее днище. И тела Имона Бида, которое тускло блестело серебристой и медной рыбьей чешуей, на берегу не было. Его не было на черной земле острова, который сплошь покрывали могилы, могилы, могилы... Море его унесло и больше уже никогда не отдаст обратно.

— Мартина Муэра море не отдало,— в один голос сказали Тад Муэр и Тад Ог.

— Не отдало Мириса Фаде.

— И Лоркена Ога.

— И Руэри Дува.

— И всех четырех сыновей Шане Брайд.

— И отца Брид Ог.

Крепко держат на морском дне мужчин острова плети густых цепких водорослей — кудрявых морских папоротников, бледных морских нарциссов, гибких тростников. Но Имона Бида Мюрнена нежно обнимут в зеленой воде белые руки его юной жены, женщины с большой земли, которая ничего не знала о море и умела только любить.

Небольшое наследство

Как-то само собой разумелось, что мисс Тэйт оставит своей компаньонке мисс Блоджетт небольшое наследство. Прямо старушка никогда о своем намерении не говорила, но все были убеждены, что иначе и быть не может. А пока мисс Блоджетт, разумеется, получала прекрасное жалование, которое другая на ее месте стала бы откладывать чуть ли не целиком, ведь мисс Блоджетт жила на всем готовом, не только в достатке, но и в роскоши, ибо многочисленная родня беспрестанно дарила мисс Тэйт конфеты, фрукты, журналы, книги. Восемидесятилетняя мисс Тэйт могла лишь ценить внимание дарящих, а пользовалась дарами одна мисс Блоджетт. Старушка часто повторяла, что мисс Блоджетт у них почти член семьи. И именно так все к ней всегда и относились.

Семейство Тэйт считало себя в неоплатном долгу перед мисс Блоджетт за ее беспредельную преданность тете Аделине, как звали мисс Тэйт все ее родственники без исключения — и старые и молодые. Мисс Блоджетт появилась в маленьком respectable особняке на Клайд-роуд со своим плетеным баулом и жестяным сундучком двадцать семь лет назад, и семейство Тэйт просто не представляло себе, что бы тетушка Аделина без нее делала. Общее мнение семейства выразил как-то за обедом после очередного визита на Клайд-роуд старший из племянников мисс Тэйт — лорд Роберт:

— Какое счастье, что мисс Блоджетт всего шестьдесят лет, — сказал он. — Конечно, она переживет тетю Аделину.

В тот день на Клайд-роуд состоялось большое семейное сборище, а вечером некоторые из родственников обедали у лорда Роберта. Все согласились с хозяином, кроме

его двоюродной сестры Хонории Тэйт, она была адвокатом и потому сочла нужным заметить, что тогда вместо мисс Тэйт на руках у них останется мисс Блоджетт.

— Ничего подобного, — с досадой возразил лорд Роберт. — Тетя Аделина позаботится, чтобы после ее смерти мисс Блоджетт ни в чем не нуждалась.

— Как же она о ней позаботится? — спросила младшая дочь лорда Роберта, Люси Тэйт.

— Господь с тобой, Люси, душенька, — удивился ее отец. — Ведь тетя Аделина выделяет мисс Блоджетт в своем завещании довольно большую сумму, ты же прекрасно знаешь.

— Ах да, конечно! — Люси сконфузилась и покраснела. — Небольшое наследство — как я могла забыть. — Она сразу вспомнила, что в семье часто говорят о деньгах, которые должны достаться мисс Блоджетт, и прошептала: — Наша тетя Аделина такая добрая!

Конечно, мисс Тэйт была для Люси не тетя, а двоюродная бабушка, но, как и все внуки, она привыкла называть старушку тем именем, какое слышала от старших. Иначе как «тетя Аделина» никто в семье мисс Тэйт и не называл.

Иной раз удивительно было слышать такое обращение из уст совсем юных отпрысков семейства, но еще удивительнее было, когда ко всем членам семейства просто по имени обращалась мисс Блоджетт, хотя для нее-то, наверно, это было только естественно, потому что всех их она знала с колыбели, а многих даже нянчила — с такой же любовью, как мисс Тэйт, и, уж во всяком случае, с гораздо большим рвением. Казалось даже, она не замечает, что дети давно выросли, а некоторые и состарились. Лорд Роберт так и остался для нее навсегда Робби, ядовитая Хонория — «голубкой», и я ни разу не слышала, чтобы она назвала леди Элизабет Тэйт-Коньерс иначе чем Бесси.

Тэиты принадлежали к довольно старому, не слишком знатному, но богатому роду, который насчитывал девять поколений предков и издавна рождался с лучшими семействами страны. Подвой их генеалогического дерева был крепкий, жизнестойкий дичок, но благодаря удачным прививкам он часто давал замечательные плоды. Фамилия Тэйт постоянно напоминала о себе то знаменитой красавицей, то прославленным генералом, то поэтом. Когда по

воскресеньям к мисс Тэйт приезжали с визитом ее племянники и племянницы, родные, двоюродные, внучатые и правнучатые, в гостиной на Клайд-роуд собиралось блестящее общество, которым старая дама могла по справедливости гордиться.

И действительно — гордилась она им беспрдельно. Как, впрочем, и мисс Блоджетт, хотя опять-таки, когда компаньонка начинала подтрунивать над судьями и пэрами или выговаривала епископу за то, что у него на манжете пухательный табак, трудно было поверить, что когда-то она появилась в особняке мисс Тэйт в столь скромном качестве.

Напоминало об этом лишь одно — никто не называл мисс Блоджетт по имени. Эммой звала ее только мисс Тэйт, остальные деликатно этого избегали, не желая напоминать компаньонке о ее зависимом положении. К тому же им казалось, что так они подчеркивают разницу между ней и горничной мисс Тэйт, Хетти. Хетти служила в доме уже пятьдесят лет, конечно, ее тоже в семье очень ценили, но ведь служанка она служанка и есть.

В первый же день, как я поселилась по соседству с мисс Тэйт, я нашла в своем почтовом ящике две визитные карточки. Одна — ослепительно белая, бумага толстая, глянцевая, и на ней напечатано «Мисс Аделина Тэйт»; другая — столь же белая, но бумага чуть потоньше, чуть менее глянцевая, и старательно выведено чернилами от руки «Эмма Блоджетт».

Вечером в саду возле дома я увидела мисс Тэйт. Мисс Блоджетт я увидела лишь несколько дней спустя.

Признаться, сначала мне показалось, что я видела в тот вечер и ту и другую, потому что в саду возились две старушки, и обе были одеты почти одинаково. На обеих были длинные синие шелковые платья с туго обтягивающими лифами и широкой каймой шитья по подолу. Головы обеих венчали умирительно древние синие соломенные шляпы с огромными полями и букетами — вернее было бы сказать, клумбами — растрепанных шелковых роз темно-, ярко- и бледно-розового цвета, над которыми облаком вились пчелы, без сомнения принимая их за настоящие. Правда, одна из дам была на редкость элегантна, а другая казалась чуть ли не оборванкой, потому что платье ее было во многих местах залатано и заштопано, но все равно моя ошибка вполне простительна. О том, что госпожа

отдает свои старые платья горничной, я бы, конечно, могла и догадаться, но откуда же мне было знать, что любовь мисс Тэйт к животным, птицам, насекомым, включая слизней и улиток, поистине не ведает границ, и она ни за что на свете не позволила бы Хетти выйти в сад в своем белом чепце и переднике и распугать ее ненаглядных любимцев? Комнатные собачки, пестрые кошки, стаи прирученных голубей чувствовали себя в саду такими же хозяевами, как и дамы. В доме-то, конечно, я бы их не спутала. Там синее платье Хетти было надежно скрыто большим старомодным передником, и никто не принял бы горничную за компаньонку. Да, трудно представить себе двух женщин, столь мало похожих друг на друга во всех отношениях, как Хетти и Эмма Блджетт, а вот между Хетти и мисс Тэйт явно существовало сходство, хотя и только внешнее. Обе были миниатюрные и хрупкие и в то же время удивительно живые и проворные. К старости плоть на их лицах как бы иссохла, и стало особенно заметно, какие у них тонкие, благородные черты. Но конечно, более породистое лицо было у мисс Тэйт.

Какая жалость, что мисс Тэйт не вышла в свое время замуж и не продолжила труд девяти поколений, создавших в результате тщательного отбора и скрещивания это изящное, как северская статуэтка, существо. Но еще больше поражало другое — то, что голод и нищета за какие-нибудь два-три поколения тоже способны так рафинировать людскую породу, потому что в тонком, обтянутом кожей личике старушки Хетти было, несомненно, и благородство, и величие. И все же какая глупость, что я сначала приняла ее за мисс Блджетт! Когда несколько дней спустя я наконец увидела, как мисс Блджетт спускается по ступенькам в сад, я сразу поняла, что Хетти-то прислуга.

— Хетти! — позвала мисс Блджетт. — Я забыла в комнатах зонтик. Сбегайте, пожалуйста, принесите.

Хетти, которая в это время высаживала на клумбу какую-то рассаду, поднялась идти за зонтиком, и, когда мисс Блджетт проплыла мимо, она почтительно опустила глаза.

Теперь уж ошибиться было невозможно — это могла быть только мисс Блджетт. Она дошла до конца дорожки и погрозила мисс Тэйт пальцем. Это было очень забавно.

— Зачем вы так низко наклоняетесь? — закричала она. — Встаньте, вам же вредно. — Она пододвинула садовое кресло и послала Хетти, которая возвращалась из дома с зонтиком, в беседку принести ей скамеечку для ног. — Трава такая мокрая, — сказала она, грузно устроившись в кресле, и принялась наблюдать, как мисс Тэйт и Хетти сажают рассаду.

Эмма Блоджетт была крупная и ширококостная, с приветливым, добродушным лицом. До чего славная старушка, думал, глядя на нее, каждый, но, видать, недалекая, звезд с неба не хватает. Ей было всего лет шестьдесят, гораздо меньше, чем мисс Тэйт и даже чем Хетти, но те были куда деятельнее. Ее круглое лицо всегда пылало, прямые жесткие волосы упорно выбивались из большого седого узла. И вся она была большая, полная, с удивительно пышным для старой девы таких лет бюстом.

Мисс Блоджетт тоже всегда носила синее и, между прочим, тоже одевалась в стиле мисс Тэйт, но разница была огромная, я это заметила даже из окна своего кабинета, хотя определить, в чем она состоит, сразу не могла. Сначала я было решила, что дело в длине, потому что, хотя платья обеих дам были длиннее, чем предписывала мода, юбки мисс Блоджетт оказались чуть короче. Почему мисс Блоджетт бросала вызов моде, я не знаю, но ее убеждения были не столь непоколебимы, как у ее хозяйки; скорее всего, она просто подражала ей, потому что платье мисс Тэйт доставало чуть не до земли, а подол ее компаньонки опасливо повисал на дюйм-другой выше, открывая взгляду толстые, распухшие щиколотки ног, наверняка пораженных и еще какой-нибудь болезнью, потому что даже в жару на мисс Блоджетт были толстые синие шерстяные чулки. Какие чулки носила мисс Тэйт, неизвестно: ее-то стройных ножек никто никогда не видел. Однако вернемся к платьям мисс Блоджетт. Я уже говорила, что сначала мне показалось, будто они отличаются от платьев мисс Тэйт лишь длиной. Потом я решила, что уловила разницу в оттенках, а еще немного погодя стала думать, что просто они более ветхие. Но вскоре убедилась, что ни оттенок, ни длина, ни ветхость тут ни при чем, ведь платья Хетти, хоть ветхие, залатанные и выцветшие, были точной копией туалетов мисс Тэйт. Тайну синих платьев я разгадала лишь в свой первый визит к дамам, когда они пригласили меня на чашку чаю. Все оказалось проще про-

стого: платье мисс Блджетт не шуршало! Вы-то понимаете, что это значит. Оно было синее, оно было шелковое, почти такого же фасона, как у мисс Тэйт, но оно не шуршало. Иными словами, платье было сшито из другой материи. Шелк был не настоящий, не самого лучшего сорта. И конечно, мисс Блджетт совсем этого не понимала.

— Взгляните на мисс Тэйт,— сказала она мне как-то, когда мы выпили уже не одну чашку чая и в их особнячке, и у меня.— Вы только взгляните. Она платит за материю для своих платьев вдвое дороже, а материя-то в точности такая. Разве кто-нибудь отличит? А продавцы всегда навязывают ее мисс Тэйт. Знают, что у нее денег много. Ну уж мне-то ничего не навяжешь, я умею им дать отпор,— с торжеством заключила она и предложила мне еще пирога. Когда она подходила к столу, я услышала свистящий шелест искусственного шелка. И тут же раздалось слабое, нежное шуршание — по комнате шла мисс Тэйт. Едва мое ухо уловило этот легкий, будто вздох, звук, как в дальнем углу гостиной, где Хетти разливала чай, тоже что-то зашуршало, и если платье мисс Тэйт как бы вздыхало, то звук, исходивший из-под широкого, с оборками, передника Хетти, был эхом этого вздоха.

Я очень скоро подружилась со своими соседками, но еще до того, как мы подружились, я привыкла, что Хетти и мисс Тэйт всегда перед моими глазами в саду.

Сады вокруг особняков на Клайд-роуд были большие и уединенные, их отделяли друг от друга высокие каменные заборы, увитые цветущим очитком и красной валерианой. Но из окон верхнего этажа было видно, что там, за этими заборами, а сад соседок вообще лежал передо мной как на ладони. И если вы хотите знать, что это был за сад, то я признаюсь, что, раз заглянув в него, я уже никогда потом не глядела в другие. Все остальные сады в округе, в том числе и мой, были похожи как две капли воды: стриженный газон перед домом, несколько яблонь позади. Зато сад мисс Тэйт — нет, я в первый же день поняла, что надо устроить кабинет в какой-нибудь из комнат окнами на улицу, иначе о работе придется забыть. Такого удивительного сада я не видела в жизни.

Во-первых, здесь чуть ли не полновластно царили кошки, собаки, птицы, пчелы, бабочки, и всюду: на стриженном газоне возле дома, в зарослях травы, на выкрашенных зеленой краской чугунных скамейках и даже на специаль-

ных подставках — стояли плошки с водой самых разнообразных форм и размеров, маленькие и большие, мелкие и глубокие, чтобы любимцы хозяйки не страдали от жажды. И хотя газон окаймляли неширокой полоской клумбы, цветов на них было не слишком много, и все это были цветы с запахом, какими увлекались в дни молодости мисс Тэйт: розы, гелиотроп, лаванда, гвоздики. Росли там и совсем простенькие цветочки, я даже их названий не знаю, но потом мне дамы рассказали, что разводят их специально для бабочек и пчел. А под моими окнами стояли густейшие заросли кошачьей мяты — специально для кошек!

Однако газон с бордюром из цветов занимал лишь небольшую часть сада, остальная была засажена миниатюрными деревьями в цвету, и среди их ветвей неумолчно гремела музыка птичьего и пчелиного оркестра, причем партию виолончелей и контрабасов исполняли голуби и пчелы, а флейт и кларнетов — скворцы и дрозды. Эти цветущие деревья были вполне взрослые, наверно, даже старые, но, как и мисс Тэйт, остались даже в старости изящными и хрупкими, такая уж была у них порода. И по сравнению с громадными раскидистыми деревьями городского парка за нашими садами они казались тоненькими веточками, которые кто-то воткнул в землю и привязал к ним белые и розовые бумажные цветы.

Из моего окна сад мисс Тэйт казался таким же восхитительно ненастоящим, как крошечные японские садики, которые когда-то давно дети сооружали на плоских блюдах и которые приводили их в такой восторг, что они мечтали уменьшиться до кукольных размеров и гулять по их дорожкам.

Когда я глядела на мисс Тэйт и Хетти в саду, среди цветущих деревьев, мне самой часто хотелось забросить книги и идти к ним, в эту бело-розовую, роняющую лепестки благоуханную сень, откуда вырывались птичьи трели.

Но красивее всего сад мисс Тэйт был ночью. Его освещал яркий, призрачный свет луны, не проникая в глубь, которая оставалась холодной и таинственной, как глубина моря, но заливая своими лучами вершины миниатюрных деревьев и зажигая блики на глянцевых листьях, будто на гребешках волн. И по дымке этого лунного моря плыла сквозь ночь белая оранжерея с островерхой крышей, точно сказочный серебряный кораблик.

Да, если где-то на земле и обитало счастье, то, конечно же, в этом доме, в этом засыпанном лепестками саду. Но в первый же день, как я пришла сюда, я почувствовала, что и здесь не все ладно. Почувствовала какой-то гнет, едва заметную напряженность между мисс Тэйт и мисс Блджетт. Почему? Я не могла себе представить, ведь мало кто на свете делал друг для друга столько добра, как они. Мисс Тэйт давала мисс Блджетт кров — кров в своем красивом и уютном доме, платила ей жалованье, и какое щедрое жалованье, а мисс Блджетт была для нее идеальной компаньонкой. На ней держалось все хозяйство, она командовала Хетти, но это еще не все: поскольку у самой мисс Блджетт не было ни родных, ни друзей, она все свое свободное время посвящала той же мисс Тэйт, выполняя в городе ее самые разнообразные комиссии. Словом, мисс Тэйт делилась с мисс Блджетт всем, что имела, не делая никаких различий между ею и собой, а мисс Блджетт — что ж, мисс Блджетт могла отдать мисс Тэйт лишь свое время, свое внимание, свою преданность, зато уж и отдавала она их без остатка, целиком, ничего не оставляя себе.

И все-таки в отношениях между ними была какая-то напряженность. Я почувствовала ее нутром в первый же день, как пришла к дамам пить чай, хотя и смутно, и, уж конечно, понять причин не могла. А когда я стала у дам частой гостьей, то каждый визит, как бы легко и приятно он ни проходил, меня нет-нет да и кольнет ощущение, что в доме неблагополучно. Голубые глаза мисс Тэйт вдруг вспыхнут, и через гостиную пролетит крошечная молния. Сначала я ощущала лишь легкую вибрацию воздуха, но в один прекрасный день воочию увидела, как полыхнула эта самая молния — молния неодобрения. Увидеть-то я ее увидела, но мрака, в котором я пребывала, она так и не рассеяла. Я и теперь не поняла, чем вызван гнев мисс Тэйт. Позднее я восстановила в памяти весь разговор, который мы тогда вели, — более безобидной болтовни нельзя себе и представить. Насколько я могла судить, никто не произнес ни слова, которое могло хоть чуть-чуть кого-нибудь задеть. Что касается мисс Блджетт, которая помогала мисс Тэйт поднять спустившуюся петлю, она вообще лишь улыбалась и кивала и за все время произнесла одну-единственную фразу, я помню это совершенно точно. И тем не менее мисс Тэйт метнула свою молнию именно в нее.

В тот день у мисс Тэйт за чаем была всего одна из ее внучатых племянниц, старшая дочь Хонории, Марта, тихая, скромная девушка, пожалуй даже скучноватая. При Марте беседа всегда плохо клеилась. Сейчас старушки вязали и разговор вертелся вокруг вязания и пряжи. Вспоминать неинтересный разговор всегда трудно, но я постаралась припомнить его весь, слово за слово, надеясь понять, почему сверкнула эта маленькая молния.

Мы уже выпили чай, и Хетти убирала чашки.

— Какой приятный цвет, тетя Аделина, — сказала Марта, разглядывая нежно-розовую шерсть в руках мисс Тэйт.

— Ты эту шаль в прошлый раз видела, — сказала мисс Тэйт.

— В прошлый раз? Неужели, тетя Аделина? По-моему, в прошлый раз вы вязали из голубой.

— Я уже два года не вяжу ничего голубого, — отрезала мисс Тэйт. — А тогда я вязала шарф для твоего брата Эдварда.

— Что вы, тетя Аделина, я же была у вас позавчера, — возразила бедняжка Марта, — и вы вязали вовсе не шарф для Эдварда, вы вязали шаль для дочери Мириам.

Мисс Тэйт оторвала глаза от вязания, мисс Блуджетт тоже.

— Так это та же самая шаль, — в один голос проговорили дамы, а мисс Тэйт добавила, что трудится над ней уже месяца полтора, не меньше. — В жизни больше не возьмусь вязать шаль, — сказала она. — Надоело до смерти.

Марта взяла в руки уголок розовой шали и принялась рассматривать.

— Какой сложный узор, — сказала она, пытаясь скрыть замешательство. — У вас удивительное терпение, тетя Аделина.

Как раз в эту минуту — я отлично помню — мисс Тэйт упустила петлю, мисс Блуджетт стала помогать ей поднимать ее, и мисс Тэйт не слышала последних слов Марты.

— Марта, душенька, ты что-то сказала? — спросила она, когда они наконец поймали петлю.

— Я сказала, у вас удивительное терпение, тетя Аделина, — повторила девушка.

Но тетя Аделина опять не расслышала. Не потому, что она была глуха, нет, просто она очень боялась оглохнуть, и, если ей случалось что-то не разобрать — потому ли, что

в комнате было шумно, или человек говорил слишком тихо, или она просто не слушала, как, например, сейчас,— она ужасно расстраивалась, и тогда сказанное приходилось повторять несколько раз. В таких случаях мисс Блоджетт была незаменима, я в этом убедилась. Она спокойно и отчетливо повторяла обращенные к мисс Тэйт слова или поступала еще лучше — отвлекала внимание мисс Тэйт на что-то другое, и та забывала, что чего-то не расслышала. Но когда мисс Блоджетт пришла на помощь ей сейчас, я по своему невежеству решила, что за это-то мисс Тэйт и рассердилась на нее, потому что молния сверкнула, как только мисс Блоджетт произнесла свои слова.

— Марта сказала, у вас удивительное терпение, тетя Аделина,— сказала она добродушно. Протянула руку поправить подушку за спиной мисс Тэйт, и тут-то глаза старой дамы метнули молнию.

— Всем старикам терпения не занимать,— отрубилла она.— Но к Тэйтам оно раньше девяноста лет пока не приходило.

Бедная девушка вспыхнула. Но ведь молнию-то метнули не в нее, молнию метнули в мисс Блоджетт, я это видела. Я видела, что молния летела ей прямо в сердце, но почему-то промахнулась. Мисс Блоджетт сидела, все так же безмятежно улыбаясь, и покачивала головой в такт движению позвякивающих спиц мисс Тэйт. Возможно, молния ударила в большую брошь с камеей, которая вздымалась и опускалась на пышном бюсте мисс Блоджетт, и отскочила от нее, не знаю. Зато Марта очень огорчилась. Она была не так востра, чтобы разглядеть молнию, но и не настолько толстокожа, чтобы вообще ничего не заметить. Бедняжка подумала, что это она виновата, ляпнула что-нибудь не то, и вот... На глазах у нее показались слезы.

Лишь только мисс Тэйт увидела эти слезы, она сразу все поняла. Мне кажется, она бросила гневный взгляд на камею мисс Блоджетт, потом ласково улыбнулась Марте.

— Пойдем-ка в сад, Марта, душенька,— сказала она.— Дай я возьму тебя под руку. Хочу срезать для моей любимой внучки розу.— Старушка опять была сама доброта. Одарила она своей любезностью и меня.— Вы пойдете с нами? — обратилась она ко мне.— Вам я тоже срежу розу.— Но в дверях она остановилась.— Марта, как и все Тэйты, очень любит цветы,— сказала она. Потом кивнула

в сторону мисс Блоджетт, которая сейчас сидела к нам спиной.— А вот мисс Блоджетт к ним равнодушна. Мисс Блоджетт не отличит розы от цветной капусты.— И снова в комнате сверкнула молния.

Но мисс Блоджетт лишь улыбнулась. Она и на этот раз не почувствовала удара. Она повернулась к нам, но я успела заметить, что сзади ее платье застегнуто множеством маленьких перламутровых пуговиц, только издали не разглядела, все ли они целые или есть сломанные и поцарапанные. Думаю, впрочем, что были.

— Нет, отчего же, цветы я люблю,— сказала мисс Блоджетт добродушно.— Но уж очень много в саду противных тварей — пчелы, осы, муравьи, улитки. Куда приятней сидеть здесь, у окошка, и греться на солнышке.— И, кротко улыбнувшись, она снова принялась за свое вязанье.

Мисс Тэйт взяла под руку Марту и меня, и мы пошли по саду, весело болтая. Ей явно хотелось утешить огорченную девушку, и она изо всех сил старалась сгладить неприятное впечатление, срезала для нее самые красивые розы и все твердила мне: «Правда, они совсем как Марта?»

Она решила непременно подарить букет и мне, и, когда всовывала мне в руки красные розы, я поняла: милая старушка знает, что я видела молнию, и пытается отвлечь мое внимание. А когда я собралась уходить, она долго стояла со мной у маленькой зеленой калитки и рассказывала, как много сделала для нее мисс Блоджетт и как она ей благодарна.

— Она очень добрая, не то что мы, Тэйты. Все Тэйты до одного вредные.— Она с улыбкой посмотрела на меня, потом на Марту. Но тут нелегкая дернула девушку разозлить:

— Ой, тетя Аделина, как вам не стыдно! Это же просто клевета! — Бедняжка вызвала еще одну вспышку неудовольствия, ибо как раз в эту минуту на крыльце показалась мисс Блоджетт и, услышав слова Марты, спросила со своей широкой, благодушной улыбкой:

— Как, Марта, ты стыдишь тетю Аделину? Я не ослышалась? — И в тот же самый миг под ясным голубым небом, средь щебета птиц и гудения пчел, перелетающих с цветка на цветок, полыхнула третья, пронзительно яркая молния.

Господи, да что же все это значит? Я прижала подаренные розы к груди и, попрощавшись, ушла к себе в великом недоумении. Видела я молнию в глазах мисс Тэйт еще несколько раз, правда, лишь когда сама находилась в обществе дам. Обычно я сидела в своем кабинете у окна, поглядывала на мисс Тэйт и Хетти, которые возились в саду, и думала, какая же мисс Тэйт милая, приятная старушка. И даже когда мисс Блоджетт выходила из дому и они располагались под деревьями пить чай, я любовалась идиллической сценкой, полной мира, спокойствия, тишины. Дамы неспешно пили свой чай вдвоем, а иной раз мисс Тэйт подзывала Хетти, наливала чашку ей и требовала, чтобы она выпила ее тут же, стоя у стола, причем в руках у старой служанки в это время непременно оказывалась то болонка, которой она как раз расчесывала шерсть, то пук выполотых сорняков, которые она собиралась сжечь на заднем дворе, то что-нибудь еще. В такие минуты глаза мисс Тэйт не метали молний.

Но стоило оказаться за столом с дамами мне, и молния рано или поздно пронзала воздух, нацеленная прямо в сердце мисс Блоджетт.

Меня все это сильно интриговало. Сначала я было решила, что у мисс Тэйт есть глубокие причины недолюбливать Эмму Блоджетт. Но потом пустячный случай навел меня на совершенно иные размышления — может быть, мисс Тэйт просто-напросто слишком уж чувствительна, как принцесса на горошине?

Я не была у соседок несколько дней и в тот вечер решила зайти ненадолго. Когда я отворила калитку, они как раз собирались пить чай в саду. Хетти расставляла на столе прибор, а дамы устраивались возле на своих плетеных садовых креслах. Мисс Блоджетт взяла с колен мисс Тэйт огромный каталог, который они обе рассматривали, и бросила под стол на траву.

— Хетти, принесите еще одну чашку, — распорядилась мисс Блоджетт, а мисс Тэйт согнала с кресла одну из своих бесчисленных кошек и предложила мне занять ее место. Хетти принесла для меня чашку и пошла было к дому, но мисс Тэйт снова ее вернула.

— Хетти, пожалуйста, оденьтесь и сходите в больницу, узнайте, как сегодня сын мистера Робби, — сказала она.

— Как, ребенок в больнице? — воскликнула я. — Он заболел?

Сын лорда Роберта, которого тоже звали Робби, в честь отца, год назад женился, и все очень радовались рождению его первенца — внука лорда Роберта и еще одного из правнучатых племянников мисс Аделины Тэйт. Я огорчилась, узнав, что новорожденный болеет.

— Доктор говорит, ему не выжить, — объяснила мисс Тэйт в ответ на мои расспросы. — У него что-то с позвоночником. Он и родился очень хилым.

Мисс Блоджетт горестно вздохнула.

— Как ужасно, — сказала я и в смущении поднялась. — Вы, наверное, собирались в больницу, и я вам помешала? Я только на минуту заглянула. Я зайду к вам в другой раз.

Но дамы наперебой бросились уговаривать меня остаться. Мисс Блоджетт вскочила и стала снова усаживать меня в кресло, а мисс Тэйт все повторяла, что как раз собиралась послать ко мне Хетти с запиской, чтобы я скорее пришла.

— Нам прислали в подарок розовое желе, и мы не хотели есть его без вас, — говорила мисс Тэйт. — Садитесь! Садитесь же! — А мисс Блоджетт тем временем разлила чай и сняла крышку с вазочки, чтобы соблазнить меня ароматом желе.

Я осталась, но со стесненным сердцем ждала, когда же Хетти вернется. Ее что-то долго не было. Наконец я собралась уходить, решила выйти не через садовую калитку, а парадным входом и в холле столкнулась с Хетти.

— Ну что, ему лучше? — в нетерпении спросила я.

— Нет, — ответила она, — уже умер. Но все равно хорошо, что я туда ходила. — И она скользнула мимо, почти нетельно и в то же время не без досады. — Нужно сказать мисс Тэйт.

Я опешила. Надо задержать ее, вдруг она побежит в сад и выпалит старушкам печальную весть с порога?

— Хетти, Хетти, подождите! — закричала я. — Неужели вы хотите сказать им прямо так, сразу?

Хетти удивленно посмотрела на меня:

— Конечно, а что?

— По-моему, лучше немного подождать, подготовить их... — Я с трудом подбирала слова. Неужели Хетти совсем ничего не соображает? Неужели не понимает, что я ей хочу втолковать? — Скажите сначала, что ребенку стало хуже, потом, немного погодя, добавьте, что у врачей почти

нет надежды, а уж потом откройте правду, тогда это не будет для них таким ударом.

Хетти в недоумении смотрела на меня.

— А как же венок?

— Какой венок? — спросила я.

В глазах Хетти мелькнула досада.

— Мисс Тэйт будет заказывать его сразу. А ведь еще нужно выбрать, из каких цветов. И если ей не сказать заблаговременно, она ужасно рассердится. — Потом, сообразив, что я знакома с ними сравнительно недавно, старушка мне объяснила: — Когда в семье кто-нибудь умирает, мисс Тэйт непременно должна послать роскошный погребальный венок.

И Хетти устремилась прочь. Я стояла и в растерянности глядела ей вслед. Вот она сбежала по ступенькам в сад, засеменила по дорожке, и дамы так и встрепенулись ей навстречу. Хетти что-то им сказала — я замерла. Хоть Хетти меня и успокоила, я вдруг испугалась: нет, старушечкам может понадобиться моя помощь. Вернусь-ка я к ним, решила я, но тут увидела, что дамы в волнении вскочили с кресел, и в тихом, безветренном летнем воздухе до меня донесся возглас мисс Тэйт:

— Венок! Скорее! Где наш каталог? — Поспешно отодвинув столик, мисс Блджетт подняла со стриженной травы каталог — тот самый, который они рассматривали, когда я пришла. Это был каталог цветочного магазина, и даже издали я видела на его страницах фотографии венков, букетов, выложенных цветами крестов, иммортелей под стеклянными колпаками. — Дайте, — сказала мисс Тэйт, надевая очки и протягивая руку.

— Подождите, — отвечала мисс Блджетт, удерживая каталог. — Мы же выбрали очень красивый венок, вы разве забыли?

— Ах да, конечно, — с облегчением сказала мисс Тэйт.

Больше я слушать их разговор не стала. Теперь мне было ясно, почему Хетти так спешила к старушкам со своей новостью. От старости они уже давно утратили способность испытывать сильные чувства. Конечно, они все еще умели и радоваться, и огорчаться, но радовались они и огорчались, как дети, — по пустякам.

Я еще постояла немного, глядя на двух дам в их веселом, залитом солнцем саду, и вдруг решила, что, если и есть между ними вражда, вызвала ее какая-нибудь совер-

шенно не стоящая внимания мелочь. А раз так, то хватит мне о них думать, не буду больше забивать себе голову таким вздором.

Но осуществить мое благое намерение мне не удалось. Всякий раз, как я приходила к соседкам в гости, я ощущала в воздухе знакомое трепетание. Иногда гостиная была полна племянниками и племянницами, шел общий оживленный, доброжелательный разговор, но вдруг глаза мисс Тэйт вспыхивали, и из них вылетала молния. Что за чудеса? Я снова терялась в догадках. Например, обратится к мисс Тэйт кто-нибудь из внуков с другого конца гостиной, а она, занятая беседой с кем-нибудь другим, не слышит.

— Тетя Аделина! — позовет ее опять внучка, а мисс Блоджетт тут как тут — сейчас же придет на помощь.

— Тетя Аделина! Тетя Аделина! Вам Люси хочет что-то сказать.

Мисс Тэйт сейчас же поднимет голову — голос мисс Блоджетт она слышала всегда. И ни с того ни с сего пустит в нее свою молнию.

— Слышу, слышу! — огрызнется она. — Не такая уж у нее важная новость, надо думать. — И бросит смертоносный взгляд на мисс Блоджетт, потом подойдет к внучке, которая ее звала, — сама доброта и внимание, сядет рядышком и будет слушать ее, слушать.

Такие сцены повторялись очень часто. Но однажды, когда гостиную до отказа забили Тэйты, их жены, мужья, дети, женихи и невесты, сцена прошла с небольшой вариацией. Опять Люси обратилась к своей двоюродной бабке, и снова мисс Блоджетт сказала об этом мисс Тэйт. Мисс Тэйт сидела рядом со мной на кушетке, но тут она поднялась на ноги, и в глазах ее загорелась такая ярость, что я буквально задрожала. Сейчас она испепелит мисс Блоджетт! А ведь компаньонка всего только и сказала: «Тетя Аделина! Люси хочет вам что-то сказать». Потом мисс Тэйт повернулась к Люси и резко произнесла:

— Я сейчас занята. — Она указала ей головой на меня. — Я обещала нашей соседке показать семейные фотографии.

Я совсем растерялась. Ни о каких фотографиях у нас с мисс Тэйт и разговору не было. Люси, я видела, вся сжалась от обиды. Но мисс Тэйт была непреклонна. Она двинулась к камину, где на полке выстроилось штук тридцать

фотографий в серебряных филигранных рамках — пестрая коллекция матрон и юных девиц, младенцев и молодых людей, зрелых мужчин с густыми, окладистыми бородами и совсем безбородых, девчушек в платьицах с оборочками, мальчиков в матросских костюмчиках... было здесь бесчисленное множество невест в шелках и кружевах, пять-шесть офицеров в мундирах, лорд Роберт в своем парике, Люси в бальном платье, Хонория в мантии — впрочем, легче перечислить, кого из Тэйтов не было в этой внушительной портретной галерее на каминной полке, чем кто там был. Мисс Тэйт поманила меня к себе и взяла первую попавшуюся рамку.

— Это моя матушка, — сказала она и сунула фотографию мне в руки. Но я даже не успела взглянуть на матушку мисс Тэйт, потому что она тут же выхватила рамку и сунула мне в руки другую. — А это мой двоюродный дедушка, — сказала она. — Их двоюродный пра-пра-прадед. — Она вырвала двоюродного деда. — А это один из моих племянников. Его убили мячом, когда он играл в поло. — Она впихивала мне в руки одну серебряную рамку за другой и тут же их выхватывала, так что я никого не могла толком разглядеть. Сначала я пыталась поспеть за ней, лепетала: «Какая прелестная старушка», «Какой красивый офицер», «У него такое мужественное лицо»... — но рамки с такой молниеносной быстротой сменялись в моих руках, что я начала догадываться: она показывает мне фотографии неспроста.

Но вот наконец и последняя.

— Ну вот, — громко сказала она и обвела взглядом гостиную. — Вот и вся наша семья. Что вы о ней скажете?

— У всех удивительно породистые лица, — пробормотала я. Лица у Тэйтов и в самом деле были породистые, но мне, признаюсь, неловко было говорить это вслух.

— Но вы, наверное, заметили какую-нибудь особенность? — спросила мисс Тэйт. И я поняла, что она не моего ответа ждет, а жаждет высказаться сама. — Заметили, какое разительное между всеми нами сходство? — Она обернулась к каминной полке и снова взяла портрет двоюродного прадеда. — У всех Тэйтов орлиные носы. И в прошлых поколениях, и в нынешнем. — Я в смятении обвела взглядом гостиную. Вокруг было множество носов, и все они, хоть я не замечала этого раньше, были действительно орлиные. Но тут мисс Тэйт схватила еще одну рамку. —

Взгляните на нос двоюродного дедушки Сэмюела! — Мелькнул второй портрет, третий, четвертый. — Взгляните на этот нос! А теперь на этот! — И, поставив последний портрет на место так небрежно, что изображенный на нем молодой офицер в мундире упал на мраморную доску прямо своим орлиным носом, мисс Тэйт гордо вскинула свою небольшую головку. — Взгляните наконец на мой нос! — победоносно заключила она. И повторила еще громче, еще четче и яснее, потому что теперь ее слушала вся гостиная: — Да, у всех Тэйтов орлиные носы. И мужчины все, как один, высокие, а женщины миниатюрные. И еще... — Она перевела дух. — И еще у всех у нас красивые, стройные ноги... — Она быстро повернулась к Люси. — Люси, приподними-ка немножко юбку и покажи нам свои лодыжки. — Потом к Марте. — Взгляните на Мартини ножки! Марта, милая моя, как тебе не стыдно, зачем ты носишь такие темные чулки? Фи! Оставь их кривоногим и толстоногим. — И тут, к моему изумлению, ручка мисс Тэйт скользнула вниз и слегка приподняла подол ее синего шелкового платья. — В мое время, — сказала она, — никто вообще не знал, есть у нас ноги или нет, и все равно мне достались тэйтовские ноги. Ноги и нос — по ним вы безошибочно определите Тэйта!

С этими словами мисс Тэйт демонстративно повернулась в сторону мисс Блоджетт и посмотрела на нее, и я увидела, как видела уже много раз: в глазах ее вспыхнула ненависть. Куда же полетела молния, вы спросите? Разумеется, в мисс Блоджетт, которая сидела рядышком и безмятежно улыбалась гостям, но сейчас мисс Тэйт нацелила ее не в сердце компаньонки, а туда, где кончался подол платья из искусственного шелка и из-под него виднелись удобно скрещенные толстые ноги в синих шерстяных чулках.

И тут я все поняла.

По-моему, Люси тоже поняла, она была умница. Принужденно рассмеявшись, она сказала:

— Какая вы кокетка, тетя Аделина, вам точно восемнадцать лет.

А вот мисс Блоджетт не выразила ни малейшего замешательства. Наоборот, она весело расхохоталась.

— Вот так так! Вы слышали, что сказала Люси? — вскричала она, дотрагиваясь до мисс Тэйт концом спицы. — Оказывается, вы кокетка, тетя Аделина.

Тетя Аделина! Так вот она, разгадка. Эти два простых слова звучали во всех фразах, над которыми я тщетно ломала голову, пытаюсь понять, почему же мисс Тэйт так ненавидит мисс Блоджетт.

Тетя Аделина... Тетя Аделина? Мисс Тэйт охотно делилась с мисс Блоджетт всем, что имела, — всем, кроме своего родства. В жилах мисс Блоджетт не текло ни капли тэитовской крови, а без этой капли, без орлиного носа Тэитов, без их стройных ног она совершала вопиющую бестактность всякий раз, как называла мисс Тэйт домашним именем, которое имели право произносить лишь все эти Люси, Марты, Робби...

Меня кольнуло недоброе предчувствие. Я вспомнила все, что мне довелось слышать о небольшом наследстве. А вдруг мисс Тэйт лишит ее этого наследства? Вдруг вычеркнет ее из завещания?

Я просто похолодела. Господи, ведь мисс Блоджетт до такой степени привыкла считать себя членом тэитовского клана, что тратила почти все свое жалованье, которое так щедро платила ей мисс Тэйт, на шерстяную пряжу для бесчисленных чепчиков и шалей бесчисленной тэитовской детворе и на подарки, ленты и конфетти для бесчисленных тэитовских невест. А сколько у нее ушло на одни только венки для Тэитов-покойников, подумать страшно! Ну конечно, она не отложила на черный день ни гроша, и без этого маленького наследства, которое ей, как все надеялись, оставит мисс Тэйт, она просто пропадет.

Я так расстроилась, что вскоре ушла. И всю неделю меня преследовали тягостные мысли. Мне стало просто страшно ходить в гости к соседкам. Каждый раз, как мисс Блоджетт называла мисс Тэйт тетей Аделиной, я вздрагивала. Каждый раз, как она произносила эти слова, я чувствовала, что наследство отодвигается от нее все дальше и дальше.

И когда я в конце лета собралась, как всегда, уезжать и попрощалась с дамами, я вздохнула не без облегчения. Они вышли проводить меня на крыльцо и долго махали мне рукой. Им было жаль со мной расставаться, а на глаза мисс Блоджетт, которая стояла, держа мисс Тэйт под руку, даже навернулись слезы. Когда я спустилась по ступенькам, мисс Блоджетт крикнула мне вслед:

— Тетя Аделина будет о вас скучать, правда, тетя Аделина?

Это были ее последние слова, обращенные ко мне. Оглянуться я не посмела, мне было не выдержать полыхания молнии в глазах мисс Тэйт.

Когда я вернулась сюда весной, особняк мисс Тэйт был заколочен и висело объявление, что он продается. По краю карниза сиротливо лепилось несколько голубей. Две-три кошки воровато шныряли у ограды. Конечно, кошки эти были приبلудные, а не пестрые любимицы хозяйки, но, видно, они привыкли пользоваться гостеприимством этого дома и до сих пор не понимали, что привечать их здесь больше некому.

Мисс Тэйт умерла.

А след мисс Блоджетт затерялся.

Но вот неделю спустя после моего возвращения я отправилась в город и, желая сократить путь, пошла по одной из тех глухих, ветшающих улиц, что лежат между деловой частью города и богатыми жилыми кварталами, вроде Клайд-роуд, но еще не пришли в полное запустение. Красивые, некогда роскошные старинные особняки стояли сейчас обшарпанные, сиротливые, окна голые, без портьер, без веселых ящиков с цветами на подоконниках, затейливые дверные молотки из меди выкрашены масляной краской — так их не надо чистить. Улица, которую я выбрала, сохраняла более или менее презентабельный вид лишь потому, что несколько особняков были проданы под учреждения и гостиницы, а в остальных хозяева устроили меблированные комнаты со столом для приличных жильцов.

И как вы думаете, кого я увидела на крыльце самого убогого и запущенного из этих пансионов? Эмму Блоджетт!

Милая мисс Блоджетт, как же я ей обрадовалась! Я замахала рукой и бросилась к ней через улицу обнять ее. Но еще издали я с огорчением заметила, как сильно изменилась мисс Блоджетт за те несколько месяцев, что мы не виделись. Одета она была по-прежнему чисто и опрятно, но уже не выглядела так выхоленно и ухоженно, как выглядели прошлым летом все обитатели дома мисс Тэйт, начиная с нее самой и кончая ее гладкими кошками и раскормленными голубями. Глядя сейчас на нее, я вспомнила нахохлившихся, растерянных голубей, которые жались

друг к другу под крышей опустевшего дома на Клайд-роуд.

Конечно, я и виду не показала, что заметила перемену, но мне стало ужасно жаль бедняжку: ну вот, мои худшие опасения сбылись, мисс Тэйт ей ничего не оставила. Но как это непохоже на мисс Тэйт, вот уж не думала, что она способна нарушить слово при жизни или после смерти. Ведь считалось само собой разумеющимся, что она включит мисс Блоджетт в свое завещание, никому и в голову не приходило, что может быть иначе, как же случилось, что она ее обделила? Непонятно.

— Мисс Блоджетт, голубушка! — воскликнула я и стала говорить, как сочувствую ей в ее потере. Однако я понимала, что выражать ей соболезнование надо очень осторожно. — Итак, мисс Тэйт покинула свой сад? — сказала я, внимательно вглядываясь в ее лицо.

Но глаза Эммы Блоджетт сразу же налились слезами.

— Да, — воскликнула она, — бедная тетя Аделина! — И вытащила крошечный носовой платочек, который, увы, не блистал такой чистотой, как год назад, но, судя по тонким, дорогим кружевам, которыми он был обшит, я поняла, что это одно из множества маленьких сокровищ, которые скопились у мисс Блоджетт за годы жизни на Клайд-роуд. — Да, — повторила она и высморкалась. Горе ее было глубоко и искренне, усомниться в этом не мог бы никто.

Мне стало гораздо легче. Ну конечно, я была несправедлива к памяти мисс Тэйт. А мисс Блоджетт выглядит сейчас так неухоженно, потому что ей приходится ограничивать себя. Она живет сообразно своим средствам, а не как обладательница большого состояния. И разве ее бережливость не оправданна? Разве скромность не добродетель, когда ты беден? Если у тебя нет собственной крыши над головой и тебе приходится платить за каждый кусок хлеба, что ты ешь, можешь ли ты позволить себе расточительность? И разве все эти годы, когда речь заходила о наследстве, которое мисс Тэйт собиралась оставить своей компаньонке, разве все говорящие не делали особого упора на том, что наследство-то будет небольшое? И тут меня поразила неприятная мысль. Кто знает, как мало оказалось это наследство? Может быть, совсем ничтожная сумма, пустяк, о котором не стоит и говорить. Господи, а вдруг и того хуже, вдруг мисс Тэйт завещала ей вовсе не

деньги? Как часто люди, дожив до глубокой старости, больше всего дорожат какими-то своими вещами и, отделившись по совету адвоката или священника от безразличных им миллионов, долго размышляют, кого же осчастливить из имеющими ровно никакой цены безделками — кому, например, завещать прядь волос или старые часы, — потому что в последние грустные дни отречения от земных благ безделки эти значили для стариков куда больше, чем все их деньги. Им казалось, что в этих никому не интересных предметах воплотился сокровенный смысл их жизни, но, увы, стоят они не больше камня, что валяется на дороге, и так же, как камень, их нельзя продать.

Я быстро подняла глаза на мисс Блджетт, которая теперь горько рыдала, рассказывая мне о смерти мисс Тэйт.

— Я была с ней до самой последней минуты. Все время держала ее за руку. А она сжимала мою, так до конца и не выпустила.

Мисс Блджетт взяла мою руку и сжала, желая показать, как проходила эта трогательная сцена прощания, но тут ее мысли отвлеклись от смертного одра ее подруги, потому что мы обе увидели большую дыру на ее нитяной перчатке. Она быстро отдернула руку.

— Ах боже мой, дырка! — воскликнула она. — Наверное, зацепилась за что-нибудь.

Но прореха на пальце была явно давнишняя. Края ее обтрепались и говорили об этом красноречивее всяких слов. Мой взгляд точно магнитом притянуло к другой руке мисс Блджетт. На этой перчатке тоже была дыра, еще больше, чем первая, и сквозь нее виднелся поготь — отнюдь не идеально чистый, как можно было ожидать. Да что там идеально чистый, под ним просто чернела полоска грязи, свидетельствуя о том, что хозяйка пансиона великодушно позволяет своей жилище убирать комнату, в которой она живет, и чистить камин.

Я поспешно отвела взгляд. Но поди попробуй приказывать глазам! Как я ни боролась с собой, их неудержимо приковывала дырявая перчатка мисс Блджетт. И так же прикованно за моим взглядом следовали голубые глаза мисс Блджетт. Наконец я почувствовала, что надо сейчас же распрощаться и уйти или кто-то из нас должен высказаться откровенно. Нужно прогнать привидение, которое вызвала разорванная перчатка, иначе оно так и будет сто-

ять между нами, мешая нам говорить и сковывая тягостной неловкостью.

Прогнала это привидение мисс Блоджетт.

— Бедная мисс Тэйт, — вдруг сказала она и вытянула перед собой руки в дырявых перчатках. — Бедная, бедная мисс Тэйт. Хорошо, что она не видит, как я обносилась, она бы так страдала.

Что я могла ей ответить? Но тут я вспомнила, что у Эммы Блоджетт нет друзей и никому в целом мире нет дела до ее судьбы, так что, если я рискну сделать следующий шаг, она вряд ли заподозрит меня в пошлом любопытстве.

— Надеюсь, ее смерть не слишком повлияла на ваши обстоятельства, — сказала я и, почувствовав, что выразилась не слишком удачно, поспешила добавить: — Насколько я понимаю, мисс Тэйт хотела распорядиться, чтобы вы после ее смерти ни в чем не нуждались. Я говорю о небольшом наследстве, ведь она собиралась вам его оставить?

Я глядела в землю, мне было страшно поднять на нее глаза. Но мисс Блоджетт снова залилась слезами, и на сей раз это были слезы любви и благодарности, да, да, благодарности!

— Бедная тетя Аделина! — воскликнула она. — Небольшое наследство? Как это похоже на нее — не ценить порывы своего доброго, благородного сердца! — Она с укором посмотрела на меня. — У кого повернется язык назвать наследство в тысячу фунтов небольшим?

Я онемела от изумления. Признаюсь, я никогда не задумывалась о том, сколько именно мисс Тэйт собирается оставить своей компаньонке, — ну две-три сотни, представлялось мне, не больше, но тысяча фунтов!

— Да что вы говорите! — Я снова схватила ее за руки. — Как я за вас рада, мисс Блоджетт! — Но какую же в таком случае тайну скрывают рваные перчатки? Мисс Блоджетт быстро отняла руки.

— Вы за меня рады? — повторила она. — Нет, не радоваться за меня надо, а уж скорее сочувствовать. Понимаете, денег-то я не получила. И вряд ли когда-нибудь получу.

— Как? Почему? — Я ничего не понимала. Не будут же богатые и великодушные Тэйты оспаривать у мисс Блоджетт эту щедрую, но вполне заслуженную ею сумму.

Ведь всем им и без того досталось довольно, семья должна гордиться широтой души мисс Тэйт, пусть даже их и удивили размеры этого «небольшого» наследства. — Не соби-раются же они опротестовывать завещание? — вскричала я.

— Что вы, господь с вами. — Мисс Блоджетт пришла в ужас. — Они еще больше, чем я, расстроены. Лорд Роберт чего только не делает, чтобы мне помочь. Потребовал, чтобы я наняла самого лучшего адвоката, а уж мисс Люси Тэйт — добрей души и не встретишь. Да они все такие добрые, так расстраиваются из-за этой истории. Ах, что говорить, вы ведь знаете Тэйтов — редкостной доброты люди. Я для них как родная. — Она вздохнула. — А тетя Аделина, бедняжка! Она была всех добрее. Я от души надеюсь, она не смотрит сейчас на землю и не видит, сколько огорчений она нам причинила, сама того не желая, лишь по доброте сердца. Почему я потеряла наследство? — Мисс Блоджетт наивно посмотрела на меня. — Потому что ее доброта ко мне не знала границ. — Я и не пыталась ничего понять. Мисс Блоджетт поспешила объяснить. — Вы же знаете, она всегда считала меня членом семьи. И ей так нравилось, что я называю ее тетя Аделина, будто мы с ней родные. Вы ведь помните, правда? Вы сами все видели. — Мисс Блоджетт наивно смотрела на меня, и ее круглое лицо, ее большие глупые глаза сияли любовью и умилением. И снова меня стеснило дурное предчувствие. Я молчала, да мне и не нужно было ничего говорить, потому что мисс Блоджетт продолжала: — Так вот, когда бедная мисс Тэйт составляла свое завещание, она вставила туда несколько слов, чтобы я все это знала. Наверное, она хотела показать всем, какой я ей близкий друг, как она любит меня. И вот в своем завещании... — Тут мисс Блоджетт на минуту забыла о мисс Тэйт, ее вытеснили из памяти воспоминания об ужасных неделях и месяцах, которые она провела в приемной адвоката, о том, как ее без конца расспрашивали и запугивали; она не выдержала этих воспоминаний, ее нижняя губа задрожала, и по щеке скатилась слеза — но теперь она плакала не о мисс Аделине Тэйт, а о бедной Эмме Блоджетт. — И вот в своем завещании мисс Тэйт назвала меня своей дорогой племянницей Эммой. «Моей дорогой племяннице Эмме завещаю одну тысячу фунтов стерлингов». Ты... ты... тысячу фунтов! — От волнения мисс Блоджетт даже начала заикаться. — И из этой тысячи мне не достанется ни пенса, вы подумайте

только! — Она вдруг снова сунула платочек в рукав и поглядела на часы на церковной башне, которая возвышалась над зданиями учреждений и контор. Маленьких золотых часиков, которые она носила прежде, больше не было. — Я сейчас иду к адвокату, — сказала она. — Приходится ходить через день. Тэйты для меня столько делают. Лорд Роберт слов нет как расстроен. И мисс Люси. Да и все они такие добрые, такие добрые! Только надежды-то у меня мало. Понимаете, никаких бы затруднений не было, не пожелай бедная мисс Тэйт выказать мне напоследок свою любовь. Что бы ей завещать эти деньги просто мисс Эмме Блоджетт, все обошлось бы проще простого. Так говорит мой адвокат. «Вы Эмма Блоджетт, — говорит он. — В этом нет никаких сомнений. Но кто такая эта дорогая племянница Эмма? Такой у мисс Тэйт нет. Есть пятьдесят четыре племянницы, включая внучатых и правнучатых, но ни одну из них не зовут Эммой!» — Мисс Блоджетт вздохнула. — Конечно, всем ясно как день, что речь идет обо мне, но только... — Губы мисс Блоджетт опять задрожали. — Только какой мне от этого толк? — Она подала мне руку. — Ну, пора мне, — сказала она. — Эти адвокаты требуют, чтобы к ним приходили вовремя, ждать они не любят, хотя клиентов заставляют ждать сколько угодно. Я, бывает, по часу жду, да так и не дождусь. Вызовут его срочно по телефону, я и уйду ни с чем. А вот секретарша у него очень славная. Обязательно стул мне принесет, усадит. — Лицо ее на миг просветлело. — Знаете, что я на днях узнала? Оказывается, эта секретарша — племянница Хетти. Помните нашу Хетти? Она всегда была на редкость бережливая. У нее есть брат, так она всех его детей выучила. Все прекрасно устроились. Эта девушка у адвоката такая образованная, такая обходительная. Если я уйду, так и не дождавшись адвоката, она всегда расстраивается, сочувствует. «Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, Эмма, — говорит, — все уладится, увидите!» Удивительная девушка. Мисс Хайнс ее зовут. Хетти ведь тоже Хайнс, вы не знали?

О Хетти я совсем было забыла.

— А как Хетти? — спросила я.

— Хетти-то хорошо. Она переехала жить к брату. Брат, конечно, очень доволен: она немало скопила себе на черный день. Ну и конечно, от мисс Тэйт ей досталась порядочная сумма.

— И Хетти ее получила?

Большие глупые глаза мисс Блоджетт округлились от удивления.

— Еще бы! А почему нет? Деньги ведь были завещаны Эстер Хайнс, это полное имя Хетти. Она-то была для мисс Тэйт никто, к ней мисс Тэйт особых чувств не питала. Вот и написала в завещании просто ее имя.— На мгновение мисс Блоджетт перенеслась в добрые старые времена. Плечи ее расправились, глаза сверкнули.— Ведь Хетти всего лишь прислуга. Кто она была тете Аделине? Никто!.. Ну, мне пора. Знаете, иной раз так тошно идти к этому самому адвокату, но я говорю себе, что надо все сделать и исправить ошибку тети Аделины, иначе ей не будет на том свете покоя.— Она пожала мне руку.— Спасибо вам за участие. Я расскажу, как у меня пойдут дела. Ну прощайте, душенька.

Она двинулась прочь, но я успела заметить, что глаза ее снова налились слезами. И она что-то тихонько проговорила. Я глядела ей вслед, на ее синее платье из искусственного шелка, на плебейские ноги в толстых шерстяных чулках, и в ушах раздавался ее голос. Я не очень хорошо расслышала слова, но мне кажется, она шептала:

— Бедная тетя Аделина! Бедная наша тетя Аделина!

Маленький принц

Часа в четыре дня, когда Беделия была у отца в спальне и давала ему лекарство, ей послышался из лавки голос брата. Она тотчас сошла вниз. Но его не оказалось в лавке. Там был один только Дэниел.

— Мне послышался голос Тома,— сказала она.— Он заходил?

Дэниел кивнул с убитым видом: роль доносчика ему не нравилась.

— Значит, он нарушил обещание! — воскликнула она.— Что он сказал? Кто приходил с ним вместе?

Впрочем, судя по всему, повторялась старая история. Ее братец Том, как обычно, нагрянул в лавку в окружении друзей-приятелей и угощал у стойки всю теплую компанию вином с таким видом, словно он обычный посетитель! Если торговля перейдет в его руки, с такими замашками он ее живо развалит.

— Ну можно ли быть таким дураком! — воскликнула она в сердцах — судя по ее запальчивости, на Тома возлагались прежде большие надежды. Но сейчас не время было предаваться сожалениям. Искать выход из создавшегося положения — вот что требуется ей сейчас.— Мне нужно с ним поговорить,— решительно заявила она.— Он ведь прямо на глазах у нас опускается все ниже и ниже.

Но она знала, что говорить о Томе «опускается» и несправедливо, и неверно. Не таковы его провинности, чтобы обозначать их словом, которое ассоциируется с разложением и старостью. Ассоциируются они с молодостью, и, если бы его падение ничем не грозило ей с Дэниелом, она, возможно, усмотрела бы и привлекательные черты в его

безоглядном мотовстве. Впрочем, при нынешнем положении дел его нужно обуздать, и немедленно.

— Нам необходимо сразу принять меры, Дэниел, — сказала она. — Я еще не успела тебе рассказать: сегодня утром доктор сообщил мне малоутешительные вещи. Он говорит, отец едва ли долго протянет. — Она сделала паузу. — А что из этого следует, тебе известно, — многозначительно добавила она.

Дэниелу это было известно.

— Я всей душой хотел бы выполнить твоё желание, Беделия, — сказал он. — Но в моем положении, я же тебе объяснял...

— Ах, да знаю я все это! — перебила она.

Его положение она понимала прекрасно. В самом деле, нежелательно, чтобы Том, которому и так все видится в искаженном свете, составил себе ложное представление о Дэниеле, тем более что, как и все другие члены их семьи, Том пока еще не знает о ее отношениях с Дэниелом. Другое дело, если бы Дэниел уже стал его зятем. Хотя, возможно, ситуация тогда оказалась бы еще более щекотливой. И не в том беда, что ситуация эта трудна. Том ведь, в сущности, совсем безобидный. Ясно как день, он не захочет причинить кому-то вред, тем более родной сестре и ее будущему мужу. Он не пожелает... он не в силах пойти другим путем, но его можно убедить, что их пути пересекаются. И если он намерен продолжать свои безрассудства, то пусть хотя бы безрассудствует в иных краях.

— Он меня послушается, я знаю, — сказала она. — Как свои пять пальцев его знаю. Насквозь его вижу. Говорила я, что он не способен сдержать обещание? Говорила, что устраивать для него испытания лишь пустая трата времени?

Это Дэниел по свойственной ему щепетильности настоял на том, чтобы ее брату был предоставлен последний шанс. Впрочем, как Дэниел мог сейчас убедиться, это оказалось ошибкой. В результате им еще предстоит неприятная процедура, которая могла уже быть позади.

— Я сегодня же вечером с ним объяснюсь начистоту, — сказала она. — Когда закроем лавку, я приведу его сюда, нам здесь никто не помешает... вы все будете сидеть за ужином, самое удобное время, ведь так? А, вот и он! — вскрикнула она, так как в этот момент из-за обитой зеле-

ным сукном двери, ведущей в жилую часть помещения, послышался голос Тома, затеявшего шумную возню с младшими сестренками.

Беделия взглянула на часы.

— Как ты думаешь, не пора ли закрывать? — сказала она. Дэниел принялся запирать ставни, а она раздраженно за ним наблюдала. Ей не терпелось от него отделаться и поскорее приступить к осуществлению своего плана.

И все же, когда несколько минут спустя он вышел и она осталась одна в темной лавке, она не сразу тронулась с места и невольно обратила взгляд на невидимый в сумерках, висевший на стене позади кассы иллюстрированный указатель одной из многочисленных судовладельческих компаний, которые отец обслуживал в качестве агента. Глаза ее с самого детства ежедневно останавливались на засиженной мухами пожелтевшей обложке, и даже в темноте она видела ясно, как днем, огромный лайнер, бороздящий лазурную гладь океана. Том будет отнюдь не первой «паршивой овцой», которую спровадили за океан на предмет исправления. Далеко, конечно, этот Новый Свет, раскинувшийся по ту сторону Атлантики, но ведь другого средства нет: как прикажете поступать с таким вот беспутным кутилой, не имеющим понятия о том, что приличествует молодому человеку их круга? И разве мало изгнанных с позором молодых людей возвращались домой совершенно иными: людьми почтенными, обеспеченными, у которых имеется пальто на меховой подкладке, и золотые зубы, и достаточно денег, чтобы потешить родственников, прокатить их по окрестностям в наемном автомобиле. Том ведь тоже может преуспеть. Это сомнительно, но все же возможно.

Тут, внезапно спохватившись, Беделия перестала мечтать и, отворив обитую зеленым сукном дверь, вошла в смежную с лавкой маленькую гостиную. Ужин начался. Лидди разливала чай, Элис резала хлеб. Том уже подкреплялся, и, когда она окликнула его, рот у него был набит и он не сразу смог ответить.

— Мне нужно с тобой поговорить, — заявила Беделия. — Да, сейчас же! — жестко оборвала его она, когда он попытался возразить, что еще голоден, но у нее екнуло сердце: она увидела, как он накрывает блюдечком только что налитую чашку, как видно полагая, что вскоре вернется к столу.

— В чем дело? — спросил он, выходя вслед за сестрой из комнаты. — Э, послушай, чего ради тебе вздумалось сюда идти? — изумился он, увидев, что Беделия открывает дверь в неосвещенную лавку.

— Чтобы мне не помешали, — коротко ответила она и придержала дверь, пропуская его вперед, как ребенка.

— Но, хорошенькое дело! Тут же крошечная тьма, — возмущался он, неловко пробираясь между стоящих посреди лавки витрин с товарами.

Каждый раз, когда он на что-нибудь натыкался, Беделия, уверенно лавировавшая в этом лабиринте, едва удерживалась от язвительного замечания по поводу столь скверного знакомства с местностью.

— Сюда, — сказала она, когда они добрались до противоположного конца лавки, где за стойкой была отгорожена комнатуха, именуемая обычно «закутком», для жаждущих конфиденциальной беседы клиентов. Маленькое оконце, выходявшее на задний двор, было уже закрыто ставней на ночь, но в отличие от гладких деревянных ставней на передних окнах здесь какая-то поэтическая душа украсила среднюю створку отверстием в виде сердечка. Сквозь это сердцевидное отверстие в комнату проникал слабый свет, но Беделии и не требовалось более яркого. Она обернулась и вполне отчетливо разглядела лицо брата в полутьме.

Оно было поразительно чистым, не потасканным, не иститым, это пришлось признать.

Но это ненадолго, подумала она и без предисловий приступила к разговору:

— Ну, Том! Тебе, полагаю, известно, о чем мы будем говорить?

К ее величайшей досаде, он, кажется, даже не слушал. Он снял с шаткого бамбукового столика старенькую, покрытую желтой растрескавшейся глазурью жардиньерку, в которую был втиснут непомерно большой горшок с одинокой чахлой геранью.

— Да ты слушаешь ли? — вспыхнула она, так как все его внимание, казалось, поглощало чахлое растеньице в горшке.

Но он по-прежнему не отвечал ей ни слова и только вытянул горшок из жардиньерки и поднес высохший стебель к самому носу, будто втягивал в себя сладчайшее благоухание. У нее возникло впечатление, что он просто над ней подсмеивается.

— Ты, может, думаешь, мне неизвестно, что ты нарушил обещание? — набросилась она на него. — Прекрасно знаю, ты с компанией провел тут целый день.

Она все же добилась своего — Том резко вскинул голову.

— Ты всегда в курсе дела, а? — сказал он. — Я полагаю, верный Дэниел представил подробный отчет о моем поведении?

— Тебя не касается, откуда я черпаю сведения, — отрезала она, стараясь не вспылить в самом начале разговора.

— Наоборот, весьма даже касается, любезная сестрица, коль скоро сведения твои, как оказалось, неверны.

Она растерялась, но лишь на секунду.

— Ты обвиняешь Дэниела во лжи?

— Я никого ни в чем не обвиняю, — сказал Том со спокойствием уверенного в своей правоте человека. Это спокойствие встревожило ее. — Конечно, у меня есть недостатки, Беделия, но, дав слово, я его держу.

Это верно, он и в детстве всегда был правдивым мальчиком, но ведь не зря же говорят, что пьянство уродует человеческую личность. Она посмотрела на него в упор.

— Кому из вас двоих поверить? — спросила она.

— Почему бы не поверить мне, Беделия? — произнес он просто, а затем вдруг снова вытащил горшок из жардиньерки. — Скажи, чем пахнет? — быстро спросил он и сунул горшок ей прямо под нос.

Она инстинктивно отшатнулась, но успела почувствовать едкий, кисловатый запах, исходивший от растрескавшегося глиняного горшка.

— По-моему, пахнет виски, — сказала она с удивлением.

Том засмеялся.

— Обоняние тебя не подвело, — весело ответил он. К нему вернулась прежняя непринужденность. — Ну что, поверила теперь, что я не нарушил обещания? Я тут был сегодня днем с приятелями, твоя правда, и, наполняя их стаканы, каждый раз наполнял и свой, но не выпил ни капли! Ни единой капли! Когда никто не смотрел на меня, я выплескивал сюда это зелье. — Он опять потрянул горшком с геранью. — Цветочек имел такой вид, будто его давненько не поили, — сказал он. — Правда, он и сейчас не

лучше выглядит. — Он беспечно рассмеялся. Ни забот, ни хлопот, подумала она.

Ее томило горькое ощущение досады. Все ее планы пошли прахом. Выскользнул из рук предлог, уцепившись за который она могла бы осуществить свое намерение.

А может быть, не выскользнул? Внезапно Беделия все же обнаружила зацепку.

— Ты, наверное, в восторге от своей изобретательности? — воскликнула она. — По-твоему, я чуть ли не прыгать должна от радости, узнав, какой умник мой братец. Так вот, не прыгаю. Представь себе!

Даже не глядя на Тома, она почувствовала, как он растерян, и это придало ей еще больше уверенности.

— Нет, я, право же, скорей бы стала тебя уважать, если бы ты выпил это виски! — выкрикнула она. — Нужно быть круглым дураком, чтобы вот так вот выплеснуть добро. Ты ведь деньги выплеснул, как ты не понимаешь, деньги! — Ее голос сорвался на визг. — Что, разве не правду говорю? — вдруг вскинулась она, обеспокоенная выражением его лица.

Том опустил жардиньерку.

— А я думал, ты будешь довольна, Беделия, — сказал он.

Она прикусила губу.

Когда он был еще малышом, он часто говорил ей эту фразу, и у нее таяло сердце, но сейчас она убедила себя, что он просто ставит ей палки в колеса.

— Том, боюсь, что ты из тех людей, кого необходимо защищать... от них же самих, я имею в виду, — быстро добавила она, заметив, что он удивленно поднял брови. — Для человека такого склада, как ты, губительна та ситуация, в какой ты оказался из-за папиной болезни. Я, ты знаешь, околичностей не люблю и скажу тебе прямо: когда я вызвала тебя сюда, я думала, что ты нарушил обещание, и решила, что выход есть только один — ты должен немедленно покинуть город и порвать с компанией бездельников и прихлебателей, которые отлично знают, как к тебе подладиться и напроситься на даровую выпивку. Нет, не перебивай! Я знаю, не все они готовы ободрать тебя как липку, иные из них даже одалживают тебе деньги и так далее, но только люди эти знают, поверь, что в убытке они не останутся. Ведь у тебя такие перспективы! Твои друзья окажутся твоими злейшими врагами. Я собиралась

тебе это сказать, но сейчас, после того, что я узнала, я начинаю думать, что твой злейший враг — ты сам. Выплеснуть в цветочный горшок отличное виски! Надо же быть таким дураком!

Том выслушал ее, не поднимая глаз.

— Я думаю, ты права, Беделия, — сказал он спокойно. — Но какое же ты предлагаешь средство? Я полагаю, если в первом случае ты сумела найти выход из положения, значит, подыщешь его и на сей раз. Послушай-ка, а может, то же средство и для второго случая сгодится?

Что это, уж не начал ли он дерзить? Беделия чуть не вспылила, но сдержалась, памятуя, как щекотлива ситуация и как необходимо быть во всеоружии, чтобы добиться своего.

— Этот город для тебя не место, — сказала она холодно. — Если ты уедешь... ну, хоть на время... начнешь, так сказать, новую жизнь...

Он не дал ей договорить.

— Средство прежнее, я угадал, — сказал он и засмеялся. — Отличное, знаешь ли, средство. Это мне напомнило одну забавную историю, которую мне рассказали на днях. Хочешь послушать?

Беделия была отнюдь не в настроении выслушивать забавные истории, но, если Тому вдруг приспичит что-то рассказать, его не остановишь.

— Это хорошая история, Беделия. Не нужно делать кислое лицо, — сказал он. — Лучше сперва послушай. Жил на свете некий хлипкий человечек, и была у него жена, здорovenная, скандальная баба, которая его терпеть не могла, разве что в день получки. Ей, конечно, приходилось подавать еду бедняге, но, я думаю, она ни разу в жизни не села с ним вместе за стол, просто шваркала, не говоря ни слова, ему под нос тарелки и все время, пока он ел, моталась по кухне, гремя половой щеткой или еще чем-нибудь, что было в руках, и не обращала на него внимания, как на собаку.

Так вот, во всяком случае, однажды, когда человечек пришел к чаю домой, она шваркнула перед ним, как всегда, чашку и тарелку, бросила на тарелку несколько ломтиков хлеба, а в чашку налила чаю из старого коричневого чайника, который, вероятно, не один уж час простоял на плите возле стены. Этакий огромный уродина чайник, с нелепым широченным носиком, через который чай низвергал-

ся с таким бульканьем, как будто носик чем-то закупорился, а может, так оно и было.

Итак, плеснула ему супруга чаю, подтолкнула в его сторону молочник и, как всегда, продолжала возиться на кухне. Но хотя она не обращала на мужа никакого внимания, ей немного погода почудилось, будто с ним что-то не так. Может быть, не слышно было, как он помешивает ложечкой в чашке, а может быть, не слышно, как он обсасывает усы — он обычно слизывал с них чай, — как бы то ни было, она на него покосилась, а он и в самом деле и не прикоснулся еще к чашке. А несколько минут спустя, когда она опять взглянула в его сторону, чашка стояла перед ним по-прежнему полная до краев.

«Ну, — сказала она, оторвавшись от работы и подболеваясь, — что там еще у тебя? Почему чай не пьешь?»

Бедный человечек покраснел как рак и виновато посмотрел на жену.

«Туда мышь попала, Мэгги», — сказал он.

Думаю, этот ответ ее немного ошарашил, так как, признайся, всякая хозяйка удивится, узнав такую вещь. Вот почему, бросив сперва свирепый взгляд на мужа, будто это именно он каким-то образом был виноват, она направилась к столу и заглянула в чашку. А в чашке в самом деле плавают дохлая мышь: по всей вероятности, она залезла в чайник, пока он настаивался на плите, забралась в носик... возможно, из-за этой мыши так плохо выливался чай! Одним словом, в чашке была мышь.

«Гм», — сказала бабища, взяла чашку, подошла к уша-ту для помоев, выудила мышь ложечкой и выбросила ее.

«Ну вот!» — произнесла она и опять поставила перед ним чашку, а сама схватила половую щетку и снова принялась стучать и греметь.

Но, как и в первый раз, ей вскоре почудилось, что муж по-прежнему сидит, не прикасаясь к чашке, и она на него оглянулась. Так и есть, он и не притронулся к чаю, просто сидит себе перед чашкой, и все. От одного его вида в ней вспыхнула ярость.

«Ну а теперь тебе что не ладно? — выкрикнула она. И возвела взор к небесам. — Бог свидетель, не понимаю, что ты за человек: с мышью чай не пьешь, без мыши — тоже не желаешь!»

Это была хорошая история. Во всяком случае, Тому она понравилась, когда ему ее рассказали, и даже сейчас

он чуть не засмеялся под конец. Но, взглянув в лицо Беделии, сразу сделался серьезным. Он не стал ей разъяснять, какое отношение имеет к ним эта притча. Словно какое-то болезненное чувство гордости побуждало его вести себя именно так, он выпрямился, стоя перед ней, и приосанился.

— Когда прикажешь отправляться? — спросил он. — Да, кстати, если тебя не затруднит, заодно скажи: куда мне отправляться?

Что-то дрогнуло в лицо Беделии. Вопрос касался самой сути ее плана, но она не стала отступать.

— В Америку, — решительно ответила она. Потом по его глазам поняла, что он ей не поверил, а потом — и это было еще горше — поверил, и с трудом совладала с собой. — Ну куда же, если не в Америку, — пробормотала она. — В новой стране начать все сначала...

Но он поднял руку и жестом остановил ее.

— Ну еще бы! Конечно! Будем считать вопрос урегулированным, милая сестрица, — сказал он. — Знаю, знаю, ты считаешь, что я редкостно равнодушен к делам, но мне все-таки случается по временам просматривать проспекты судовых компаний, и я знаком со всеми дифирамбами, слагаемыми в честь славного Нового Света. На том и порешим. Теперь перейдем к более практическим делам. — Опустив глаза, он увидел на жилете одну-две глиняные крошки, отвалившиеся от цветочного горшка, и небрежно их смахнул. — Какая удача, что этот костюм сохранился в столь приличном состоянии! Для морского путешествия он в самый раз, нового покупать не потребуется, что весьма кстати.

Говорит ли он серьезно или шутит, было невозможно определить. Но Беделия согласилась принять его слова за шутку.

— Можно подумать, ты отплываешь завтра утром, — сказала она.

— А разве нет? — спросил он.

О, вот он как повернул: хочет представить дело так, будто она выгоняет его из дому.

— Ты прекрасно знаешь, что нам предстоит обсудить множество вещей. Должны же мы прийти к какому-нибудь соглашению.

— Обсудить? К соглашению?

— Твоя доля, разумеется, остается за тобой,— сказала она ледяным тоном.

— Ах так! Что ж, сбегай наверх и скажи старику, что я забираю ее сразу же! — сказал он. — К слову, как он нынче вечером? — спросил он уже другим тоном. — Мне сегодня не удалось его повидать.

— С ним все в порядке,— раздраженно отрезала Беделия. — Но ведь ты отлично знаешь, что он не в курсе всех этих дел! Я говорю не о ближайших днях, а о том времени, когда...

— А, понятно. Я рад, что старик не имеет к этому касательства. Значит, ты говорила о тех временах, когда он не сможет тебе помешать. — Он взглянул на потолок у них над головами. — Бедный папа! — вдруг вырвалось у него, и Беделии не понравилась его интонация.

— Вполне естественно, когда наступит это время, у нас тут будет много перемен,— сказала она жестко.

— О, естественно! — Он ответил сухо, но у Беделии возникло впечатление, что еще немного, и он образумится.

— Как сказал Дэниел...— начала она.

— Ах, Дэниел тоже принимал участие в совете? — спросил он.

Беделия прикусила губу. Промех допущен, но прибегать к уловкам уже некогда.

— Мне, в общем-то, незачем от тебя скрывать, что мы с Дэниелом хотим пожениться,— резко проговорила она.

— Боже милостивый!

Нет, такой новости он, конечно, не ждал — Беделия заметила это не без удовольствия,— но поспешил взять себя в руки.

— Это случится позже, надо полагать? — спросил он, ткнув пальцем в потолок, и в вопросе явно прозвучала ядовитая нотка, однако уже через секунду он порывисто протянул ей руку. — Ну что ж! Желаю вам всего самого лучшего,— сказал он. — Жаль, не смогу присутствовать на свадьбе.

— Ох, так я тебе об этом и толкую,— сказала Беделия. — Тебе и до нашей свадьбы незачем уезжать. Единственное, чего мы с Дэниелом хотим,— это внести в наши отношения полную ясность. Кроме того, разумеется, придется обсудить финансовые вопросы.

Но Том не слушал. Он вскинул голову, и, хотя, возможно, это была всего лишь нелепая фантазия, Беделия почувствовала, что мыслями он далеко. Может быть, стоит на палубе отплывающего в дальние края атлантического лайнера, вроде того, который изображен на указателе, и вдыхает морской бриз, постоянно веющий, как ей казалось, над бурной Атлантикой. Внезапно он вернулся на землю, на сушу — в маленький, темный «закуток».

— Вы с Дэниелом, должен я сказать, предусмотрели все до мелочей и нашли отличный выход,— сказал он и улыбнулся, уж на этот раз, право, без малейшего — она могла поклясться,— без малейшего злорадства.— Но боюсь, что этот выход не подходит для меня. Если я должен уехать, я уеду сразу.

— Но как же отец? Как ему объяснить?

Он снова улыбнулся.

— Не сомневаюсь, ты и здесь найдешь достойный выход из положения,— сказал он.

— Но как быть с твоей долей? — воскликнула она.— Ведь, чтобы выделить тебе твою долю наследства, я должна это каким-то образом оформить. А оформить без ведома отца невозможно. Как ты не видишь, что в данный момент у нас связаны руки?

Однако Тому положение не представлялось безвыходным. Он огляделся.

— У тебя есть ручка? — спросил он.— Я передаю вам с Дэниелом свою долю. Неплохо придумано? Это сразу же устранивает все трудности. Небольшой свадебный подарок или, скажем, прощальный подарок, если тебе больше нравится такое название.

Но Беделии необходимо было оберечь свою гордость, вернее, гордость Дэниела.

— Дэниел на это никогда не согласится,— возразила она жестким тоном.— Мне нужно с ним все обсудить. Полагаю, нам на первое время придется ограничиться устной договоренностью, с тем чтобы впоследствии наш поверенный должным образом оформил соглашение, после чего мы будем ежегодно высылать тебе деньги.— Но в этот миг она вдруг подумала о совершенно новой стороне вопроса.— Да, вот что еще! — воскликнула она.— Нужно решить, куда же именно ты поедешь. Обычно люди отправляются в те края, где уже обосновались их земляки, но в твоем случае, я думаю...

— О, еще бы, мне ведь предстоит начать новую жизнь! Понял тебя, любезная сестрица, только решать уж предоставь мне. Ну, все? — Он бросил взгляд на дверь. Но Беделия не устраивало столь внезапное окончание их беседы.

— Как только ты туда приедешь, ты нам, разумеется, напишешь, — сказала она.

Том отодвинулся, и в первый раз за все время его лицо, освещенное бликом света, падавшего из прорези в ставне, скрылось в полумраке комнаты.

— Отлично, на том и порешим, — сказал он. — Как только ты узнаешь мой адрес... мой постоянный адрес, имею я в виду, — добавил он, — ты можешь написать мне.

На секунду выражение его лица показалось ей необычным, но сразу вслед за этим он заговорил самым будничным тоном, и Беделия решила, что это ей, наверно, помешалось.

— Ну а сейчас, — сказал он, — если не возражаешь, Беделия, мне хотелось бы закончить ужин.

После его ухода Беделия почувствовала такую усталость, что прислонилась к стене, отступив при этом в сторону от луча, который в продолжение всей их беседы с братом отбрасывал переменчиво мерцающие блики на его лицо и лишь теперь застыл на противоположной стене недвижимым силуэтом — золотистое, сердцевидное пятнышко.

II

— Ну уж сейчас-то он мог бы написать нам? — говорила Беделия Дэниелу, уже ставшему ее мужем, выходя с ним вместе из церкви после первой мессы за упокой души ее отца, умершего месяц назад.

Хотя прошел год и семь месяцев с тех пор, как Том Граймс отбыл в Америку, и хотя за все это время он ни разу им не написал, казалось невозможным, чтобы он не прислал письма хотя бы по этому случаю.

До сих пор его молчание приписывали небрежности, но сейчас, пожалуй, можно было заподозрить, что есть и другая причина. Не приходилось также утешаться предположением, будто новость еще ему не известна, так как от него не только обратились с просьбой к американским газетам перепечатать извещение о смерти, но и послали две каблограммы на имя Мэри Конати, которая когда-то была служанкой у матери Беделии, эмигрировала много лет назад

в Бостон и в одном из писем, написанных не так давно оставшейся на родине сестре, сообщала, что встретила Тома Граймса на улице, и не один раз, а два или три. Он обещал зайти к ней в гости, и, хотя ко дню написания последнего письма еще не выполнил обещания, тем не менее можно было с полным основанием предполагать, что Мэри найдет способ сообщить ему печальное известие, содержащееся в каблограмме.

Они были уверены, что он откликнется, и Дэниел, предвосхищая события, включил имя Тома в напечатанный в газетах список людей, приславших соболезнования, хотя впоследствии несколько упрекал себя за поспешность. Но Беделию только сместила эта щепетильность.

— Я в любом случае включила бы его имя в список, даже если бы знала наверняка, что он не напишет. Нельзя, чтобы люди считали, будто он окончательно порвал с нами.

Дэниел вздохнул. Он опасался, что именно это и сделал Том Граймс. Но Беделия и слушать ни о чем подобном не желала.

— Он еще напишет. В один прекрасный день неожиданно и негаданно придет письмо, — твердила она.

А тем временем в ожидании, когда они раздобудут его адрес, Дэниел каждый месяц добросовестно откладывал часть прибыли и клал деньги на счет, который он открыл на имя Тома на следующий день после того, как умер тесть.

— Одно могу сказать, он не очень-то нуждается в деньгах, — ядовито произнесла Беделия, когда в конце второго года, приводя вместе с мужем в порядок бухгалтерские книги, она увидела, какой суммы достиг доход брата.

— Как знать, — ответил Дэниел. — Он малый простой.

Беделия не стала допытываться, что он имеет в виду.

— Будь уверен: денежки понадобятся — напишет, — сказала она.

Но, оценивая таким образом свойства человеческой натуры, она основывалась на знании мужчин вообще, а не того конкретного индивидуума, о котором шла речь. И хоть Дэниел с ней не был полностью согласен, он каждый месяц добросовестно клал деньги в банк. Мало ли что может случиться!

Вот почему он не был так уж удивлен, когда однажды днем Беделия с разбурьявшимся от волнения лицом выглянула из-за обитой зеленым сукном двери и, не обращая внимания на покупателей, поманила его к себе. Заметив в ее руке письмо, он пришел к поспешному выводу, что письмо это от беглеца.

Но письмо написал не Том Граймс. Письмо было от Мэри Конати. Она сообщала, что опять встретила Тома и долго с ним разговаривала. Она понимает, что родня тревожится о Томе, вот она и пишет им, чтобы дать знать, что для беспокойства нет оснований.

— Он в добром здравии и, судя по всему, преуспевает, — говорила раскрасневшаяся от волнения Беделия, пересказывая письмо. — Правда, мило, что она нам написала? — воскликнула она. — Такая обязательность — приводит даже мелкие подробности. Она шла по Тремонт-стрит — вероятно, это улица в Бостоне — и вдруг видит: перед витриной стоит не кто иной, как наш Том! Представляешь, какое совпадение!

Хотя Дэниел был разочарован, узнав, что письмо от Мэри, а не от самого Тома, он постарался не омрачать восторгов Беделии и сделал вид, будто доволен так же, как она.

— Итак, мы его выследили наконец, — сказал он. — Ну, рассказывай же. Как он там? Что делает? — Он протянул за письмом руку.

Однако по какой-то непонятной причине Беделия не дала ему письма и удалилась, как бы не заметив его протянутой руки.

— Ладно, как-нибудь позже, — сказала она. — Я сама еще не прочла его толком, лишь просмотрела.

Он обратил внимание на ее уклончивость и огорчился. До замужества, еще при жизни ее отца, их, казалось, связывали более прочные узы, нежели сейчас. Он думал тогда, что это узы любви, но теперь ему порой приходило в голову, что их связывали просто узы интриганства.

Только позже, за обедом, он узнал еще кое-что о Томе Граймсе, но и тут заметил, что эти сведения Беделия сообщила ему каким-то окольным путем.

— Да, насчет того письма, которое я получила утром, Дэниел, — сказала она. — Мне кажется, о нем не стоит никому упоминать, во всяком случае, пока. Ведь это, что ни говори, весьма сомнительная информация, собственно, те

же сплетни, и, кроме того, как знать, Мэри Конати может находиться в заблуждении по поводу каких-то вещей.— Тут она сделала паузу, и, взглянув ей в лицо, Дэниел понял, что она наконец решилась довести до его сведения ту неприятную часть письма, о которой сперва умолчала.— Вполне возможно, например, что Мэри составила себе ошибочное представление относительно рода его занятий,— говорила она медленно и осторожно, словно пытаясь в промежутках между словами мысленно озвучить его отклик на то, что она говорит.

Снова интриганство, досадливо подумал он.

Ведь понимала же она, что пока еще так и не рассказала ему, чем занимается ее брат. Но если ей так легче, что ж, он ей подыграет. И Дэниел не стал возражать.

— Том едва ли мог согласиться на работу официанта, верно? — спросила она.

— Официанта?

При всем желании подыграть Беделии Дэниел не удержался от изумленного восклицания, но тут же пожалел о своей несдержанности, заметив, как страдальчески сморщилось ее лицо.

— Ну конечно, чтобы добиться положения в чужой стране, нужно время,— сказала она торопливо.— Кроме того, я уже много раз слыхала, что в Америке на это смотрят не так, как у нас. Люди там берутся за любую работу, и никто о них дурно не думает. Там совсем не то, что здесь. К тому же это, кажется, очень шикарный отель...— Она сунула руку в карман и вытащила полученное от Мэри письмо, на конверте которого записала название отеля.— Он называется «Паркер Хауз»,— сказала она с таким видом, будто это должно было произвести на Дэниела особое впечатление.— Мэри Конати утверждает, что это огромный успех — получить работу в «Паркер Хаузе»!

Трудный момент настал для Дэниела, желавшего одновременно быть и добрым, и искренним.

— Я думаю, для особы такого происхождения, как Мэри Конати, должность официанта представляется чем-то завидным, но, боюсь, нет смысла отрицать: для твоего брата это крах, Беделия.

Она тут же заклокотала от гнева.

— О, так не только Мэри Конати считает, но и Уэстропы... ее тамошние хозяева, ты ведь часто слышал их фами-

лию... она упоминает о них в каждом письме... они сказали Мэри Конати, что молодому человеку очень трудно получить работу в «Паркер Хаузе». Мэри, кажется, им рассказала о Томе — в «Паркер Хаузе» они завсегдааи, и они попросили Мэри его описать, а когда она это сделала, тотчас его вспомнили. Я полагаю, они заметили его еще раньше, так как он не похож на остальных. Во всяком случае, они сказали Мэри, что она может им гордиться. Они сказали: он прекрасен, как принц!

Неожиданно, в тот миг, когда Беделия повторяла слова незнакомых ей Уэстропов, ее голос дрогнул.

— Что с тобой, Беделия? — воскликнул Дэниел.

— А, ничего, ничего, — ответила она. — Мне просто вспомнилось, что говорили о нем люди, давно, когда он был еще малышом — я тебе часто рассказывала об этом, — в ту пору, когда мама начала болеть, а Том перешел на мое попечение, и я его наряжала в бархатный костюмчик с белым кружевным воротником, и прохожие все время останавливали нас на улице и восхищались им, и говорили: маленький принц. Я все это давно забыла и вдруг вспомнила.

К изумлению мужа, она достала носовой платок и поднесла к глазам.

— Ну полно, — сказал он и обнял ее за плечи. — Сейчас совсем не время плакать! Наоборот. Наконец-то появилась ясность. Нам есть за что ухватиться. Мы узнали его адрес. Уже нет нужды изобретать окольные пути, чтобы связаться с ним. Разве мы знаем наверняка, дошли ли до него все наши сообщения? Зато теперь мы можем прямо написать ему. Адресовать письмо на «Паркер Хауз», и он его получит, вот увидишь!

В его словах ощущалась такая уверенность, что Беделия отняла платочек от глаз.

Однако письмо, отправленное в тот же день в отель «Паркер Хауз», вернулось нераспечатанным, с надписью на обороте, которой администрация отеля извещала, что Том Граймс у них больше не служит и адреса не сообщил, местопребывание его неизвестно.

— Что же делать? — вскрикнула Беделия, потрясенно глядя на письмо.

Удар был нешуточный, однако Дэниел решил вести себя так, будто ничего страшного не случилось.

— Не стоит огорчаться, — сказал он. — Мы его скоро разыщем.

Но минуло двадцать семь лет с того дня, когда Дэниел проявил себя столь бездарным пророком, прежде чем они опять слышали о «маленьком принце». Нельзя сказать, чтобы в течение этих лет они надолго о нем забывали. Во-первых, им невольно приходилось каждый месяц вспоминать о нем, внося на его банковский счет деньги, и обуревавшие их при этом чувства были отнюдь не одинакового свойства, а чувства Дэниела даже менялись с течением лет. Под конец они изменились до неузнаваемости.

Вначале, помещая деньги на счет Тома, он восхищался своей безупречной честностью, да еще радовался на первых порах, что сумма все растет. Каждый месяц, оформив вклад в банке, он говорил одну и ту же фразу кассиру.

— Вот так-то,— заявлял он самодовольно,— денежки его ожидают, если он изволит когда-нибудь за ними явиться.

И он не без гордости раздумывал по дороге домой о том, как увеличивается даже небольшая сумма, если к ней не прикасаться, да к тому же на нее наращиваются сложные проценты. Прирост в общем-то не заметен, пока сумма не достигнет значительных размеров.

Но, забавная вещь, по мере того как накапливались деньги в банке, Дэниел утрачивал спокойствие. Муки совести, которые, казалось бы, должны были поутихнуть с годами, выросли до гигантских размеров, как тени. И если прежде представлялось несущественным, что человек отказался от небольшой доли в небольшом предприятии, то теперь истинные размеры его потери стали очевидны для всех, во всяком случае для всех, кроме главного заинтересованного лица — самого Тома!

— Полагаю, он даже понятия не имеет, какая сумма накопилась в банке,— сказал он раза два Беделии.

А кассиру он говорил теперь:

— То-то диву дастся Том, когда наконец приедет и обнаружит, какой он теперь богатый!

А затем, когда годы стали складываться в десятилетия, а о страннике по-прежнему не было вестей, Дэниел обратил внимание на парадоксальную взаимосвязь двух процессов: капитал все увеличивается, растет, а у Тома в запасе все меньше времени, чтобы воспользоваться своим богатством; и в конце концов у него возникла печальная мысль: да понадобится ли оно вообще Тому, даже если он немедленно приедет? Чувство глубокой жалости к Тому

овладело им, и вместе с тем он начинал жалеть и самого себя.

Дела шли отнюдь не так блестяще, как представлялось им в былые дни, когда еще был жив Матиас Граймс и Дэниел, в ту пору зеленый юнец, приказчик в лавке, со священным трепетом взирал на окружающее его великолепие, где он скромно исполнял свою скромную роль.

С грустью поглядывал он на тесную лавчонку, удивляясь, как когда-то мог считать ее крупным, процветающим торговым делом, ибо — особенно в сумерках, до того, как зажгут свет, — она порой казалась просто каморкой, и трудно было поверить, что третья часть прибыли, извлекаемой из нее, могла вырасти в такую значительную сумму, как та, что записана на имя Тома в банке. Дэниел и Беделия отнюдь не могли похвастать подобными доходами. Да что там, вряд ли все их дело — помещение, товар, репутация фирмы — стоит хоть половины тех денег в банке. И хотя Дэниел всегда был с цифрами в ладу, ему казалось, тут произошла какая-то ошибка в вычислениях. Может ли часть оказаться больше целого? Ведь они с Беделией старались, не жалея сил.

Что же случилось, почему им не удалось осуществить свои честолобивые мечты? Может быть, их честолобие было непомерным и мечты несбыточными?

Лавка, вероятно, и прежде была такой же тесной каморкой, и лишь иллюзии нищего приказчика преображали ее.

Но сильны, как видно, были эти иллюзии, если он так страстно жаждал ее заполучить и прилагал столько стараний, чтобы помешать Тому Граймсу расточить это сокровище!

И когда он теперь засиживался в лавке до глубокой ночи, в мыслях у него порой возникал вопрос: а как сложилась бы его судьба, если бы Том Граймс вдруг заупрямился и не захотел отказаться от своих законных прав? Но он не очень об этом раздумывал, зная, что даже такой оборот дела едва ли мог бы в корне изменить его жизнь. Покинув место в фирме «Граймс и сын», он просто стал бы за прилавок в другом подобном заведении, возможно в том же городе. Впрочем, отлично сознавая сейчас, что в той жизни, которую он ведет, нет ничего блистательного и возвышенного, он понимал, что этот философский взгляд явился плодом опыта, пришел с годами, что в молодости он

настроен был совсем не так. В молодости перед ним была только одна дорога, этой дорогой он и пошел.

Одно его утешало — мысль о том, что у него есть возможность делать хоть немного добра людям, то есть предоставить иногда кредит тем несчастным, что заглядывали робко к нему в лавку, не имея денег на еду. Если бы он остался на всю жизнь приказчиком на жалованье, он даже этой малостью не мог бы им помочь. Поздним вечером, когда он, погруженный в грустное раздумье, часами сидел в лавке, мысль о каком-нибудь из этих бедняков, которого он выручил, помогала ему воспрянуть духом, и, задув свечу, он отправлялся в спальню.

Совсем иначе относилась к делу Беделия. Уже с самого начала она считала излишним выплачивать Тому такую значительную долю прибыли. Собственно говоря, он ничего не вкладывает в дело, обстоятельство, которым Беделия никак не могла пренебречь, определяя причитающееся брату процентное отчисление. Вот почему с первых же дней она испытывала некоторое раздражение каждый раз, когда ее супруг надевал шляпу и отправлялся в банк.

В первые годы, когда торговля шла неплохо, ей удавалось подавлять свои опасения, хотя однажды, когда Дэниел в начале нового года показал ей счетную книгу и она увидела, сколь значительная часть прибыли уходит на домашние расходы, ей стало жутковато, и еще больший ужас внушила ей сумма, предназначенная на закупку нового ассортимента товаров.

— А что, разве Том не должен принимать участие в этих расходах? — запальчиво спросила она.

Но когда Дэниел ей возразил, что это только усложнит бухгалтерию, она не стала спорить — он и без того копается все время в счетных книгах, и ей это уже осточертело. Она пожала плечами. В конце концов, подумала она, он, наверное, знает, что делает, ведь проявил же он задатки делового человека, еще когда служил подручным у ее отца.

Впрочем, порой ей казалось, что обнаруженные им в ту пору способности — всего-навсего способности слуги. Почему в противном случае их предприятие не процветает? Лодырем он не был, но по временам, когда она смотрела, как Дэниел посыпает опилками пол, запирает или отворяет ставни, ей вдруг приходило в голову, что он не предприятие их любит, а саму лавку, нечто осязаемое, чему он может щедро посвятить всю свою заботу и внимание.

Только в одном вопросе он без колебаний осуществлял право хозяина, а именно отпуская товары в кредит, но Беделия запретила себе раздумывать об этом тревожном обстоятельстве, так как ожидала тогда появления на свет их первого и единственного ребенка и доктор настойчиво предостерегал ее от каких бы то ни было огорчений. Вот почему и в тот год, и в последующие годы, когда сын ее еще был мал, она сосредоточила все свои мысли на домашних делах.

Тем не менее спустя несколько лет в ней снова пробудился интерес к деловым вопросам, и вот тогда-то, опять просмотрев счетные книги, она с возмущением поняла, что сбываются ее наихудшие опасения. Лавку недавно выкрашили, и внутри, и снаружи, и обошлось это недешево — расход пробил порядочную брешь в их бюджете. Она быстро заглянула в конец книги, где столбик цифр зафиксировал все выплаты на имя ее брата.

— Он и на сей раз не потратился, — сердито сказала она и резко повернулась к Дэниелу. — Я еще понимаю, если бы ему действительно были нужны эти деньги, — воскликнула она.

Она была убеждена, что брат стал в Америке богатым человеком и что именно поэтому он не берет на себя труд востребовать причитающуюся ему долю.

— Ему, наверное, о них даже думать смешно, — заявила она. — Для него такие деньги — сущие пустяки. У американцев ведь представления о богатстве совсем не те, что у нас, а между тем...

Она с хмурым видом оглядела лавку. После того как ее выкрасили, лавка почему-то приобрела еще менее процветающий вид, и по-новому разложенные на ярко окрашенных полках товары выглядели еще более убогими, чем всегда. Или это просто игра воображения?

Хотя нет, явно что-то не так. Она прошла в расположенную за лавкой кладовую и огляделась. Запас лежащих здесь товаров, право же, за последнее время оскудел.

Полная решимости потребовать у Дэниела объяснения, она вернулась в лавку, но, увидев, что он опять сидит, зарывшись с головой в счетные книги, вдруг сама нашла объяснение. Капитал не должен растекаться по разным каналам, а у них, как ей известно, значительную сумму съедает кредит.

По этому поводу между супругами уже несколько раз возникали перепалки. Когда был жив отец, они торговали только за наличный расчет. В ту пору, слушая, как разговаривает с покупателями Дэниел, она была убеждена, что именно благодаря ему они так твердо придерживаются этой линии.

— Прошу прощения,— смиренно бормотал он,— я не вправе на свою ответственность предоставить вам кредит.

Пристроившись за прилавком в дальнем конце помещения и стараясь оставаться незамеченной, она восхищалась этим ловким маневром, позволявшим ему тактично выйти из сложного положения. Она считала это уловкой, ей не приходило в голову, что говорит он чистейшую правду и что только он получит полномочия, как тут же начнет предоставлять кредит налево и направо всем желающим.

Это не сразу вошло в систему, просто время от времени он отпускал кому-нибудь товар в кредит. Обнаружив в счетной книге запись о продаже в кредит, Беделия спрашивала, заслуживает ли доверия покупатель. В ответ Дэниел только тряс головой.

— Но они в таком ужасном положении, Беделия. Они с голоду умрут, если никто им не поверит в долг.

— Но почему они явились к нам? — кричала она. — Почему не обратились еще к кому-нибудь?

На этот вопрос он отвечал с доводившим ее до иступления спокойствием:

— Я думаю, они вернут нам деньги, если у них появится возможность.

— Если? — еле сдерживая ярость, переспрашивала она.

Вскоре счетные книги пестрели долговыми записями. Но когда заморожен такой капитал, можно ли пополнять ассортимент товаров с прежним размахом?

Может быть, со временем им все возвратят, как утверждает Дэниел, но откуда им сейчас взять денег, чтобы дело развивалось, росло?

И в каждом таком случае ее сильно раздражало упрямство Дэниела, настаивавшего на том, чтобы деньги ее брата без малейшей пользы лежали в банке. Если бы он хотя бы клал их на свое имя и на имя жены, было бы как-то легче, но Дэниел упорно помещал деньги на имя Тома.

— Мы могли бы хоть временно ими пользоваться,— как-то пожаловалась она с горечью.

Но это было невозможно, что служило еще одним примером того, как совесть Дэниела мешает им развернуть дело.

Дэниел оставался непреклонным.

— Нет уж, лучше не трогать того, что принадлежит другому человеку.

— Принадлежит другому человеку!

Она с негодованием повторила его слова — ведь с каждым месяцем она все больше привыкала считать эти лежащие без движения деньги своей собственностью, воспользоваться которой ей мешает лишь досадная формальность.

— Я уверена, он собирался передать нам свою часть наследства, — сказала она однажды. — Помнишь, он хотел нам ее отдать в качестве свадебного подарка? А когда я не согласилась и твердо заявила, что мы непременно отошлем ему его долю, как только он сообщит свой адрес, он сказал: на том и порешим. Так вот! Я тогда не обратила на его слова особого внимания, но отчетливо вспоминаю сейчас, что выражение его лица мне показалось необычным, и, хотя тогда я ничего не поняла, похоже, он решил вообще не сообщать нам свой адрес. Иными словами, он таким образом дал понять, что оставляет деньги нам.

Очень возможно, что дело обстояло именно так. Дэниелу такой поступок представлялся вполне совместимым с характером Тома, если ему удалось его наконец постичь. Но пусть даже Беделия правильно истолковала поведение Тома, какое это имеет отношение к теперешнему положению дел?

— Ты, возможно, права, дорогая, — сказал он сухо, — но, боюсь, твои слова не произведут ни малейшего впечатления на управляющего банком. Ты допустила ошибку, не получив у Тома согласия на передачу в письменной форме.

Беделия вздохнула, словно возможность получить такое согласие оставалась и сейчас осуществимой.

— Ах, если бы нам удалось его разыскать! — воскликнула она.

Все их споры сводились в конце концов к этому желанию, с той лишь разницей, что если Дэниел хотел найти пропавшего в надежде ему помочь, то Беделия радела о их собственной выгоде. Так, каждый думая свое, только свое, они стояли, опустив глаза. Затем Дэниел взял ручку.

— Ну что ж, как знать! В один прекрасный день он может объявиться неожиданно и нежданно!

Он так часто повторял эти слова, что они утратили всякий смысл и превратились просто в заключительную фразу, которой завершался каждый неприятный разговор.

Впрочем, сейчас Беделия возразила с откровенным сарказмом:

— Сколько раз мы уже слышали эти слова? Хочешь знать мое мнение? Ладно, я тебе скажу: я уверена, что он уже умер.

Потрясенный ее резкостью, Дэниел посмотрел на жену.

— Да он, может быть, уже много лет, как умер, — воскликнула она. — Сам подумай, ну не странно ли, что Мэри Конати ни разу его с тех пор не встретила? И не странно ли, что его вообще никто никогда не встречает и не имеет известий о нем. А деньги, подумать только, лежат без движения в банке, в то время как они нам нужны!

Дэниел внимательно на нее посмотрел. Какая черствость, неужели же в ней нет ни искры чувства?

Он — другое дело; его с Томом не связывают кровные узы, деловые отношения, и только.

— Если он умер, деньги достанутся нам, — сказал он. — Разве только у него были жена и дети, — добавил он, внезапно сообразив, что возможна и такая ситуация.

Но Беделия была твердо убеждена, что ее брат не женился.

— Уж если бы женился, он бы потребовал у нас свое, — возразила она. — Будь спокоен, жена выбила бы у него из головы все подобные идеи. И каких бы капиталов он ни сколотил по ту сторону океана, она не пожелала бы оставить нам и нескольких фунтов, дожидających его по эту сторону. Одним словом, можешь не сомневаться: он не женат.

Дэниел, который о всех женщинах судил по собственной супруге, был склонен согласиться, что в ее доводах есть резон.

— В таком случае, разумеется, деньги достанутся нам, как ближайшим родственникам, — сказал он.

Беделия смерила его презрительным взглядом.

— Пусть он даже умер, нам-то что за прок, если наверняка мы этого не знаем?

Но тут выяснилось, что тугодум Дэниел обладает кое-какими начатками знаний.

— Что ж, я думаю, мы можем найти способ это проверить. По-моему, ты могла бы добиться постановления суда о предполагаемой смерти,— произнес он совершенно неожиданно.

— Откуда тебе это известно? — недоверчиво воскликнула Беделия, но в ее глазах блеснуло оживление.

Она пока еще не решила, стоит ли обращаться за помощью к правосудию. Ее рассудок, казалось, состоял как бы из двух отсеков. И если в одном из них мысль о кончине Тома представлялась вполне допустимой и даже желанной, то другой решительно отказывался поверить в нечто подобное. Многолетнюю привычку не так легко сломать.

Как часто за все эти долгие годы она вздрагивала, услышав в лавке мужской голос, показавшийся ей похожим на голос Тома. А после того как Дэниел подал ей мысль, что они могли бы добиться постановления суда о предполагаемой смерти Тома, совесть замучила ее, она стала такой нервной, что вздрагивала каждый раз, услышав незнакомый голос.

— Давай пока повременим немного, не будем ничего предпринимать,— говорила она.

Дэниел посоветовал ей хотя бы написать еще разок Мэри Конати.

Беделия написала ей в тот же вечер.

Ответ пришел только через четыре месяца, и не от Мэри Конати.

— Она умерла, бедняжка Мэри Конати скончалась, Дэниел,— сказала Беделия, пробежав глазами первую страницу.

— Что ж, прикрылось наше справочное бюро,— заметил Дэниел с несвойственной ему грубоватостью.

— Нет, погоди-ка,— вскрикнула Беделия, пробежав следующую страницу, а затем взглянув на подпись в конце письма.— Это от ее дочери Бидди, и Бидди говорит...— Она опять заглянула в начало.— Смотри, как мило: она хочет нам помочь разыскать Тома. И подумай только! Бидди, оказывается, была вместе с матерью в тот день давным-давно, когда Мэри встретила Тома у отеля «Паркер Хауз»! Поразительное совпадение! Конечно, она тогда была еще ребенком, но она говорит, что хорошо запомнила

его — у него ведь в самом деле необыкновенная внешность, Дэниел, какая-то значительность, она всегда бросалась мне в глаза. Нет, правда, в нем, наверно, было нечто замечательное, если маленькая девочка так хорошо его запомнила. Надо думать, он произвел на нее неизгладимое впечатление, раз она так горячо стремится нам помочь, хотя, вероятно, она это делает и в память о матери — она ведь знала, как Мэри Конати предана нашей семье. Я непременно ей сейчас же напишу и поблагодарю за это предложение.

Вслед за тем началась лихорадочная переписка между Беделией и Бидди Конати, каждая из которых выпаливала, как из пушки, очередное письмо, регулярно, через правильные промежутки времени, причем Беделия даже не дожидалась ответного залпа.

Дэниел сперва скептически отнесся к намерению молодой девушки добиться того, что не вышло у матери, однако не мог не отметить ее деловую хватку. Бидди сообщила уже во втором письме, как, принимая во внимание, что Том Граймс вполне мог умереть к этому времени, она изучила все записи о смерти, начиная с того года, когда, как ей наверняка известно, он был еще жив. Незаурядной дотошностью должна обладать молодая девушка, чтобы проделать такого рода работу, подумал Дэниел. Мало того, не обнаружив сведений о его кончине, она сделала вполне обоснованный вывод, что, по всей вероятности, он еще жив. Но, добавила она — и Дэниел тут усмотрел большую проницательность, — он, наверное, уже старик и, скорее всего, нетрудоспособен, и поэтому у нее возник новый план: навести справки во всех крупных государственных больницах и в приютах инвалидов, куда берут престарелых больных.

— Бедный брат, — проговорила Беделия, дочитав до этого места письмо и тщетно разжигая в себе сострадание, но испытывая лишь охотничий азарт. — Ну не прелесть ли эта девушка, верно, Дэниел? — то и дело восклицала она, когда в почтовый ящик посыпались новые письма, то спрашивающие о каких-либо подробностях, то возбуждающие слабую надежду, а то и смутные опасения.

— По-моему, она очень славная девушка, — говорила Беделия. — Когда закончится эта история, нужно будет пригласить ее сюда на лето. У ее матери, конечно, где-то здесь за городом есть родня, но мне кажется, такая девуш-

ка не станет жить в глуши, без удобств... пусть она лучше погостит у нас.

— Да, молодчина, просто молодчина,— подхватил Дэниел.— Она его еще разыщет,— сказал он.

— Ну конечно, конечно! — сказала Беделия.

Тем не менее она была порядком ошеломлена, получив письмо, из которого явствовало, что Бидди Конати действительно сделала то, что они так беззаботно пророчили: она нашла Тома Граймса.

— Ах, Дэниел! — воскликнула Беделия.— Подумай только, Бидди Конати нашла Тома Граймса!

Дэниел, и сам ошеломленный, все же заметил, что она назвала брата по фамилии, словно чужого человека.

— Он болен,— возбужденно продолжала она.— Бидди нашла его в приюте для безнадежных больных.

В ее словах не ощущалось сердечного волнения, но Дэниел не удивился, он и сам не был взволнован, только ноги почему-то ослабели.

— Она с ним разговаривала? Что он сказал? — спросил он наконец.

— Ой, она его еще не видела,— ответила Беделия.— Просто Бидди сразу же черкнула нам несколько строк, уведомляя, что нашла на след. Приют этот находится в каком-то Норвуде. Пока она только письменно связалась с администрацией и разговаривала по телефону.— Беделия вдруг осеклась — перед ней возникла новая проблема.— Я думаю, нам надо будет ей возместить все почтовые расходы и траты на телефонные переговоры,— сказала она.— Мы не можем позволить, чтобы она тратилась... будем надеяться, речь идет не об очень крупной сумме.

Однако Дэниел не стал касаться этой темы.

— Ладно, не тревожься пока, там посмотрим,— ответил он, но в его сознании мелькнула мысль, что сумма эта, может быть, не так уж мала, и стоит только им начать расплачиваться, как конца не будет расходам, в которые их вверг Том Граймс. Деньги, правда, есть, их можно взять из тех, что лежат на имя Тома в банке, но начнется волокита, деньги могут не отдать им сразу, а тем временем понадобятся наличные, впрочем, незачем тревожить зря Беделию и делиться с ней своими опасениями на этот счет.

— Лучше бы она нам написала уже после того, как повидает Тома,— заметил он.

— Ну, Дэниел, я еще никогда не видела такой неблагодарности... бедная девушка спешила как можно скорей сообщить мне новость. Я ей так признательна, но, уж конечно, разве ты можешь понять мои чувства. Речь ведь не о твоём брате идет!

Тут она извлекла носовой платок.

— Мой брат, мой единственный брат! — произнесла она рыдая. — Тяжело больной, в приюте для безнадежных... умирающих, как надо полагать. Он умирает!

Дэниел остался безучастным и невозмутимым.

— Умирает человек по имени Том Граймс, — сказал он сдержанно. — Разумеется, мы не можем полностью исключить возможность, что это твой брат, но в то же время не исключено, что это совершенно посторонний человек, случайно носящий такое же имя.

Его слова так изумили Беделию, что она лишь тупо приоткрыла рот и лицо у нее стало как у слабоумной.

— Впрочем, нет, пожалуй, это он, — поспешно сказал Дэниел. — Молодчина твоя Бидди, не будем зря ее ругать. Хорошо справилась с делом, должен признаться!

Да, Бидди Конати проявила себя с наилучшей стороны и в последующие недели проявляла себя так же. Вот только обнаруженные ею факты были не лучшего свойства.

Ее следующее письмо принесло им совершенно поразительные известия.

«Дорогие мои друзья, — писала она, — в прошлую субботу я, как собиралась, побывала в Норвуде. Там я узнала, что в числе их пациентов и в самом деле есть больной, известный под именем Томаса Граймса. Администрация мне не смогла сообщить почти никаких сведений о нем, так как в больницу его перевезли в тяжелом состоянии из меблированных комнат где-то в квартале бедноты. Как я поняла, несчастный старик совершенно обессилел от истощения».

Дойдя до этих слов, Беделия прикусила губу, но продолжала:

«У больного был полный упадок сил, однако он назвал свое имя, то же самое, как выяснилось позже, какое он назвал хозяйке меблированных комнат, которая спустя несколько дней зашла в больницу справиться о постояльце. В беседе с администрацией, однако, эта женщина не смогла о нем сообщить практически никаких данных, так как он поселился у нее вечером, как раз накануне того, как был

увезен «скорой помощью». Эта особа, с которой я непременно ~~постараюсь~~ встретиться лично, по всей видимости, не знает о нем ровно ничего. В больницу она зашла, чтобы отвести от себя обвинение в пренебрежении своими обязанностями, так как старик был очень худ и истощен. Она сдала в больницу его вещи.

Я подумала, что, может быть, среди его пожитков найдется что-нибудь, что помогло бы установить его личность. Та же мысль, как видно, возникла у администрации, и они обследовали все его имущество, но совершенно безуспешно. У него оказалось всего несколько личных вещей: поношенный шерстяной свитер, сверточек красной фланели, сколотый двумя английскими булавками, бритва и кисточка для бритья, запасная пара ботинок и железнодорожное расписание. Содержимое его карманов тоже ничего не дало для опознания его личности».

Здесь Бидди, как видно, прервала письмо, так как продолжение было написано чернилами другого цвета и гласило следующее:

«С тех пор как я начала писать это письмо, мне пришлось от него несколько раз оторваться, и вы, конечно, удивляетесь, отчего я не спешу сообщить вам, видела ли я этого человека и какое он произвел на меня впечатление.

Боюсь, мой визит оказался менее удачным, чем я надеялась. Бедный старик старался мне помочь со всей возможной добросовестностью, но врачи правы: он очень плох и с каждой секундой теряет силы. Сиделка мне сказала, что, когда дело касается приема лекарств и тому подобного, он ведет себя совершенно разумно, в то же время он никак не мог постичь, кто я такая и для чего пришла к нему. Естественно, я не могла сразу задать слишком много вопросов, но в течение нашей беседы я время от времени называла кое-какие имена, чтобы выяснить, знакомы ли они ему. Вначале я упомянула свою мать, а затем вас, причем взяла на себя смелость назвать вас не по фамилии, а по имени, после чего я постепенно завела разговор об Ирландии. Мне показалось, когда я упомянула о «родине», как называла всегда Ирландию моя мать, он как будто изменился в лице, но, конечно, у людей такого возраста трудно разобраться в выражении лица, и сиделка сказала, что, может быть, это просто судорога и что, когда его доставили в больницу, у него сильно дергалось лицо.

Мне самой все-таки кажется, что это изменилось выражение его лица, а потому на следующий день я упомянула не помню в точности о чем, но о чем-то, связанном со старыми временами и известном мне из рассказов матери, и тут уж никаких сомнений не осталось: он это помнит, во всяком случае, он, словно ребенок, закрыл лицо руками. Мне кажется, ему как будто дурно стало. Мне сделалось так жаль его... а главное, в эту минуту я совершенно ясно почувствовала, что человек этот ваш брат.

Боюсь, это письмо вас несколько разочарует, и лишь надеюсь, вы мне поверите: я сделала все, что могла. Конечно, я еще буду его навещать, и я оставила свой адрес в больнице, чтобы мне сообщили, если в его состоянии произойдут какие-нибудь изменения. Возможно, если он окрепнет, мне удастся более подробно расспросить его о его прошлой жизни.

Надеюсь, вы все здоровы и извините меня за такое бесконечно длинное письмо, но я уверена, вам интересны все подробности, которые я вам сообщаю. Жаль, что их не так много.

Искренне ваша
Бидди Конати

Р. S. Мне вдруг пришло в голову, что вы удивитесь, почему я ни словечка не пишу о том, узнала ли его я сама, ведь я говорила вам, что встречала его в детстве. Но вы понимаете, конечно, годы могут до неузнаваемости изменить человека, а тут еще болезнь и бедность. Кроме того, я всегда замечала, что прикованные к постели больные делаются совершенно непохожими на самих себя, особенно если они находятся в больнице. В довершение ко всему в те времена, когда я его, очевидно, встречала, я была еще очень мала, и за годы, что прошли с тех пор, вполне возможно, с кем-то его спутала.

Б. К.»

— Чуть несусветная, — воскликнула Беделия, едва успев прочесть последнюю строку. — Нет, она, наверно, все-таки глупа. Или глупа, или вообще никогда его не встречала. Ерунду какую она пишет о возрасте и о всем прочем: если ей хотя бы раз в жизни попался на глаза Том Граймс, она не могла не узнать его при новой встрече, разве что она совсем уж дура. — Беделия раздраженно отшвырнула письмо. — Что же она не может определить, напоминает ли

он Тома Граймса телосложением? Или чертами лица? Или, в конце концов, похож ли он на ирландца? — Она замолчала: все это было невыносимо. — Что ж это выходит? — сказала она.

И в самом деле они оказались в на редкость неприятном положении. Даже Дэниел подумал, что они зашли в тупик.

— Во всяком случае, ей нужно послать денег, — произнес он наконец.

Ибо одно казалось ясным: если этот человек — Том Граймс, он не стал миллионером вопреки всем ожиданиям Беделии.

— Нужно послать денег этой девушке и попросить ее купить ему все, в чем он будет нуждаться.

— Ну а если это вовсе не Том? — воскликнула Беделия.

Дэниел покачал головой.

— В любом случае нам едва ли угрожают большие расходы, — сказал он. — И уж наверняка расходоваться нам недолго. — Он протянул руку и взял письмо.

— Вот уж не знаю, — сказала Беделия. — Эта девушка, кажется, написала, что собирается еще раз его навестить, когда он окрепнет.

— *Если* — не когда, а *если* он окрепнет, — поправил Дэниел. — В чем я, в общем-то, сомневаюсь, — добавил он.

— Как, неужели ты считаешь, что он может умереть, а мы так и останемся в этом нелепом положении, наверняка не зная: он это или не он?

Казалось, нараставшее в течение всех этих долгих лет тревожное ожидание сейчас достигло апогея и сделалось невыносимым.

— Ох, ну можно ли быть такой душой! — вскрикнула Беделия, ломая руки. — Подумать только: мне бы на него раз взглянуть, и все бы стало ясно!

Она выкрикнула это просто в сердцах, чтобы излить овладевшее ею раздражение и досаду, но в словах ее заключалось и зернышко некой идеи: нужен был толчок, теперь идея ожила.

— А может быть, тебе туда поехать, как ты думаешь, Беделия? — сказал Дэниел.

— Ты что, с ума сошел? Мне... в моем возрасте? — возмутилась Беделия, которой в этот миг мысль о поездке казалась предельно нелепой.

Но прошло всего пять дней, и Дэниел, имевший возможность, как агент судовладельческой компании, по первому же требованию получить каюту, выехал вместе с Беделией в Белфаст, дабы сесть на пароход «Самария», отправляющийся в Бостон.

Путешествие было тяжелым. Туман, стоявший при отплытии из Белфаста, так и не развеялся в течение всего пути, и сирена выла, не умолкая. Вой этот чуть не свел Беделию с ума — она и так четыре первых дня, измученная постоянной тошнотой, не выходила из каюты.

Дэниел переносил путешествие несколько лучше. Через денек-другой он привык к морской качке, мог позволить себе предаваться невинным забавам, вроде игры в шафлбординг, и пытался определить, сколько они за день делают узлов. Кроме того, он неустанно следил за дельфинами и проявлял немалый интерес к встречным кораблям, особенно ночами. Однажды ему показалось, будто вздыбилась морская гладь, и он решил, что это кит. Вскоре появились у него и приятели, но он не рассказывал о них Беделии: это только раздражило бы ее.

На четвертый день Беделия вышла на палубу, ослабевшая, с осунувшимся лицом.

Знаменательно, что ее первой и единственной собеседницей оказалась угловатая женщина в глубоком трауре: ее муж умер во время путешествия на родину, где они не были сорок лет, и она везла его сейчас в Америку, похоронить. Тело находилось в трюме.

Женщина эта, пока не встретила Беделию, не разговаривала ни с одним из пассажиров. Зато с Беделией они быстро подружились, и их постоянно видели на палубе, где они прогуливались, погруженные в унылую беседу. Прошел день-два, и Дэниел ощутил, что неприязнь попутчиков к вдове, везущей в трюме тело мужа, распространилась и на Беделию.

В самом деле, однажды в баре, где Дэниел, хотя и был непьющим, проводил довольно много времени, поскольку там имелся стенд, на котором вывешивались результаты различных соревнований, какой-то незнакомый ему англичанин вдруг ткнул бокалом в сторону открытой двери, мимо которой неторопливо проходили обе женщины.

— Жуть берет, когда подумаешь об этом малом в трюме, верно? — произнес он. — По мне, куда умней было бы закопать его на месте, а не тащить беднягу через океан.

На миг они представили себе унылую картину: стоящий в трюме гроб, вне сомнения основательно закрепленный и обвязанный веревкой, но тем не менее воображение с живостью рисовало им мертвеца, спящего, словно челнок, взад и вперед от качки.

Они смущенно рассмеялись, оба сразу.

— Держу пари, моя старуха не стала бы так хлопотать, — сказал англичанин, и в его голосе звучало такое ласковое добродушие и теплота, что в воображении Дэниела тотчас возникла румяная толстуха, чей пышный бюст то и дело колыхнется от смеха.

Англичанин, будто прочитав его мысли, снова указал туда, где, завершив обход палубы, две женщины в черном собирались начать новый круг.

— Что-то есть в ней скользкое, — проговорил он. — Держу пари, какой-то тонкий расчет побуждает ее тащить беднягу покойничка в Штаты. Посмотрите на ее лицо: не выношу интриганок.

Дэниел вздрогнул, он понял, что тот принял Беделию за владелицу трупa. Он так сконфузился и растерялся, что не смог растолковать своему собеседнику, в чем состоит его ошибка, пробормотал нечто несвязное и ушел, но в его памяти застряли колкие слова, которыми обрисовал Беделию англичанин.

Бедная Беделия! Ее не красило морское путешествие. Опустившись в шезлонг, он попытался успокоиться и на глазок определить нынешнюю скорость судна, как вдруг увидел Беделию. Ее новая приятельница, очевидно, сошла вниз, и Беделия ожидала ее возвращения. Дэниела поразило, как скверно выглядит она — резкий морской ветер оттягивал от лица ее жидкие волосы, точно так, как годы оттянули кожу от костей. Дэниелу пришлось в голову, что, может быть, он мало о ней заботился.

— А, вот ты где, Беделия, — воскликнул он, торопливо подходя к жене. — Сегодня вечером тут, на судне, концерт, — сказал он. — Я подумал, не пойти ли и нам с тобой?

Она возмущенно на него посмотрела.

— Боюсь, я не смогу забыть о цели нашей поездки с такой легкостью, как ты, Дэниел, — проговорила она. И, по-

вернувшись, вновь со скорбным видом принялась рассказывать по палубе.

Глядя вслед ей, Дэниел подумал, что в определенном смысле она права: он наслаждается путешествием от всей души, но все же что в этом преступного? Разумеется, Том Граймс ему всего лишь шурин, но ведь и Беделия не видела его уже сорок лет, и не совсем понятно, каким образом она сохранила столь пылкие родственные чувства.

Впрочем, если путешествие доставило ему некоторое удовольствие, то по другую сторону океана Дэниел почувствовал себя ничуть не менее растерянным и неприкаянным, чем Беделия.

Во-первых, они отродясь не слышали такого грохота. Удаляясь от порта под вой сирен, они полагали, что шум и гам мало-помалу стихнут, как вдруг такси выскочило на улицу, над которой по эстакаде неслась электричка с таким оглушительным лязгом, что оба они так и остолбенели на своих местах и только ожидали, помертвев от ужаса, когда же город наконец обнаружит свою истинную суть.

Но так как Бидди Конати подыскала им гостиницу, руководствуясь одним-единственным ее достоинством — близостью к больнице, расположенной в квартале бедняков, то через несколько минут такси доставило их на улицу, мало отличавшуюся от тех, которые они уже миновали, и у них создалось впечатление, что весь город насквозь пронизан дребезгом и шумом.

А затем, не успело такси, развернувшись, остановиться у небольшого, выходявшего на шумную улицу тупичка, они увидели толпу людей.

— Что там такое, несчастный случай? — испуганно спрашивала Беделия, не решаясь выйти из такси.

Но Дэниел вытащил ее из машины и торопливо повел вверх по ступенькам к дверям гостиницы. Правда, у входа Беделия остановилась, оглянулась и, так как ей теперь уже не заслоняла ничего толпа, смогла увидеть, что там происходит. Увидеть-то она смогла, а вот понять? Отнюдь.

Она прижалась к Дэниелу, ошеломленная странным зрелищем: на деревянную раму натянута нечто похожее на обыкновенную белую простыню, а из дыры в простыне торчит черная голова, и как раз в тот миг, когда она оглянулась, какой-то стоявший в толпе человек что-то поднял — что, она не видела, может камень, а может быть репу, что-то большое и круглое, — и, прицелившись, каза-

лось, прямо в залитое потом черное лицо, промахнулся всего на дюйм.

— Господи, что они делают? — вскрикнула она, чуть не лишившись чувств.

В ее памяти мелькнули смутные обрывки разных историй о самосудах, линчевании, и она закрыла руками лицо, а тем временем уже с полдюжины мужчин, один за другим, размахнувшись, швыряли в голову негра какие-то круглые предметы.

— Ох, что же это, Дэниел? — воскликнула она опять.

— Пошли, — было единственное, что он оказался в состоянии ответить, но сдвинуться с места ни он, ни она не смогли.

А потом она увидела, раздвинув пальцы, как еще один круглый предмет шмякнулся с противным звуком прямо в лицо негра и, расплывшись, забрызгал все вокруг — потное лицо и простыню — мясистой липкой мякотью.

У нее окаменело сердце. На миг ей показалось, что расплывшись лицо жертвы, живое лицо, потом она сообразила: разлетелась вдребезги та штука, которой запустили негра в голову, некий фантастический, отдаленно напоминающий тыкву предмет.

Ну а негр, не имевший возможности отереть глаза и губы, тряс головой, пытаясь стряхнуть эту мерзость с лица, но в то же время она видела, как он хохочет, широко разевая огромный рот, а одетый в белую куртку владелец балагана торжественно вручает награду меткому стрелку, и толпа неистово аплодирует.

С отвращением, с презрением, которые полностью вытеснили охвативший ее поначалу ужас, Беделия вошла в гостиницу, и Дэниел последовал за ней, покачивая головой. Его очень огорчило, что она в самый день приезда оказалась свидетельницей подобной сцены.

Впрочем, в некотором смысле тут, возможно, не обошлось без воли провидения, ибо эпизод этот еще больше убедил ее, что Америка — непостижимая страна, и незаметно подготовил к тому, с чем ей еще предстояло столкнуться.

Бидди Конати должна была их ожидать в гостинице, поэтому, войдя в вестибюль, они не удивились, когда сидевшая там молодая женщина встала и направилась к ним. Гораздо больше удивило их ее волнение.

— Ох, я так рада, что вы наконец приехали! — вырвалось у нее, и тут же жаркий румянец залил ее милое лицо.

Умер! — подумала Беделия и сразу же произнесла свою догадку вслух.

— Да, вчера ночью, — спокойно, чуть ли не равнодушно подтвердила Бидди и с места в карьер принялась выкладывать им все остальное, так, словно смерть лишь мелкая подробность, не имеющий значения пустяк по сравнению с тем, что она собирается рассказать им. Она заговорила сразу же, даже не дав Беделии оправиться от удара, а ведь она ей, несомненно, нанесла удар. Но Бидди по каким-то ей лишь ведомым причинам сейчас не думала об этом. Ее буквально била дрожь, и говорила она не совсем связно.

— Вы простите меня, пожалуйста, — возбужденно начала она, — случилась кошмарная вещь. Я ничего вам не писала, тогда мне это не казалось важным, но сейчас я поняла, что, наверное, мне все же следовало о ней упомянуть. Видите ли, кроме меня, еще один человек навещал в больнице вашего брата... я уж теперь так его называю, хотя ничего не выяснилось наверняка. Человек этот очень богатый, у него на Среднем Западе ферма, а потом он переехал сюда, на восточное побережье, и однажды, уж не знаю точно как, он узнал, что ваш брат в больнице, и навестил его, потому что, кажется, Том — так он называл вашего брата — много лет тому назад работал у него на ферме и он очень его уважал. Должна признать, он очень щедрый человек: он принес Тому фрукты, журналы и всякое такое, а больничным сестрам велел, чтобы они ни в чем не ограничивали Тома, просто отсылали все счета ему. Я не стала спорить с ним, ведь, конечно, ваш брат вполне мог прожить на Западе все эти годы, когда никто из знакомых не знал, где он, и в общем-то, если он служил официантом, то с таким же успехом мог быть и работником на ферме...

Тут вдруг Дэниел невольно вспомнил свое собственное, высказанное много лет тому назад суждение о том, что Мэри Конати, возможно, представляется завидной должностью официанта. Что ж, у ее дочери, пожалуй, уже несколько иные представления о житейских успехах! Затем он спохватился и опять стал слушать Бидди. Она рассказывала все с большим возбуждением.

— Так вот, говорю я, я не обратила особого внимания на этого человека. Вообще-то я не видела ничего дурного в том, что он заботится о вашем брате, да и вы, я полагаю, на моем месте отнеслись бы к нему точно так же, но вчера вечером обстоятельства приняли, так сказать, неожиданный оборот. Когда я пришла в больницу, этот человек снова оказался там и отдавал распоряжения по поводу похорон вашего брата! Конечно, мне пришлось ему сказать, что заниматься этим поручено мне и что вы уже, собственно, тоже в пути и, возможно, успеете приехать к похоронам...— Она взглянула на Дэниела, потом на Беделию, и оба они кивнули, как бы подтверждая правильность ее слов.

— Ну а он что? — спросил Дэниел.

— Да в общем-то, наверное, не стоит передавать вам его ответ слово в слово,— сперва уклонилась деликатная Бидди, но, увидев, как нахмурился Дэниел, преодолела свою щепетильность.— Он мне так сказал: «А кто они такие, черт бы их побрал?» Боюсь, что вначале я составила о нем неправильное мнение: человек он несколько грубоватый и, уж конечно, очень упрямый. Разумеется, я сразу объяснила, кто вы, и тогда он сказал такое, что у меня земля заколебалась под ногами. Он сказал, что, насколько ему известно, Том Граймс никогда в жизни не бывал в Ирландии, что, судя по всему, он родился в Америке, там же, в среднезападных штатах. «Ах, ну это просто невозможно!» — сказала я и принялась ему рассказывать все, что знала о вашем брате...— Бидди осеклась.— То есть о Томе Граймсе,— поправились она.— Но он лишь засмеялся. По-моему, он вел себя не очень-то красиво, верно? И он сказал, что знает Тома Граймса тридцать лет и ни разу не слышал, чтобы тот упоминал об Ирландии.

Но тут у Беделии истощилось терпение.

— Вы хотите сказать, что вынудили нас пересечь Атлантику в погоне за химерой? — воскликнула она. Невзирая на утонченную внешность Бидди, Беделия помнила, что ее мать некогда была у них служанкой.— Ну, знаете ли...— начала она.

Однако Бидди за последние несколько часов пережила так много и пришла в такое возбужденное состояние, что просто не заметила негодования Беделии. Отмахнулась от него, и все.

— Ох, ну как же вы не понимаете,— воскликнула она с досадой.— Все гораздо хуже, чем вы думаете! Я не имела

возможности с вами связаться в течение той недели, когда вы были в дороге, но в последние дни, ну то есть перед его смертью, хотя я и не смогу сказать вам ничего определенного, у меня возникло чувство... да, всего лишь чувство, но вы ведь знаете, чувство не подводит, оно бывает совершенно безошибочным. Так вот, как я сказала, у меня возникло чувство, что, может быть, этот приезжий просто всего не знает. Он говорит: тот бедняга при нем ни разу не упомянул о родине. Ну а вдруг у него были для этого причины? Может быть, ему из гордости не хотелось, чтобы узнали, что он стал простым работником на ферме? Или, может быть, ему казалось, будто таким образом он бросает тень на вас и на вашу семью... как знать. А потом у меня появилось еще одно соображение, оно только сейчас пришло мне в голову. Я судила о Томе, сравнивая его со своей матерью и с другими приезжими из Ирландии, которые вечно толковали о земле родимой, но ведь жили-то они в деревне, как же им не толковать обо всем этом и не вспоминать кусты боярышника, кукушек, коростелей, болота и сельские проселки. Но ведь ваш брат жил только в городе. Вот вам и разгадка. Что особенного мог он вспомнить?

Тут у Дэниела невольно мелькнула мысль, что по поводу младшего поколения Конати уже не он, а Беделия ошиблась, рассуждая о том, как польщена будет эта девушка честью погостить в их доме, а не у деревенских родственников.

— Так вот, я говорю, у меня возникло чувство, что, возможно, я не так уж и ошиблась насчет этого несчастного старика, а потом, в самый последний раз, накануне его смерти, хотя он страшно ослабел, конечно, и совсем не мог говорить, я вдруг почувствовала прямо убежденность, что он ваш брат. — Бидди пожала плечами. — Разумеется, это всего лишь чувство, но я же говорю...

Беделия, однако, была женщина, так же как Бидди. Чувства эти были ведомы и ей.

— Знаю! — вскричала она.

Бидди была полностью оправдана и восстановлена в прежнем статусе союзницы и конфидантки. Беделия вцепилась ей в плечо.

— Вы думаете, этот человек мошенник? — воскликнула она. — Вы думаете, он хочет доказать, будто имеет какие-то права на нашего Тома?

Два багровых пятнышка лихорадочно загорелись на ее щеках, и она повернулась к мужу.

— Какое счастье, что мы приехали! Сколько мук я вынесла на этом кошмарном пароходе: в каюте духота, без умолку воет сирена,— но хоть не напрасно. Это провидение, перст господень. Я уверена, этот человек проведет о деньгах,— продолжала она возбужденно.— И рассчитывает ими завладеть. Вот в чем дело. Он думает, что если он сумеет доказать...

Дэниел, однако, оставался невозмутимым.

— Бога ради, успокойся, дорогая моя,— сказал он.— Неужели тебе непонятно: если этот человек проведет о деньгах — что, на мой взгляд, весьма сомнительно — и вознамерился их присвоить, что также сомнительно, поскольку Бидди рассказывает нам, что у него большое состояние,— но, если бы такая вещь все же была возможна, неужели ты не видишь, что он действует в ущерб своим же интересам. Он ведь делает как раз обратное тому, что должен был бы предпринять. Деньги-то принадлежат нашему Тому. Его Том Граймс не имел бы на них ни малейших прав. Нет, дорогая моя, боюсь, дело тут гораздо сложнее.

— Но почему же...— начала Беделия.

Дэниел пожал плечами, и даже Бидди, казалось, находилась в затруднении.

— Он говорит, что просто хочет воздать должное верному слуге,— сказала она, однако, бросив взгляд на простое, но отнюдь не дешевое платье Беделии, она покраснела от неловкости за ненароком вырвавшееся у нее слово «слуга». Возбуждение ее отчасти улеглось. Она продолжала немного нерешительно: — Он купил на кладбище участок и заказал такой красивый гроб, и говорит...— Она хотела рассказать о памятнике, который видела на рисунке, как вдруг что-то вспомнила и, слегка смущаясь, извлекла из сумочки небольшую пачку денег.— Это деньги, которые вы мне перевели по телеграфу на похоронные расходы,— сказала она. Дело ясное — не по силенкам ей было тягаться с фермером из среднезападных штатов.— Я тут никак не виновата, вы понимаете, надеюсь,— добавила она. И в этот миг видно было, что она совсем-совсем неопытна, а главное, глубоко сожалеет о том, что ее втянули в это предприятие.

— По-моему, не так уж важно, кто его похоронит,— немного успокоившись, добавила она.— Мертвому это без-

различно, — проговорила она с вызовом. — А памятник, который заказал для Тома этот человек, такой красивый — он мне показывал рисунок в каталоге похоронного бюро, — лучшего вы бы не выбрали, он в полном смысле слова не жалеет никаких затрат.

Бидди явно намекала на то, что на один лишь этот памятник не хватило бы всех присланных ими денег.

— К тому же он распорядился, чтобы за упокой его души отслужили несколько обеден, — добавила она после короткой паузы. — Это я предложила. Видите ли, у старика на шее был образок. Я о нем не знала, когда отправила вам первое письмо. Мне сказали о нем уже после его смерти: сестра спросила, как с ним быть. Я ответила, чтобы оставили на нем, конечно, и сразу все забыла, а вспомнила, только вернувшись домой. Там меня вдруг осенило, что этот образок как раз и есть недостающее доказательство. Но когда я поделилась своими соображениями с мистером Коултером — так зовут этого фермера, — он сказал, что это ровно ничего не значит. Он говорит, он в жизни не встречал ирландца, который бы не нацепил себе куда-нибудь образок. Он говорит, если Пэдди * валяется на земле, наклюкавшись или после драки, то, расстегнув ему рубашку, сразу наткнешься на образок. — Бидди пожала плечами.

— Вы сами видите, я сделала все, что могла, — сказала она. — Но куда уж мне до него.

Потом, вероятно осознав, что над ней уже не висит ответственность, столь тяготившая ее, она повеселела.

— Зато теперь, когда вы здесь, — бодро произнесла она, — скажите ему все сами. Я ему говорила, что вы приезжаете сегодня. — Бидди виновато покосилась на часы. — Я сказала, что, как только вы прибудете, мы немедленно отправимся в больницу.

Дэниел бережно обнял Беделию.

— Ну как, Беделия, ты сможешь? — спросил он.

На вопрос этот, конечно же, существовал только один ответ. Все целиком зависело от ее свидетельства.

Она встала.

— Мы покончим с делом за несколько минут, — успокоительно проговорил Дэниел. Он терпеть не мог мелодрамы. — Едва ли эти люди станут опровергать свидетельство родной сестры покойного.

* Прозвище ирландцев. — Здесь и далее примечания переводчиков.

Говоря об «этих людях», он имел в виду и больничную администрацию, и фермера со Среднего Запада. Лишь одно тревожило его, и, выходя из дверей гостиницы, он шепотом задал вопрос Бидди.

— Нет, нет, об этом не беспокойтесь,— сказала Бидди.— Они дали мне слово, что не закроют крышку, пока вы на него не поглядите.

Это было очень утешительно. Портье остановил такси, и Дэниел усадил туда обеих дам. Беделии было сейчас не до разговоров. Она сидела, отвернувшись к окну. Дэниел, считая себя обязанным проявлять учтивость по отношению к Бидди, повернулся к ней и слушал ее болтовню.

— Они очень порядочно себя ведут, это нужно признать, ведь обычно в больницах терпеть не могут никаких отклонений от правил,— лепетала Бидди.— По правде говоря, они считали меня круглой душой, когда я отвергала предложения этого человека. Они не понимают, чего ради я поднимаю вокруг этого такой шум, если его хоронят по католическому обряду.

Невзирая на торжественность момента, она хихикнула.

— Они думают, я должна быть счастлива, что такие пышные похороны устраиваются за чужой счет.

Впрочем, увидев лицо Дэниела, она вновь стала серьезной.

— Они сказали, что, если мы будем устанавливать его личность, дело страшно затянется, а особого смысла в этом, в общем-то, нет. Шум им ни к чему, и их не стоит осуждать за это, но все-таки, по моему, они слегка давили на меня, пользуясь тем, что я молодая, да к тому же женщина...— Она вопросительно посмотрела на Дэниела, и Дэниелу пришлось кивнуть.

— Их позиция, должна вам сказать, изменилась, когда они узнали о вашем скором приезде. Вот тогда-то они согласились отложить похороны на несколько часов.

Такси приближалось к больнице. Беделия, слушая, будто во сне, лепет Бидди, смотрела в окно на запруженные народом тротуары, по которым, казалось, струились нескончаемые потоки людей. Время от времени ей мерещилось, будто она видит в толпе молодых людей, чем-то неуловимо напоминающих Тома, хотя ни один из них не был так привлекателен, как он.

Том был так хорош — возможно, отчасти его и сгубила его красота. Интересно, сохранил ли он былую привлека-

тельность за годы, которые протекли с тех пор, как они расстались?

Он сильно изменился, к этому нужно быть готовой, твердила она себе, но слова эти скользили по поверхности ее сознания, и она видела его таким же, как в последний раз: молодым, веселым, насмешливым, а в памяти возникали слова, которые так часто говорились о нем: «маленький принц». И на глаза ее навертывались слезы и струились по щекам.

В первый раз со времен детства в душе ее не оставалось места интриганству. Улетучились все меркантильные соображения. Казалось, светлый ангел сошел с небес и опустился рядом с ней в темном автомобиле, озаряя лучезарным сиянием все вокруг.

Дэниел, который наблюдал за ней украдкой, заметил, как преобразилось выражение ее лица, но не знал, что ей сказать, что сделать. Сиявший перед нею ослепительный свет он замечал не в большей мере, чем дневной. Ибо, подобно миллионам таких же простых смертных, он прожил в его лучах всю свою жизнь. Он боялся только, как бы она не расплакалась сейчас, уже возле самой больницы. Он неловко похлопал ее по колену.

— Ты не жалеешь, что мы приехали? — спросил он и поразился страстности, с которой прозвучал ее ответ.

— О нет, я рада... я так рада, Дэниел.

И правда. Ее сердце было полно любви к брату, к маленькому братцу, о котором она заботилась в детстве, как мать, к брату, к веселому, беззаботному брату, чье обаяние оказалось столь опасным для него, что ей пришлось распорядиться его участью и услать его прочь, к брату, который по одному лишь ее слову оборвал все связи с родиной и семьей и уехал в чужие края!

Много лет она не чаяла еще раз увидеть его лицо, но сейчас ей этот случай все-таки представился. Увидеть это лицо, — пусть не живое, а мертвое, — но главное, увидеть его вновь — печаль, столь утонченная, что это почти радость.

Ибо это, разумеется, он — в ее сердце не было сомнения.

Такси остановилось.

— Приехали! — сказала Бидди.

— Сюда, Беделия! — сказал Дэниел, когда они поднимались по ступенькам.

— Сюда, пожалуйста! — сказала сестра, когда они шли по длинному белому коридору.

— Вот! — невольно вырвалось у Дэниела, когда сестра открыла перед ними дверь комнаты, в которой лежал труп.

— Вот!

Прошло сорок лет с тех пор, когда Беделия в последний раз видела того, чье бездыханное тело, тяжелое, как камень, непокрытое, лежало сейчас перед ней. Прошло сорок лет с тех пор, как она видела в последний раз это лицо... если она его когда-то видела. Так ли это? Страшная картина немощи и нищеты вставала перед ней, и она уцепилась за сомнение, как за надежду.

Что, если эти люди правы и человек этот совсем не ее брат? Разве могут так изменить внешность даже долгие-долгие годы, даже смерть?

Какой у него нос! Нос Тома никогда не выглядел таким заострившимся и обтянутым. Волосы, хотя совсем седые, такие же упругие и жесткие, как у него. Но ведь Том был выше ростом?

Лихорадочно она высматривала все новые подробности.

А потом голос... нет, несколько голосов принялись по-пугать ее.

— Ну что? — спрашивали они, Дэниел и Бидди и еще кто-то, на кого она даже не взглянула.

— Ну что? — казалось, спрашивала она сама себя.

Она вгляделась еще раз в лицо покойника. Но если это и был ее брат, что-то их разъединило, что-то оборвало узы крови, и она не узнавала его. А если б я лежала тут, подумала она, то он бы меня не узнал. И совсем не важно то, что некогда их, возможно, породило одно и то же чрево. Сейчас они были чужими.

— Я не знаю, — жалобно прохныкала она. — Я не могу сказать... я...

На ней скрестились все взгляды, и гнусавый голос, звучавший то близко, то далеко, как бывает в те мгновения, когда еще только начинает действовать анестезия, все повторяя одно и то же, вновь и вновь.

— Это же ненормально, это же просто ненормально!

А потом, когда ее повели из палаты, она услышала громкий плач и истерический крик какой-то женщины, и до ее сознания лишь очень смутно дошло, что она сама и есть та женщина, так неподобающе ведущая себя.

На улице их дожидалось такси, и она бросилась туда сломя голову. Ведь сюда к ней сошел ангел и сел возле нее, озаряя все вокруг сиянием любви. Так, может быть, она опять почувствует тут то же самое, ибо и сейчас, как тогда, она свободна от всего меркантильного и сердце ее открыто. Но слишком стар был, слишком уж растрескался этот сосуд, и чувство не держалось в нем, даже самое драгоценное чувство, даже крохотная капля его.

Ангел не сидел в такси. Там было тесно и душно, и сильно пахло ногами.

Сын-патриот

Вот уже два года, как Шон Монгон не заходил в лавку Конерти — так что же понадобилось ему теперь?

Из переднего окна Мэтти видел, как Шон размашисто шагает по улице. Минуту спустя он прошел в дверь и направился к прилавку.

— Ну как, Мэтти, выставишь это в своем окошке? Ты ведь славный малый, — небрежно сказал он и развернул плохо отпечатанную афишу: бумага была наподобие промокательной, и буквы поплыли пятнами.

Насколько Мэтти мог видеть, это была театральная афиша — в центре грубо выполненное изображение девушки в зеленом, текст, похоже, на гэльском или по крайней мере набран гэльским шрифтом. Он отчасти догадывался, что это такое, и с тревогой поглядел через лавку в сторону галантерейного отдела, где его мать обслуживала покупателя. Монгонов она никогда не любила. И хотя Мэтти помнил время — до того как напротив появились новые казармы, — когда их собственное заведение было не больше, чем у Монгонов, все же мать и тогда называла заведение Монгонов затхлой, дрянной лавчонкой и удивлялась, как эти люди могут есть что-либо купленное там.

Но Монгоны торговали неплохо, особенно с фермерами из окрестностей города. Как-то, еще ребенком, он спросил мать, почему фермеры не ставят свои двуколки и запреженные осликами тележки у них во дворе, как они делают это у Монгонов.

— Потому что мы живем напротив казарм, — быстро ответила мать и, выдвинув из-под прилавка ящик, пустила серебро струйками между пальцев. — Один человек из ирландской полиции, который идет к нам с наличными в

руке, лучше двадцати двуколок во дворе и грессбуха, распухшего от записей долгов! Боже, храни полицию!

И когда они тут же увидели в окно, как начальник полиции, выпятив живот и размахивая руками, идет по улице, она покачала головой и воскликнула:

— Подумать только, разве это не ужасно, что такой чудесный человек имеет врагов!

Сначала он не понял, что она хотела сказать.

— Кое-кто никак не может успокоиться и забыть былые обиды,— продолжала мать.— Все эта ожесточенность фениев! Она, как болезнь, передается от отца к сыну. Спаси нас, господи!

И тогда он понял, что ее язвительные замечания адресованы Монгонам потому, что дед Шона был фением. Монгоны хранили его мундир в коробке на пианино. Однажды после школы Шон привел Мэтти к себе посмотреть на него. Но Мэтти был достаточно осторожен, чтобы ничего не сказать об этом матери. Она терпеть не могла фениев.

— Ох, сынок, ты ничего не знаешь о том, как люди пострадались в те дни,— сказала она.

Этот разговор происходил на кухне. Он делал за кухонным столом уроки, а она помещивала в горшке на плите. Но смотрела она в окно и несколько минут спустя тяжело вздохнула.

— Будет ужасно, если все это начнется опять,— сказала она тихо, почти про себя, и выражение ее лица до смерти испугало его.

— О чем ты говоришь, мама? — воскликнул он.

Она повернулась к нему.

— Боюсь, сынок, еще осталось в земле дурное семя,— сказала она.— Начальник полиции был у нас недавно и кое-что рассказал мне: опять какие-то люди занимаются строевой учебой на холмах! — С минуту она глядела в сторону, потом повернулась и пристально посмотрела ему в глаза.— Слава богу, ты пока еще ребенок!

Мэтти недовольно заерзал на стуле; он вовсе не был таким уж ребенком, на следующий год он кончал школу.

Как раз в конце того года открылись курсы гэльского языка. Они начинались вечером в школе, и мастер Каллен вел их бесплатно. Нечего и говорить, что Шон Монгон первым стал их посещать.

— Ну, Мэтти, приходи! — кричал он.— Иди к нам!

У нас будет весело. Мастер Каллен сказал, что потом, чтобы согреть нас, он сдвинет скамьи, и мы чуточку потанцуем. Повеселимся на славу. Мастер Каллен знает все старинные джиги и рилы, и «Стены Лимерика», и «Атлонский мост». Вот будет веселье так веселье!

Со своей стороны Мэтти был склонен посещать эти курсы просто для того, чтобы не отставать от жизни. Но он боялся, что ему скажет мать. Он знал ее мнение о возрождении языка.

— А что потом? — спросила она, когда впервые прочитала о Гэльской лиге и курсах языка, которые открылись в Дублине. — Они что, хотят тащить людей назад, вместо того чтобы двигаться вперед?

Ему никогда не хватило бы смелости сказать ей, что он ходит на курсы.

— Я должен спросить мать, — робко ответил он. Шон посмотрел на него сначала с недоверием, потом презрительно.

— Может, тебе нужно спроситься и у полиции? — сказал он. — Негоже их обижать, они ведь такие хорошие покупатели!

Мэтти почувствовал, что его лицо заливается краской. И это не укрылось от Шона.

— Извини! — неожиданно сказал он, и улыбка, как всегда такая обаятельная, озарила его лицо. — Я немного раздражен последнее время. Не обижаешься? Просто мы не хотим, чтобы полиция совала нос на наши курсы. Они готовы объявить их нелегальной организацией. Что ни говори, они жуткие идиоты!

Показалось это ему, думал Мэтти, или Шон действительно хитро поглядел на него тогда? Так или иначе, он не ходил на курсы той зимой. Не ходил он на них и следующей, хотя окончил школу, а Гэльская лига добилась признания по всей стране и уже имела свои отделения в каждом городке и деревне. Ну а курсы мастера Каллена существовали открыто и безбоязненно. Почти вся молодежь города ходила на них, и даже кое-кто из людей постарше взял за обыкновение навещать туда и допоздна стоять у дверей, наблюдая танцы. Даже полицейские нередко забредали в школу и стояли в дверях.

Тут уж мать Мэтти вряд ли могла запретить ему посещать курсы, но она надолго задерживала его в лавке, и он так выматывался к тому времени, когда надо было наве-

шивать ставни, что, придя на школьный двор, был способен лишь слоняться вместе с другими зеваками около дверей. Все это выглядело очень безобидно, он видел только пыль и жару, потные лица людей, рукоплескания и топот ног.

Но в иные вечера выходить было и вовсе поздно, и тогда, перед тем как лечь спать, он выглядывал из окна, и огни школы, мерцаая над крышами домов, тревожили его так же, как в детстве его тревожили сказки о волшебных огоньках, которые мерцали на мрачном болоте, маня людей к безрассудству и гибели.

Именно поэтому он был рад, что мать не давала ему впутываться в то, что происходило в школе. У него зародились сомнения, так ли все это безобидно, как кажется.

А теперь эта пьеса? Была ли она тем, чем ей полагалось быть — всего лишь маленьким развлечением, или же здесь таился какой-то иной умысел? Он с сомнением глядел на афишу, которую его попросили вывесить.

Но Шон, видя его колебания, засмеялся.

— Тебя ведь так просто не проведешь, да? — сказал он и подмигнул дружелюбно и открыто. Затем вдруг перегнулся через прилавок:

— Официально это «Ирландская девушка», но мы подправили порядочную часть текста. Понимаешь? Это кое-что поважнее, чем курсы ирландского языка, джиги и рилы, — настала пора и нам проявить побольше мужества. Времена меняются, не так ли? — сказал он и, рассмеявшись, кивнул на казармы, через дорогу. — Мы далеко ушли вперед с той поры, когда нервничали из-за этих вечерних курсов в школе! Теперь они знают о них все, или по крайней мере думают, что знают, но они боятся что-либо предпринять, чтобы не спутать овец с козлицами. Они не знают, кому верить, а кому нет. И таким образом можно их одолеть. Я слышал, они уже перестают верить даже друг другу. Ну и пусть их. Ты не читал в газете об одном полицейском, который...

Но в этот момент Мэтти почувствовал на себе недобрый взгляд матери, смотревшей на него с другого конца помещения, и увидел, что у прилавка стоит маленький мальчик с псплenni в руке.

— Извини, Шон, я сейчас, — смущенно выговорил он. — Надо обслужить этого малыша.

Он надеялся, что Шон уйдет. Но вместо этого Монгон взял в руки афишу.

— Я сам прикреплю ее на окне. По-моему, тут для нее самое подходящее место, как ты думаешь? — сказал он и, склонясь к окну, повесил афишей набор чашек и блюдца, продававшихся на этой неделе чохом по сниженной цене.

Когда мальчик ушел, он снова повернулся к Мэтти.

— Ты знаешь, о чем я подумал? — сказал он и хихикнул. — Я подумал, что это тебя мы должны были изобразить на афише — маленький чертенок лавочник и знамя вокруг руки в знак того, что ты олицетворяешь Ирландию сегодня.

Мэтти пристально смотрел на него. Может быть, он хотел пошутить? Но тогда это плохая шутка, ведь мать могла услышать весь их разговор.

Однако Шон как будто не шутил, во всяком случае, вид у него был не такой уж веселый.

— Бедная, темная Ирландия, — добавил он неожиданно тихим голосом, как будто разговаривая сам с собой. — Бедная, темная Ирландия, которая не хочет, чтобы ее спасали!

Мэтти пожал плечами. Должно быть, Монгон свихнулся, решил он, и еще сильнее, чем прежде, ему захотелось, чтобы его оставили в покое.

Но Шон все не уходил, он стоял, облокотившись на прилавок, и оглядывался по сторонам.

— Давненько я у вас не бывал, правда? — сказал он. — Но как я погляжу, здесь все по-прежнему. Вы ничего не изменили, так ведь?

Его взгляд, казалось, праздно блуждал по всей лавке и наконец остановился на обитой зеленым сукном двери в конце помещения. — Эта дверь ведет в дом, верно? — спросил он. — Через нее мы обычно бегали во двор и обратно.

— Да, — равнодушно ответил Мэтти. Ему хотелось избавиться от Монгона. Он чувствовал, как глаза матери сверлят его затылок.

Наконец Шон решил уйти.

— Ну, пока! — сказал он без всякого перехода и вышел из лавки.

Отчасти поддавшись всегдашнему обаянию Шона, отчасти чтобы избежать взгляда матери, Мэтти подошел к окну и стал смотреть, как Шон идет по улице. Но он слы-

шал, как мать прошла через лавку, и вот она уже стояла рядом и глядела в окно.

— В нынешние времена следует быть осторожней и думать о том, с кем тебя могут увидеть, Мэтти. Сержант сказал мне, что некоторые люди в городе под наблюдением. Не удивлюсь, если Шон Монгон один из них. Надеюсь, он не станет постоянно ходить сюда к нам. Кстати, чего он хотел?

И прежде чем Мэтти успел ответить, она увидела афишу, повесившую посуду на окне. Мгновение — и она сорвала ее.

— Так вот что его сюда привело! — воскликнула она, и, по мере того как она вчитывалась, в ее глазах разгорался недобрый огонь. В следующую минуту она в ярости разодрала афишу пополам. Мэтти был уверен, что сейчас наступит его черед, но она заговорила удивительно мягко, чуть ли не подольщаясь к нему:

— Я думаю, ты был прав, сделав вид, будто мы согласны повесить ее. Но разве не было бы ужасно, если б ты забыл ее снять, а начальник полиции зашел бы и увидел?

Мэтти смотрел на клочья афиши. Мать давала ему понять, что, если бы не она разорвала ее, он бы сам должен был сделать это.

Было бы действительно неудобно, думал он, если бы начальник полиции зашел в лавку, а афиша висела бы на окне. Но будет в десять раз неудобнее, если Шон вернется и нигде в лавке ее не увидит.

Что ему тогда делать, думал Мэтти, чувствуя себя глубоко несчастным. Ему хотелось бы, чтобы мать не вмешивалась в его дела. Она вообще любила вмешиваться в чужие дела, как никакая другая женщина. И так было всегда, с самого его детства. Она во всем диктовала ему свою волю. Всегда одно и то же, думал он с горечью. Он никогда не сможет говорить и делать что-то свое, пока она держит его за горло. И он никогда не избавится от нее, она никогда не позволит ему ни найти себе девушку, ни тем более жениться и привести ее в дом. Да и нет во всем городе девушки, у которой хватило бы смелости выйти за него замуж и жить в одном доме с нею.

И вдруг у него в голове причудливо вспыхнул образ девушки с афиши, и, хотя он лишь мельком взглянул на нее, теперь ему показалось, что она обладает какой-то без-

мерной силой, властью, которая может одолеть любого врага — даже его мать.

Женщина на бумаге! Я, должно быть, свихнулся, решил он и стал придумывать оправдание на случай, если Шон вдруг обнаружит, что они убрали афишу.

Но прошло три или четыре недели, прежде чем он снова встретил Шона. И обстоятельства встречи заставили обоих забыть об афише.

Как-то вечером Мэтти раньше обычного управился с делами, и ему вздумалось пойти прогуляться к школе, посмотреть на танцы. Но когда он завернул в школьный двор, он, к своему удивлению, обнаружил, что окна школы темны и в ней никого нет. Мэтти подошел к двери и дернул за ручку. Дверь была заперта. Однако когда он поднял голову, то уловил в прохладном весеннем воздухе слабый запах дыма от сигарет, а взглянув под ноги, увидел на гравии свежие отпечатки велосипедных шин и следы ног. Итак, они здесь были! Но почему они так рано ушли?

С тревогой двинулся он из черной тени здания на открытый, залитый лунным светом двор. В голове мелькнула смехотворная мысль: волшебные огоньки! Может, это они выманили их — эту веселую толпу — из теплых жилищ на холодные, бесчувственные холмы и темные склоны лощин?

По его спине пробежали мурашки, но он рассмеялся над своей глупостью и пошел домой спать.

Спал он плохо, его беспокоили сны о сказочных призраках и безлюдных лощинах, и проснулся он, как только занялся рассвет. Он встал и подошел к окну.

Перед ним была обычная картина, представавшая его глазам каждый день с раннего детства, — безобразные бетонные стены новых казарм, их пристройки и сараи с кровлями из рифленого железа.

И тут, когда он уже хотел вернуться в постель, между казармами и рифлеными крышами он увидел зеленые, озаренные рассветом поля за городом. И, чего никогда не случалось при свете дня, эти поля позвали его: это был чистый, свежий зов. Не раздумывая, он подчинился этому зову и через несколько минут, крадучись, уже спускался по лестнице, стараясь не разбудить мать. На улице он помедлил и с опаской посмотрел на окна казарм. Полицейским, случись им увидеть его, может показаться странным такое раннее появление его на улице. Ведь слухи о том, что мужчины занимаются строевой подготовкой, теперь уже не

были столь неопределенными. По всей стране мужчины занимались строевой подготовкой, а те, кто не был к этому причастен, благоразумно избегали делать что-либо необычное. Впрочем, в казармах все еще спали, и он выскользнул из города незамеченным.

Примерно в двух милях от города стоял старый, заброшенный замок, глубоко осевший в сочный заболоченный луг. Иногда летом Мэтти любил, пройдя через луг, бродить по темным галереям и сводчатым аркадам замка, но зимой это пустынное место служило ему только ориентиром. Здесь он обычно поворачивал домой. И этим утром тоже при виде замка он готов был повернуть назад, когда его взгляд привлекла тонкая струйка дыма, вьющаяся в воздухе над одной толстой каменной трубой. И почти в тот же момент с другой стороны живой изгороди у дороги он услышал плеск в небольшом ручье, который в этом месте бежал вдоль изгороди.

Он непроизвольно вскрикнул и перегнулся через изгородь. К его изумлению, это был Шон Монгон. Сначала, казалось, он хотел дать стрекача, но через секунду понял, что перед ним Мэтти.

— А, так это ты! — воскликнул он.

Его тон задел Мэтти за живое.

— А ты думал, кто это? — вскрикнул он, словно обстрекавшись о крапиву. — Ты думал, это полиция?

Однако он не ожидал, что Шон одернет его так резко.

— Что ты знаешь, Конерти? — сказал Шон.

Мэтти пристально смотрел на него. Это был он — Шон Монгон, которого Мэтти знал всю свою жизнь; это был он — там, по другую сторону изгороди, такой щедедушный, тоненький, как девочка. И выглядел он — Мэтти и это подметил — усталым и осунувшимся, словно не выспался, и все же в нем таилась угроза, что-то опасное.

Но не страх захлестнул Мэтти, нет, это было восхищение, смешанное с завистью.

— Я ничего не знаю, — сказал он искренне и даже печально. — Но я хотел бы! — добавил он с таким жаром, что Шон уставился на него во все глаза. — Да, — закричал он отчаянно, — я хотел бы участвовать в этом — во всем, что происходит, что бы это ни было, — я всегда хотел, но моя мать стала между мной и этим, я говорю о Движении, — отважно закончил он.

Шон продолжал разглядывать его.

— Я не уверен, о том ли ты говоришь,— рассудительно возразил он.— Впрочем, наверное, о том. И я рад хотя бы слышать это от тебя... Но ты опоздал, Мэтти. Тебе придется остаться одним из зрителей.

Он имеет в виду курсы гэльского языка, подумал Мэтти, и ему стало стыдно — так скоро трусость взяла над ним верх.

— Иди назад в свою лавку, Мэтти,— сказал Шон мягко, но тоном, не допускающим возражений.— Сыновья лавочников скоро начнут снимать ставни, и твоя мать удивится, почему ты не на ногах и не занимаешься своим делом. Она будет стучаться в твою дверь. Двигай назад на всех парах. Ведь не хочешь же ты, чтобы она допрашивала тебя? Это, понимаешь ли, не пошло бы нам на пользу! — Сам он при этом глядел на восток, где быстро встающее солнце пробивалось сквозь деревья, словно сквозь решетку.— Я должен идти,— закончил он небрежно в своей обычной манере и размашисто зашагал к старому замку, представив Мэтти безутешно смотреть ему вслед.

Он был бос, заметил Мэтти, штанины закатаны, мокрая трава налипла на щиколотки и разлиновала белую кожу на полоски.

Хоть это и немного, но ему все же доверили хранить молчание, думал Мэтти с горечью, пока уныло брел домой.

Ставни лавок в городе были все еще на окнах, и, добравшись до своей улицы, он увидел, что даже казармы закрыты и их трубы еще не дымят. Кроме старика, который толкал ручную тележку с соломой, на улице не было ни души. И даже этот старик имел какой-то нелепый, словно во сне, вид в своей потрепанной одежде, с ветхой тележкой, одно колесо которой вихляло так, будто вот-вот должно было выкатиться из-под нее.

Улыбаясь, Мэтти следовал за вихлясто шагающим стариком и его тележкой, и тут, как раз когда он собирался завернуть в дверь своего дома, колесо, вильнув в последний раз, действительно отвалилось, и тележка со стуком осела на ось, так что груз вывалился из нее.

Старик сыпал громкими проклятиями, а Мэтти от души хохотал.

Дверь казармы открылась, один из полицейских высунул голову, тоже засмеялся и кивнул Мэтти. На этом, казалось, происшествие было исчерпано, и Мэтти вошел в лавку, чтобы заняться своей ежедневной работой. Позже, сня-

мая ставни, он видел, как старик попытался насадить колесо, но добился лишь того, что гнилое дерево отскочило от обода, и тележка снова упала на мостовую. Перебросившись парой слов с полицейскими, старик пожал плечами и пошел прочь по улице, очевидно, чтобы отыскать что-нибудь для починки тележки или раздобыть другую и увезти солому, которая на свежем утреннем ветру начала разлетаться по улице и уже почти завалила вход в казармы.

Но полицейские, в течение дня заходившие в лавку за сигаретами и табаком, восприняли это происшествие вполне добродушно. Раздосадована была только его мать.

— Хорошенькое дело! — воскликнула она в двадцатый, если не в сотый, раз, подходя к окну и выглядывая на улицу. — Ну и беспорядок!

В середине дня, в одну из тех минут, когда мать стояла у окна, Мэтти заметил, что она нахмурилась, и, бросив взгляд через ее плечо, он увидел, что по улице к лавке направляется Шон.

— Чего теперь надо этому парню? — воскликнула она и, словно не в состоянии вынести его вида, вышла из лавки.

Что касается Мэтти, то происшествие с опрокинутой тележкой вытеснило из его головы события раннего утра. Но сейчас, при появлении Шона, его сердце учащенно забилось.

Может, Шон пришел за ним? Мэтти заспешил ему навстречу.

Но Шон был спокоен и деловит.

— Привет, Мэтти, — сказал он легко и непринужденно. — Найдется у тебя пара банок керосину?

Такой возврат к обыденности вызвал у Мэтти раздражение. Значит, он пришел лишь по делу. Шон демонстративно бросил на прилавок фунтовую бумажку.

С минуту Мэтти колебался. Торговля керосином давала совсем небольшую прибыль, и это был неудобный товар: его приходилось держать вне лавки, в коридоре у двери во двор, и всегда приходилось остерегаться, чтобы его запах не испортил чего-нибудь еще. Поэтому они держали керосин только для постоянных покупателей.

— Извини, что надоедаю тебе, — сказал Шон, словно угадав неохоту Мэтти. — Я, конечно, не ваш покупатель. — Он выдержал паузу. — Обычно мы берем керосин у Флинна, но... Понимаешь, сегодня у них нет, — запнувшись, закончил он.

— Ну ладно,— ответил Мэтти и начал стягивать с себя свой рабочий халат.— У тебя есть банка? — спросил он, не в силах устоять перед искушением оказать услугу и дать свою, но тут же пожалел об этом, когда Шон начал извиняться.— Ладно, неважно,— поспешно сказал Мэтти.— Вот сюда! — И он вышел через зеленую дверь в маленький коридор, где стоял объемистый бак с керосином. Там он наклонился и взял в руки жестянку.— Сколько тебе?

Но Шон едва слышал его, так внимательно он осматривал коридор.

— Ну, вот эту до верха,— рассеянно ответил он и, подойдя к двери во двор, открыл ее и выглянул наружу.— Да, здесь все по-старому. Я хорошо помню это место. Могу ходить здесь с закрытыми глазами! — Он шагнул назад и показал на другую дверь, как раз напротив зеленой, ее называли передней дверью.— А это выход на улицу перед домом, так ведь? Обычно на улицу мы проходили через нее.

Но Мэтти не тронули эти воспоминания об их мальчишеской дружбе, как и в предыдущий раз, когда он их слышал. Он пропустил их мимо ушей.

— В нее входит галлон,— сказал он и, приладив крышку к жестянке, протянул ее Шону.

Но Шон заглянул в темный угол между баком и стеной и, увидев, что там свалены в груды несколько старых банок, взял две в одну руку и три в другую.

— Наполни-ка и эти тоже. Не возражаешь? — бросил он небрежно.

Мэтти был одновременно и раздражен, и удивлен.

— У тебя что, машина? — спросил он, наполняя четвертую банку.

— Нет,— кратко ответил Шон.— Но я управлюсь с ними как надо.— Он подхватил две банки.— Эти я возьму с собой, а за остальными зайду потом. Можешь поставить их где-нибудь поближе к улице. Хотя лучше я оставлю их все и раздобуду что-нибудь для перевозки. Но это может быть поздно вечером, лавка, наверное, будет закрыта, тебе лучше оставить их в передней, если сможешь. Как раз за дверью передней, наверное, самое подходящее место,— сказал он и выпрямился.— Ты понял? — добавил он, на взгляд Мэтти, весьма нагло для человека, которому делают одолжение. Но, очевидно, Шон вовсе не хотел оскорбить его, так как он наклонился и поднял две банки: — Я тебе

помогу. Мы вполне можем поставить их туда сейчас, и не будет никаких недоразумений.

— Ничего, не нужно, — ответил Мэтти.

Он думал о том, как отругает его мать за то, что он захламляет переднюю, но потом решил, что она все равно редко туда заглядывает, к тому же там настолько темно и пыльно, что она может ничего не заметить, даже если и зайдет. Но он предпочитал собственноручно поставить их туда чуть попозже.

— Все в порядке, — сказал он, накрывая крышкой бак с керосином. Не дожидаясь его, Шон собрался было уходить, но потом вдруг обернулся.

— Что, в баке много осталось? — спросил он.

Думая, что Шон хочет попросить еще керосину, Мэтти демонстративно захлопнул крышку.

— Всего несколько галлонов, — сказал он, — больше я не могу тебе дать. Не могу же я опорожнить для тебя весь бак. Это никуда не годится — оставлять наших постоянных покупателей ни с чем.

— О, мне больше не надо, — сказал Шон. — Я получил больше чем достаточно. Просто я подумал, что было бы неплохо, если б этот бак сегодня ночью был пуст.

Мэтти поднял глаза. Это была одна из тех загадочных фраз, которые за последнее время он слышал со всех сторон, и он хотел оставить ее без внимания, как вдруг у него мелькнула мысль, что... Нет, это было слишком чудовищно.

— Ты не собираешься... Не хочешь же ты сказать...

И тут ему вспомнилась тележка с сеном, которая в этот поздний час все еще стояла возле казарм. И хотя ничего больше не было сказано, он понял все.

— Ты не сделаешь этого! — закричал он. — Только сумасшедший может пойти на такое дело!

— Не ори, дурак, — оборвал его Шон. Потом, уже спокойнее и понизив голос, добавил: — Не думал я, что ты так скоро сообразишь. — Он смотрел на Мэтти чуть ли не с восхищением. Но затем придвинулся к нему поближе, и Мэтти, чувствуя себя стесненно оттого, что Шон стоял так близко к нему в тесном коридоре, опустил глаза и увидел дуло пистолета, торчавшее у него из кармана. — Я только хотел оказать тебе добрую услугу, но смотри, не обрати добро во зло.

Мэтти судорожно глотнул.

— Я не знаю, о чем ты говоришь!

Шон тут же отодвинулся от него.

— Вот это верный подход! — воскликнул он, хлопнув себя по бедру. — Я ничего тебе не говорил, а ты ни о чем не догадался. Вот так!

Мэтти, хотя и был испуган, держал себя в руках.

— Все в порядке, Шон. Можешь на меня положиться.

Было явственно видно, как Шон на мгновение расслабился.

— Знаю, — ответил он. Но затем снова заговорил напряженно: — Речь идет не только о моем собственном доверии, но и о доверии двух или трех десятков человек, может быть, даже всего Движения... — жестко сказал он.

Хотя Мэтти начала бить дрожь, он не отвел взгляда.

— Я знаю, — твердо ответил он.

— Думаю, что знаешь, — сказал Шон спокойно. Затем внезапно ткнул жестянки ногой. — Не стану я задерживаться, чтобы поставить их в переднюю. Ты можешь сделать это за меня.

Это было поручение, с которым мог справиться и ребенок, но за ним стояло безграничное доверие. Мэтти молча кивнул. Лицо его было мертвенно-бледно, и, видимо, заметив это, Шон обнял его за плечи.

— Слушай, я тебе ничего не сказал — об этом мы договорились, но я не вижу причин, почему бы тебе не спустить весь этот керосин в канализацию, — он кивнул на бак, — а еще ты мог бы найти причину быть подальше отсюда сегодня вечером. Я не думаю, что тут будет особенно опасно, но, понимаешь ли, улица узкая, и многое зависит от того, куда дует ветер... Этого никогда не угадаешь... Ты мог бы взять с собой кое-что ценное — деньги и прочее, — но, конечно, ничего такого, что будет заметно со стороны, ничего, что может привлечь внимание.

Это следовало понимать как дружеский совет. Мэтти это сознавал. Но в то же время он чувствовал что-то унижительное в такой уступке.

— Спасибо, Шон, — сказал он спокойно. — Но думаю, что я останусь здесь. — Тут он с ужасом вспомнил о матери. — А как же мать? — воскликнул он. — Мне кажется, ее надо увести отсюда.

Шон только пожал плечами:

— Если ты сможешь сделать все так, чтобы это не показалось подозрительным. Я имею в виду — ей.

— Предоставь это мне,— сказал Мэтти, желая успокоить его.— Я не сделаю глупости.

Улыбка Шона, казалось, осветила темный коридор.

— Кто не против меня, тот со мной, так что ли? — сказал он и, пройдя через лавку, вышел из дома.

Беря по две жестянки за раз, Мэтти перенес их в переднюю. Там было темно и становилось еще темнее оттого, что день был на исходе. С некоторым облегчением он подумал о том, что по крайней мере не так уж много времени осталось ждать. Чтобы это ни было, это должно начаться довольно скоро. Время закрывать лавку еще не пришло, но ставни были уже внесены со двора и стояли у стены. Когда лавка закроется, ему больше не придется волноваться из-за того, что мать может обнаружить жестянки. Да, это вполне разумно, что они оставили их около двери передней.

Со времени закрытия лавки прошло уже больше часа, когда она наткнулась на них.

— Мэтти, что здесь делает весь этот керосин? — закричала она.

Мэтти был в задней части дома, опасаясь, что если он будет в одной из передних комнат, то может себя выдать, слишком часто выглядывая на улицу. И как раз в тот момент, когда он соображал, что ей ответить, и нервы его были натянуты до предела, его настороженный слух уловил какой-то звук на улице. Не обращая внимания ни на что, кроме этого звука, он застыл на месте.

Мать тоже что-то слышала.

— Кто-то кричал? — спросила она, с побледневшим лицом выходя из передней.— Слушай! — приказала она.— Полицейские кого-то окликают!

Но другой звук, много слабее криков и окликов, всецело завладел вниманием Мэтти. Это было слабое потрескивание, и через минуту он почувствовал запах гари. Затем и его мать уловила этот запах.

— Боже милостивый! — закричала она.— Это пожар... Это казармы... Казармы горят! — Она хотела выбежать на улицу, но он, вытянув руку, преградил ей путь. Она стала бороться с ним.— Ты дашь мне пройти? — кричала она.— Что с тобой?

Но что-то в выражении его лица дало ей ответ.

— Боже мой! — прошептала она, не пытаясь больше пересилить его.— Это не злонамеренно, нет?

Злонамеренно! Это слово было из гражданской жизни, которую он, не сознавая до сих пор, уже давно оставил. Злонамеренно... Сильнее, чем все другие слова, которые одно за другим определяли различие между ними, начиная с того времени, когда он был ребенком, оно одно показало, что они разъединены навсегда. Но он ничего не ответил. Она лихорадочно крестилась.

— Господи, помоги им! — шептала она. — Попались, как крысы в ловушку. — Потом вдруг ход ее мыслей резко изменился. — Куда дует ветер? — закричала она. — Уж не сюда ли летят искры? — Она повернулась к коридору. — Бак с керосином! — воскликнула она. — Хватит одной искры...

Но, не кончив одной мысли, она думала уже о другом.

— Эти банки в передней! — закричала она. — Убери их оттуда. — И так как он не двинулся с места, она сама бросилась к двери. Он схватил ее за руку.

— Оставь их там, мать. Они могут прийти за ними в любую минуту.

— Они? — Она круто повернулась к нему. И тогда вся чудовищность правды обрушилась на нее.

— Боже милостивый! — закричала она. — Не для этого же ты продал керосин? Ты все знал и ни словом не обмолвился мне — не это же ты хочешь сказать... Мы могли бы предупредить их... мы могли бы... — Она ломала руки. — Мы могли бы что-нибудь сделать, — простонала она. Затем разом овладела собой. — Быть может, еще не слишком поздно. Эти банки в передней — ты говоришь, они придут за ними! Тут я им испорчу обедню, так или иначе. Нечего номинать про то, что сделано: проку от этого никакого. Благодарение богу, им никогда не узнать, что ты был как-то замешан в этом... Она вырвалась из его рук и была уже у двери, но там не выдержала и обернулась. — Ах, как ты мог сделать такое? — кричала она. — Разве я не предостерегала тебя против этого всю мою жизнь? Ты что, думаешь, горстка дураков сможет одолеть хорошо обученных полицейских? Да полиция разнесет их вдребезги, вот увидишь. И тебя вместе с ними, если узнает об этих... Но, даст бог, они не узнают. Иди сюда, помоги мне!

Однако, когда она подняла банки, голоса на улице стали громче, послышался топот бегущих ног, следом сильный удар в дверь, около которой они стояли, и затем тяжело, неистово в дверь заколотили два кулака.

— Это Шон! Ему нужны банки,— сказал Мэтти.— Он пришел за ними! — кричал он, пытаясь вырвать банки из рук матери.

В дверь снова застучали кулаками.

— Пустите меня, ради Христа,— послышался голос. Это в самом деле был Шон.— Оставьте эти чертовы банки, только откройте дверь.

Оба, мать и сын, выпустили банки из рук, и керосин полился на пол; через секунду передняя наполнилась резким запахом. Но банки они выпустили из разных побуждений.

— Не смей открывать дверь! — завизжала женщина и кинулась вперед.

Но Мэтти опередил ее, и дверь открылась.

Шон едва не упал на них и, шатаясь, прошел в переднюю.

— Какого черта ты не открывал дверь! — прохрипел он, тяжело дыша и хватая ртом воздух.— Теперь закрой ее, дурак! — закричал он на Мэтти, который, словно загипнотизированный, стоял и смотрел на него.— Закрой и запри ее! — крикнул он.— Закрой на эти цепи.— Он показал на старую, ржавую цепь, которая висела с внутренней стороны двери, но никогда не использовалась.— Все провалилось,— сказал он, отдышавшись.

Мэтти поднял глаза.

— Это не я...— начал он.

— Знаю,— ответил Шон и горько засмеялся.— Ты был бы сейчас мертвее мертвого, если бы это был ты! Нет, эта чертова солома — вот что нас подвело... Похоже, она отсырела, пока валялась весь вечер на улице. Она не занялась, когда мы пришли ее поджечь... Только тлела, и фараоны учуяли дым. Но мы успели убратсья! — воскликнул он.— Хоть это-то хорошо. И если у нас ничего не вышло сегодня, то выйдет в следующий раз. Слышишь? — сказал он.— Они рыщут по улице, но, я думаю, им не придет в голову искать меня здесь.— Он снова сухо засмеялся.— Им ввек не догадаться, что ты патриот!

Но было слышно, как кто-то приближается к дому.

— Что это? — вскрикнул Шон и снова насторожился.

— Они идут сюда,— прошептал Мэтти. С него лил пот.— Слышишь?

Шон прислушался.

— Я слишком многого ожидал,— спокойно сказал он.— Мне надо трога́ться.

И он побежал в задний коридор. Но около бака с керосином он остановился.

— Брошу эту штуку сюда в темноту,— сказал он и, стянув с себя старую белесоватую полушинель, которая неизменно была на его плечах, так что стала чем-то вроде его второй кожи, он швырнул ее за бак.— Без нее мне легче двигаться,— крикнул он,— да к тому же ночью ее слишком хорошо видно!

Они совсем забыли о старой женщине, но, так как в этот момент послышался сильный стук в дверь, пришлось снова вспомнить о ней. Она возилась с цепью и засовами.

— Слышу, слышу, констебль! — кричала она.— Открою сию минуту. Он ушел через черный ход!

Мэтти почувствовал, как стыд, словно пламя неудавшегося пожара, охватил его. Но даже в этот ни с чем не сообразный момент Шон поднял руку и на секунду задержал ее на его плече.

— Это не твоя вина,— сказал он и, открыв дверь во двор, готов был уже нырнуть в темноту. Но на самом пороге заколебался и вдруг обернулся.— Погоди-ка! Может, она принесла мне больше пользы, чем вреда! — воскликнул он.— Подопри-ка дверь так, как будто она всегда открыта,— вот этим.— Он показал ногой на старую железную гирю, лежавшую на полу. Затем, взглянув на остолбеневшего Мэтти, громко рассмеялся и скользнул за дверь.

Все было так просто. Мэтти тупо смотрел в пространство. Он с трудом соображал, но, насколько он мог понять, это был шанс, пусть даже и очень небольшой. Если только мать не видела их! Но они стояли за баком, и дверь в лавку, которая почти закрылась за ними, загораживала вид из передней. Это могло сработать!

Сильнейшее возбуждение овладело им. Если б только он мог что-нибудь предпринять! Если бы он мог сбить полицию со следа.

Вдруг он заметил за баком старую скомканную полушинель. Он подскочил и вытащил ее.

В ту же минуту он услышал, как дверь на улицу с треском открылась и полицейские ворвались в переднюю.

Натягивая на себя полушинель, Мэтти подбежал к двери во двор, но у порога задержался на миг, пока не услышал, что топот достиг двери в лавку. Они должны заметить его. Через секунду он уже мчался по двору.

Что же хотел сделать Шон? Перебраться через сарай в соседний двор, оттуда в следующий и так далее?

В детстве они часто лазили на эти сараи, но хотя теперь он выбрал самый низкий из них, маленький свиной закут в углу, он обнаружил, что в нем нет уже прежней ловкости. И все же ему удалось ухватиться за зазубренный край кровли из рифленого железа, и в страшной спешке он стал карабкаться на нее. Когда его глаза оказались на одном уровне с железом, он увидел, что двор был темным только из-за обступающих его строений; небо над ним сверкало звездами. И его душу вдруг наполнил такой, казалось, слившийся с самими звездами восторг, какого он еще никогда не испытывал. И еще ему показалось, что то, что ускользало от него всю его жизнь, вдруг разом пришло к нему.

Продвинув руки дальше на ржавое железо и оторвавшись ногами от опоры, он со страшным напряжением поднял свое тело вверх. В следующий момент дом позади него наполнился криками и затем — оглушительно, так, будто стреляли прямо ему в глаза, рот, уши, — воздух раскололся от выстрелов. И в тот же миг он почувствовал, как режущая боль, словно лезвие ножа, пронзила сбоку низ его живота.

Они накрыли меня, подумал он, и упал ничком. Но эта мысль не уничтожила его восторга, который, казалось, все нарастал и нарастал, так что под конец его охватило какое-то опьянение, и он лежал, чувствуя, как теплая кровь сочится, пропитывая его изорванную одежду.

Лишь через несколько минут ему пришла мысль — почему они не вышли его искать? С того места, где он лежал, он, подняв голову, мог видеть дом и освещенный квадрат двери, через которую он выбежал. Из нее никто не вышел! Все они до сих пор были внутри, полицейские и — да, конечно — его мать тоже.

Он с трудом поднял голову: они над чем-то склонились. Сначала это что-то было похоже на старый мешок с картошкой, затем вдруг дернулось, и он увидел, что это тело, — тело Шона Монгона.

И тут же боль, которая терзала его, опять словно разодрала его внутренности, и, протянув руку, он нащупал зубчатый заусенец из ржавого железа, вонзившийся в него наподобие пули.

Тут голос его матери выделился из других голосов, которые слышались теперь внизу, во дворе.

— Он там наверху, на крыше свиного закута! — воскликнула она заискивающе. — Должно быть, он до смерти перепугался!

И, подойдя поближе, она позвала его:

— Ну, слезай же оттуда, дурачок!

Среди полей

Ее дом одиноко стоял среди полей, словно утес в море, омываемый травами, и пасущиеся коровы погружались в них, как в воду. Их неторопливые движения как-то успокаивали ее, и, когда они уходили на ночь под защиту леса, ей не хватало близости этих живых существ. В дождливый день иногда влажно блестела крыша сарая на том берегу реки, — сарая, а не человеческого жилья! И все же здесь, в Мите, она меньше тосковала о нем. Дневные заботы и хлопоты, ночные безымянные страхи, словно камни, замуровывали вход в склеп. Но кто это понимал? Соседи думали, будто она лелеет каждое воспоминание о нем. Что они понимали! Что такое память? Слово, за которым скрываются высохшая любовь и бесплодная тоска! Они даже бередили ее душу собственными пустяковыми воспоминаниями о нем. «Как гляну туда, так и кажется, что сейчас его увижу, — говорили они, прощаясь с ней в дверях и бросая испуганный взгляд на темнеющие поля, — вот-вот появится из-за деревьев!» Господи, думала она, только я о нем забыла на минуту!

Когда она глядела на поля, она видела вовсе не его, а безобразные метелки колосющихся трав, похожие на клоушья пены в бушующем море. Надо бы нанять кого-нибудь скосить верхушки. А во сколько это обойдется?

Нед, старый пастух, посоветовал, к кому обратиться:

— Поговорите с Бартли Кроссеном, мэм. Самый для вас человек. Ваш-то муж хорошо его знал.

Сначала она не поняла, о ком он говорит. Потом вспомнила:

— Да-да... Это же его сарай вон там? Ну конечно! Я его хорошо знаю — то есть я его много раз видела.

Она действительно много раз видела, как он проезжал по дороге в большом автомобиле. Колеса машины всегда

были облеплены глиной, кузов забрызган грязью, а рядом с ним всегда сидела жена.

— Так я скажу ему, чтобы он к вам заехал, мэм,— сказал Нед.

— Только засветло!

Но его можно было не предупреждать. Старый пастух знал, как она спешила до наступления темноты запереться у себя наверху, рядом с комнатой, где спали дети, отчаянно надеясь, что больше ей не придется спускаться вниз, и особенно, не дай бог, открывать кому-нибудь дверь. Этого она боялась пуще всего — что в дверь постучат, когда стемнеет.

— Само собой, мэм, кто же станет тревожить вас по ночам? Вы же в доме одна с малыми детьми, а те еще проснутся и расплачутся. Хотя и то сказать, чего вам опасаться? Кругом поля, да безгрешная скотина спит.

Если ему самому приходилось стучаться в дом поздно ночью — согреть воду для поранившей ногу коровы или вызвать по телефону ветеринара,— он всегда кричал еще издалека: «Это я, мэм!» — «Иду, иду!» — благодарно откликнулась она с быстротой эха, отпирала свою дверь, сбегала вниз по лестнице и распахивала входную дверь. Тут уж ей было неважно, который час и как черна ночь.

— Идите ложитесь, мэм,— говорил он из темноты, откуда, раскачиваясь, приближался свет фонаря, точно носовой огонь причаливающей лодки.— Я сам потушу свет и захлопну дверь.

Сознание, что в доме кто-то есть, приносило ей облегчение, и она действительно бежала наверх, ложилась в постель и, что самое удивительное, погружалась в дрему еще до того, как раздавался стук захлопнутой двери. Ей казалось, что дверь стукнула где-то в неизмеримой дали.

Да, можно не беспокоиться: он скажет, чтобы Кроссен приехал пораньше.

И действительно, Кроссен подъехал к ее дому задолго до темноты. Жена, как обычно, сидела рядом с ним, плотно сжав колени и напряженно выпрямив спину — так когда-то сидели в открытой двуколке. С ними приехал и старый Нед, но из машины вылезли только мужчины.

— Может быть, ваша жена зайдет в дом и подождет внутри, мистер Кроссен? — спросила она.

— Ничего, мэм, она любит сидеть в машине. Так что вам нужно скосить? А камней там нет? А то лезвие затупится.

Он обошел крыльцо и окинул взглядом луг.

— Ни камешка, ни пенька,— сказал Нед.— Скосите одним махом — не то что в каком другом месте, где пожкосилки раз двадцать приходится править.

— Пожалуй, что так,— отозвался Кроссен, но как-то рассеянно, подумала она.

Он прошел через двор и облокотился на ветхую калитку, которая вела на выгон. Но смотрел он, казалось, вовсе не на луг, а на протянувшиеся вдоль берега реки низкорослые кусты боярышника, так низко склонившиеся над водой, что их корни почти совсем вывернулись из глинистой почвы.

Вдруг он повернулся к ним и вздохнул.

— Верно-верно, мне и смотреть незачем было. Я ваш выпас знаю как свои пять пальцев.

Заметив удивление на ее лице, он весело, по-молодому рассмеялся:

— Когда я был молодым парнем, я тут встречался с девушкой. Как же давно это было! — Он обернулся к старому пастуху.— Помнишь? — Затем он опять посмотрел на нее.— Вас, наверно, в ту пору и на свете не было, мэм,— сказал он добрым голосом. Взгляд у него тоже был добрый.— Вам побыстрее эти верхушки обкосить? Так, может, завтра утром?

Лицо ее обрадованно посветлело. Но надо было еще договориться о цене.

— Не беспокойтесь, мэм, я с вас много не возьму.

— Что ж, спасибо,— сказала она с некоторым сомнением в голосе.

За спиной Кроссена Нед одобрительно закивал.

— Вы уж не добивайтесь от него точной цены,— прошептал он ей, когда они все шли к машине.— Он человек верный.

Когда Кроссен с женой уехали, Нед сказал:

— На кого, на кого, а на него положиться можно.

Ему хотелось окончательно развеять ее сомнения. Затем он засмеялся — тоже неожиданным для человека его возраста молодым смехом, словно игриво толкнул ее локтем в бок.

— А слышали, он помянул девушку, с которой тут встречался? Знаете, кто она была? Его первая жена! Ведь он женат во второй раз. Да только так давно это было, откуда же вам знать. А сам-то он о ней как говорил — была, мол, девушка, а что за девушка, почти что и забыл! Это боярышник ему про нее напомнил! Они там, бывало, встречались, когда у них все только началось — совсем еще молодые были. Бедняжка Брайди Логан — и отчаянная же была девчонка! И как она его любила, даром что лет ей было совсем немного. Началось у них еще в школе, только никто этого всерьез не принимал, а уж он-то меньше всех — пока не уехал зимой учиться в сельскохозяйственную школу в Клонакилти. Тут она начала писать ему письма. Бывало, чуть не каждый вечер вижу — бежит к почтовому ящику на перекрестке. Да, почитай, вся деревня знала, кому она пишет письма. Его родители прямо на стенку полезли, когда он летом им объявил, что в школу больше не вернется, а женится на Брайди, и никаких. Ну, все ж таки его отец выделил им домик у себя на участке — все чин чинном. Сейчас там телят держат — такой домишко позади нового дома. Но вы по нему не судите — в ту пору это был не домик, а картинка. Брайди хоть и взбалмошная была девчонка — никогда не знаешь, что ей втемяшится, — но видели бы вы, в каком она его порядке держала. До дыр, наверно, протерла бы, если бы не понесла. Тут уж он ей запретил и в руки брать щетку.

— Она была слабого здоровья?

— Брайди? Да она была крепкая, как молодая козочка. Что вы! Я ведь говорил, что она по нему с ума сходила? Так вот, и после свадьбы все то же осталось. Да куда там, еще пуще забрало. Ну просто не знала, как ему угодить. Будто ее какой огонь изнутри жег. Смотришь — даже глаза блестят, как в лихорадке. Одно скажу: за всю свою жизнь я не встречал женщины, чтобы вот так угомону не знала. Вы, наверно, видели, как птички носятся в небе вроде бы просто оттого, что им силы девать некуда? Видели, как они иногда вроде как подпрыгивают в воздухе, точно им хочется взлететь еще выше — выше, чем им положено? Вот и Брайди так — все носилась по дому, и то делала, и это, чтобы только ему угодить. А он и так в ней души не чаял — да и ребеночек у них скоро должен был родиться.

— Она родами умерла?

— Нет. То есть не совсем. Родила-то она легко, прямо у себя дома, и обошлось ему это всего в несколько шиллингов, что он заплатил повитухе — раньше у нас тут повитухи ребят принимали. И все шло хорошо. Скоро она и на ноги встала. Я к ним зашел как раз в тот день, когда она опять принялась хозяйничать. Гляжу — он собирается идти доить коров, а она уже встала и оделась. И вот она смотрит ему вслед с порога, а сама так глубоко вдыхает утренний воздух. «Как хорошо, — говорит, — что опять можно выходить наружу». А потом вдруг как закричит ему: «Подожди, почему бы мне не пойти с тобой?» Поглядела на ребенка — он спит себе в колыбели у окна.

«Далеко идти, Брайди, не надо!» — кричит он в ответ. Стадо их паслось на лужке у реки — ну там, где дорога холм огибает по эту сторону деревни. И он шаст за ворота с бидонами — чтобы она не стала его уговаривать.

«Молодец!» — думаю про себя. А она вдруг бегом через двор.

«Далеко идти, так поеду на велосипеде», — говорит. Вскочила на свой старый велосипед и давай крутить педали. Догнала его и понеслась дальше.

«Брайди, ты с ума сошла!» — он ей кричит, а она в ответ:

«А что мне сделается?»

Я аж похолодел, глядя, как она несется. Мне показалось, что и он испугался: гляжу, бросил бидоны и кинулся за ней под гору. Да только теперь-то я так полагаю: он просто заразился от нее горячкой, что всегда бушевала у ней в крови. Оба они были полоумные от любви, она его все подманивала, а он и рад стараться.

«Подожди!» — кричит. Тут она стала тормозить, еще не спустившись с холма — ногой, как ребятишки делают, и такое облако пыли подняла, что ее почти что не видно стало.

— Значит, слишком резко затормозила?

— Да нет же! В один момент остановила велосипед, повернула его назад и давай опять крутить педали — в гору. Голову пригнула к самому рулю, прямо как гонщик. Вот это ее и доконало!

— Господи! Но что случилось?

— Вдруг она перестала работать ногами, и велосипед почти остановился, а потом поехал назад — вроде как его занесло на гравии с краю дороги. Так по крайней мере мне показалось, да и он, видно, подумал то же самое, и

мы оба побежали вниз. Она даже упасть не успела — мы к ней раньше подбежали. Только это уж было без толку. У нее началось какое-то внутреннее кровотечение. Мы отнесли ее домой и уложили в постель, прибежали соседи, но она все равно к вечеру умерла.

— Какой ужас! А ребенок?

— А что ребенок? Крепкий был мальчонка, и вырос из него красавец парень. Он у Кроссена сейчас трактор водит — Бартли его зовут, его старший сын.

— Так значит, второй его брак в конечном счете оказался более удачным?

— Так оно и есть. Она хорошая женщина, его вторая жена. И сына Брайди выпестовала, и сама, что ни год, ему по сыну рожала. Вот и выходит: что ни случается, все к лучшему, — сказал Нед и повернулся, чтобы уйти.

— Подожди, Нед! — воскликнула она. — Как ты думаешь: он и в самом деле ее забыл и не вспоминает никогда?

— Как пить дать, — ответил старик. Он посмотрел на нее и добавил потеплевшим голосом: — И вы забудете. Верно вам говорю. Со временем все проходит и все забывается.

Она недоверчиво покачала головой.

— Да, да, да, — закивал он. — Дерево упало — разве его тень останется стоять?

И он ушел.

— Неужели правда? — думала она, направляясь к дому. Как у них все просто!

Что бы природа ни натворила, здесь все заживает так же быстро, как вывороченный ком земли опять зарастает травой.

Вечером, поднявшись к себе в комнату, она поглядела в окно, в сторону реки, и ее мысли вернулись к Кроссену. Неужели он на самом деле все забыл? Она не могла поверить и, со вздохом взяв щетку, принялась расчесывать волосы. За последнее время ее волосы потускнели, как вся она, и висели тяжелыми прядями, но, наэлектризованные щеткой, они через несколько минут поднялись, стали воздушными и разметались вокруг ее лица, точно брызги над гребнем плотины. Такими они были всегда, даже когда она была совсем маленькой. Бывало, мать только проведет щеткой по ее спутанным кудрям, заставив ее сморщиться от боли, как тут же вскрикивает: «Смотри, смотри — электри-

чество!» — и в темной глубине зеркала, как звезда, вспыхивает голубая искра.

Этим и истерпывались их познания об электричестве в то далекое время тускло освещенных комнат, когда между столами, шкапами и диванами пролегали долины, полные густой тени. Может быть, потому они так часто и видели голубую звездочку, что вокруг стоял полумрак? Ей вдруг нестерпимо захотелось увидеть ее еще раз. Порывисто встав, она выключила свет.

В эту самую минуту кто-то поднял дверное кольцо на входной двери и громко, уверенно постучал.

В таком стуке не таилось никакой угрозы — даже окаменев от страха в темноте, она все-таки почувствовала это. Затем снизу донесся уверенный голос, показавшийся ей знакомым:

— Это я, мам! Вы еще не легли?

— А, мистер Кроссен! — с облегчением отозвалась она, выбежала на лестничную площадку и открыла окно, выходящее во двор. — Сейчас спущусь!

— Не надо спускаться, мам! — крикнул он. — Мне вам только одно слово сказать!

— Нет, нет, конечно спущусь!

Она вернулась в спальню надеть халат и зашпилить волосы, но тут услышала, как он криптит ногами. Днем было тепло, но к вечеру похолодало, и, хотя уже давно наступила весна, с реки дул пронизывающий ветер.

— Сейчас спущусь, а то вы совсем застынете! — крикнула она и, завернув волосы жгутом, не стала их закалывать, а прижала рукой и босиком побежала вниз.

— Вы уже ложились, мам, — сурово сказал он, едва она открыла дверь. Минуту назад он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а сейчас застыл в дверях и не спешил входить. — Я подъехал — гляжу, внизу света нет, — добавил он сокрушенно. — Но мне и в голову не пришло, что вы уже ложитесь спать. — Тем же суровым тоном — посмейте, дескать, это отрицать!

— Да ничего подобного, — солгала она, чтобы его успокоить. — Я просто сидела наверху и расчесывала волосы. Извините, — добавила она: сквозняк приподнял полы ее халата, и, чтобы запахнуть лучше, она отпустила волосы, которые рассыпались у нее по плечам. — Закройте, пожалуйста, дверь, — смущенно сказала она, пятясь к лестнице. — Проходите в гостиную. — Она кивнула на дверь, ко-

торая вела из прихожей в небольшую гостиную. — Зажгите свет, а я сейчас приду.

Но, хотя он послушно переступил порог и закрыл за собой дверь, в гостиную он не пошел, а остался стоять посреди прихожей.

— Не надо мне было приходиться, — сказал он. — И не говорите, что вы еще не ложились. Что, у меня глаз нет! — воскликнул он тем же суровым тоном — посмейте, дескать, это отрицать! — и вдруг произнес другим голосом, глядя на ее волосы: — Извините, мэм, но до чего же у вас красивые волосы. Дал же бог! — торопливо прибавил он, словно опасаясь, что она сочтет его слова за дерзость. — Вроде бы пустяк, а как меняет человека, — сказал он, не в силах сдерживать восхищение. — Ну прямо молоденькая девушка!

Она невольно улыбнулась. Но все же его надо было одернуть.

— Ну, молоденькой я себя вовсе не чувствую, — резко ответила она.

Однако ее слова возымели обратное действие: с него сошла вся скованность, и он весь просиял.

— Ну конечно, я вижу, вы женщина разумная, — сказал он и, подойдя к лестнице, непринужденно облокотился о перила. — Мне всего и надо-то сказать одно слово — не стоит вам из-за этого подниматься вверх. Всего минутку, и я поеду домой. Жена не ляжет спать, пока я не приеду, так уж мне нельзя задерживаться.

Она заколебалась. Зачем он заговорил о жене — чтобы в свою очередь и она почувствовала себя непринужденно.

— Надо хотя бы туфли надеть, — нерешительно проговорила она. У нее застыли ноги.

— Ну это конечно, — воскликнул он, только сейчас заметив, что она стоит босая. — А остальное неважно — прошло то время, когда я замечал, как женщина одета. Да и женщин-то я давно уж не замечаю.

Тут она увидела, что можно надеть на ноги. Под столиком в прихожей стояли старые сапоги Ричарда на меховой подкладке. Она так и не решилась отдать их вместе с его прочей одеждой, и, хотя они были ей велики и выглядели на ее ногах нелепо, она часто надевала их, приходя домой с поля в облепленных глиной башмаках.

— Ну хорошо, зайдите хотя бы в теплую комнату, — сказала она, спустилась в прихожую, сунула ноги в сапоги и открыла дверь гостиной.

Хорошо, что она решила не подниматься наверх! Он бы ни за что не сумел зажечь свет в гостиной.

— Верхняя лампа не горит,— сказала она, нащупывая за письменным столом штепсель настольной лампы. Розетка была почти у самого пола, и ей пришлось стать на колени.

— А что сломано-то? — спросил он, пощелкивая выключателем. Как всякий деревенский житель, он живо интересовался всем, что относится к хозяйству.

— Да пустяки,— рассеянно отозвалась она.— Ага!

Вилка наконец вошла в розетку, и яркий свет залил комнату.

— А почему вы не оставляете вилку в розетке? — с недоумением спросил он.

— Не знаю,— ответила она.— Кажется, кто-то мне сказал, что на ночь вилку лучше выдергивать. А то может случиться короткое замыкание, или мыши прогрызут шнур, или еще что-то — я уж теперь и не помню. Ну я и привыкла, выдергиваю теперь, не думая,— закончила она, чувствуя себя довольно глупо.

Он, однако, всерьез задумался над такой возможностью.

— По-моему, ничего случиться не должно,— заключил он и оставил эту тему.— Так вот, насчет завтрашнего дня, мэм,— сказал он небрежным, как ей показалось, тоном.— Я решил обязательно вас сегодня увидеть, потому что всегда держу слово — особенно если дал его женщине.

О чем это он?

— Дело вот как обстоит,— торопливо продолжал он.— Вы, конечно, понимаете, что обкашивать верхушки — это та же работа, что и вообще косить траву. Времени понадобится столько же и труда столько же. Лезвие косилки ступится так же.

Она кивнула, настороженно ожидая, что за этим последует.

— С другой стороны, мэм, я первый готов признать, что для вас это не одно и то же. Срезка верхушек не дает прямого дохода, не то что сено...

— От нее вообще нет никакого дохода! — сердито воскликнула она.

— Ну положим, мэм, это не так. Хороший луг приносит очень даже приличный доход. Вы же понимаете, что, если вы не будете о нем как следует заботиться, вашей скотине придется есть не сладкую нежную травку, а жест-

кий бурьян. Просто отдача бывает не сразу, вот поэтому я и решил взять с вас меньше, чем за косьбу.

— Знаю, знаю,— нетерпеливо сказала она.— Но я думала, мы об этом уже договорились.

— Я от своего слова не отказываюсь, не подумайте,— благодушно сказал он.— Как же вам не помочь, мэм, когда у вас нет мужчины в доме и вам приходится обо всем думать самой?

— Не беспокойтесь, я за себя умею постоять,— сказала она, повысив голос.

И опять ее слова возымели действие, противоположное тому, на которое она рассчитывала. Он добродушно рассмеялся.

— Все женщины так думают! Ну и вот,— продолжал он таким тоном, будто они на чем-то порешили, и это ей совсем не понравилось,— мне было бы удобнее — а вам-то ведь все равно — несколько дней повременить с вашей работой, ну скажем, до тех пор, когда дело будет ближе к сенокосу. Я бы тогда наладил косилку, наточил нож и вообще привел бы все в порядок. А сейчас, пока пахота еще не вся закончена, мне придется без конца их менять — то плуг прицеплять, то косилку,— не очень-то это удобно.

— Да кто же сейчас пашет? — Она бросила на него жесткий взгляд.— Признайтесь уж, что кому-то пообещали сделать раньше, чем мне!

— Ну что вы, мэм! Никому я не обещал. То есть обещать-то обещал, но сказал, что сначала спрошу вас.

— То есть сначала сообщите мне, что завтра не придете!

— Ну зачем же так, мэм? Я просто стараюсь сделать, чтоб всем было удобно.

Но она уже всерьез рассердилась.

— Старая песня! Я думала, вы не такой, как все. Сначала тому, потом другому, а мои луга пусть зарастают!

Он был явно смущен.

— Да нет, мэм, ничего подобного. Хотя, прямо скажем, некоторые считают, что обкос верхушек — пустое дело.

— А я так не считаю!

— Может, в этом и есть смысл,— неохотно сказал он.— Только, по-моему, когда скашиваешь в июле сорняки, это то же самое.

— Если верхушки срезать до того, как трава пойдет в колос, она разрастается так густо, что через нее не про-

бьются никакие сорняки,— крикнула она сердито, не замечая, каким властным стал ее тон.

— Мать честная, вот уж не думал, что вы так хорошо во всем этом разбираетесь, мэм,— сказал он, глядя на нее с восхищением, хотя уступать явно не собирался.— И все-таки, мэм, днем раньше, днем позже — разница невелика.

— Очень большая разница! Через несколько дней будет поздно. У меня хоть трава и хорошо растет, а внизу подстил гравия. Если несколько дней не будет дождя, трава может высохнуть до корня. Что тогда косить? Откуда возьмется сладкая, нежная травка, про которую вы говорили? — Забывшись, она сердито передразнила его выговор.

Он поднял руки.

— Никуда не денешься — раз взяли над тобой верх, значит, взяли. Пусть даже и женщина. Я свое слово не нарушил, тут уж вы спорить не будете.

— Да уж, как ни старались,— зло сказала она, хотя, настояв на своем, уже несколько остыла.— Может быть, выпьете чаю? — спросила она, желая показать, что вопрос решен окончательно.

— Нет, мэм, спасибо. Мне пора домой.

Он встал.

Она тоже встала.

— Только, пожалуйста, не думайте, что я хотел вас как-то обойти,— сказал он, направляясь к двери.— Просто своя рубашка ближе к телу, верно? А вы и вправду можете за себя постоять, ничего не скажешь. Никто ведь и не думал, что вы останетесь здесь после смерти мужа. Из-за детей, наверно? — Он посмотрел вверх.— Спят уже?

— Давно,— безразлично отозвалась она и открыла наружную дверь. Опять внутрь ворвался ночной воздух. Но на этот раз он принес издалека слабый запах свежескошенного сена.— Кто-то уже начал косить! — удивленно воскликнула она. И подставила лицо ветру, вдыхая его аромат.

Какое-то мгновение Кроссен глядел мимо нее в темноту, потом обернулся и спросил:

— А вам не тоскливо здесь одной по ночам?

— Вы хотите сказать — не страшно? — поправила она его ледяным тоном.

— Ну да, не страшно? — несколько обескураженно сказал он.— Да только чего вам бояться? Куда уж безопаснее — кругом ваши собственные луга.

Это было настолько справедливо, а он, стоя перед ней с шапкой в руках, источал такую уверенность, такое спокойствие, что казалось невозможным объяснить, почему, закрыв за ним дверь, она бросится вверх по лестнице, как перепуганный ребенок.

— Может, вам покажется странным, но иногда мне так страшно, что сил нет. Я чуть не умерла от страха, когда вы постучали. Потому я и сижу наверху, — продолжала она все с той же откровенностью. — Я всегда ухожу наверх, едва стемнеет. В своей комнате мне не так страшно.

— Подумать только! — сказал он. Видимо, для него это была еще одна женская странность. Но все-таки он ей сочувствовал. — Не годится вам быть одной, вот что. Вот уж не повезло, так не повезло.

— Что поделаешь, — ответила она. Его сочувствие было ей в чем-то неприятно, и все-таки оно ее согрело. — Хотите мне помочь? — вдруг решила она. — Подождите, пока я поднимусь по лестнице, а потом потушите внизу свет и захлопните дверь.

Еще не договорив, она почувствовала себя ужасной душой, но тут же увидела, что он был бы рад сделать для нее и больше. Он искренне ее жалел, и не только сию минуту. Он, видимо, задумался о том, как вообще быть женщине, живущей столь одиноко.

— А никто не мог бы пожить у вас? Хотя бы на ночь оставаться? Женщина, конечно, — торопливо добавил он, и тут же решительно отказался от этой мысли. — Нет, женщина вам здесь не нужна.

У нее потеплело на душе оттого, что он понял, хотя она не сказала ни слова. Теперь она ответила:

— Да нет, ничего не нужно. Привыкну.

— Все равно это никуда не годится, — сказал он как-то беспомощно и, кивнув в сторону лестницы, добавил: — Ну хоть сегодня ляжете спокойно. Идите наверх, а я выключу свет.

И пошел обратно в гостиную.

Испытывая какое-то неясное беспокойство, она стала неохотно подниматься по лестнице. Но он почти тут же ее окликнул:

— Погодите, а как эта лампа выключается?

— Ой, лучше я ее сама выключу, — отозвалась она, вспомнив, как трудно добраться до розетки. Она сбежала

вниз, прошла мимо него в маленькую гостиную, опустилась на колени и дернула за шнур. Комната погрузилась в темноту. И тут же она поняла, что сделала глупость. Это было совсем не то, что щелкнуть выключателем возле двери и сразу выйти в освещенную прихожую. Она поспешно вскочила на ноги и увидела, что Кроссен стоит в дверях, загораживая свет из прихожей.

— Ну я пойду, а в прихожей вы, уж пожалуйста, выключите свет сами,— проговорила она, чтобы прервать вдруг наступившую напряженную тишину.

Но он остался там, где стоял, загораживая дверной проем.

— Выключатель вон там, у входной двери,— сказала она, подходя к нему и останавливаясь — не протискиваться же мимо него! Почему он не посторонится? — Вон там,— повторила она, показывая рукой. А он, вместо того чтобы дать ей пройти, схватил ее за протянутую руку, а другой уперся в косяк, загородив ей дорогу.

— Я вот что...— сбивчиво прошептал он.— Вам тут совсем не скучно... одной?

— Что вы сказали? — громко переспросила она, напуганная его внезапно осипшим голосом. Его слов она почти не разобрала и думала только о том, как проскочить в прихожую.

Он подался вперед.

— Дайте я вас поцелую,— прошептал он и, отняв ладонь от косяка, попытался ее обнять, но она вырвалась и, не думая о соблюдении достоинства, нырнула ему под руку и оказалась в освещенной прихожей.

На свегу — свет был достаточной защитой от этого старого дурня — она рассмеялась. Теперь оставалось только поглядеть, с каким глупым видом он выйдет из темной комнаты.

Но одного она не ожидала — что вид у него будет не просто глупый, а несчастный. Он вышел понурившись, еле волоча ноги, и ее вдруг охватила жалость. Не дожидаясь, пока он что-нибудь скажет, она протянула ему руку и сказала:

— Ну-ну, не расстраивайтесь так! Я на вас не обиделась.

Но он все равно не поднимал глаз — только взял ее руку и благодарно пожал, глядя куда-то в сторону. К своему изумлению, она увидела, что у него течет из носа. Как

маленький мальчик, он вытер нос тыльной стороной руки, измазав лицо.

— Не знаю, что на меня нашло, — медленно проговорил он. — В мои-то годы. Я и в мыслях такого уж не держал. — Он опять вытер нос. — То есть чтобы позволить себе что-нибудь, — удрученно поправился он.

— Какие пустяки, — сказала она.

Он покачал головой.

— И ведь не то чтобы у меня повод был.

— Да вы ничего и не сделали! — воскликнула она.

— Это как посмотреть, — уныло сказал он.

Минуту они стояли молча. Дверь на улицу была открыта настежь, но она не осмеливалась ее закрыть. «Что же мне с ним делать? — думала она. — Он тут всю ночь простоят, если его не выпроводить. И который теперь час?» Ночь, казалось, сошла с привычных рельсов.

— Ну так до завтра, мистер Кроссен, — сказала она нарочито обыденным тоном.

Он кивнул, но не сдвинулся с места.

— Поверьте, я не хотел вас обидеть, мэм, — сказал он умоляюще глядя на нее. — Я вас всегда очень уважал. И вашего мужа тоже. Я вот шел сейчас к вам и все его вспоминал, а когда вы открыли дверь — ну прямо молоденькая девушка, — я опять о нем подумал. Какая жалость, думаю, что он умер и оставил вас вдовой, — вам бы жить да жить, оба такие молодые! И что же это на меня нашло? Что скажет Мона, если узнает?

— Надеюсь, вы не собираетесь ей ничего говорить! — вскричала она. Что та подумает, если он расскажет, как она открыла ему дверь — босиком, с распущенными волосами! — Не вздумайте ей рассказать — добра от этого не будет!

— Да нет, наверно, не надо рассказывать, — пробормотал он, но неуверенно и угрюмо, и прислонился к стене. Она редкая женщина, Мона-то. Вы не думайте. И мальчики то же скажут. Такой матери поискать. И никакой раницы для нее, кто чужой, а кто свой. Вот говорят даже, Бартли она баловала куда больше своих детей. Она в его вырастила. Она тогда жила по соседству. А ему не было тогда, когда... — Он запнулся и закончил бесцветным голосом: — ...когда я остался с ним на руках. Она в тот вечер пришла и забрала его к себе. И спать положила на своей кровати. А ведь это не просто для женщины, кото-

рая и понятия не имеет, как ходить за детьми. И ведь не так уж она молода была, хоть потом и нарожала мне кучу ребят. Так вот, забрала она его к себе и взялась за ним ухаживать, за новорожденным-то! На это не всякая женщина решится. Такого не забудешь! Некоторые, может, скажут, что и без нее нашлось бы кому его взять, да только никто другой не стал бы делать то, что делала она. Весь день она держала его у себя, кормила и все такое, а вечером, когда я возвращался домой, приносила его ко мне и клала в колыбель, что стояла рядом с моим креслом, напротив камина. Скажет, что дома дела невпроворот, и уйдет потихоньку, а я остаюсь с ним. Но вовсе не потому она его приносила. Просто знала, что я буду сидеть, глядеть в огонь и думать, как мне жить, — впереди долгие одинокие годы. Вот она и приносила мне ребенка, чтобы он меня отвлекал. Так оно и получилось — он мне просто времени не оставлял задумываться. Пискнет вдруг или расплачется — надо бежать за ней. Или она сама услышит и прибежит, не дожидаясь, когда я ее позову. Мне даже казалось, что она держит все двери и окна настежь открытыми, только бы не пропустить у нас ни звука. И так мало-помалу я пришел в себя и стал опять похож на человека. Я потом часто задумывался, что бы со мной стало, если бы не она. Ведь с человеком как — закроется для него светлая дорога, пойдет по темной. А я как раз из таких людей и был. Так вот, чем она держала малыша у себя, а вечером приносила ко мне. Ну а совсем уж ночью она, конечно, опять его забирала. Уносила его к себе в постель. Но время шло, он рос, а я стал замечать, что ей не хочется его от меня забирать. Он уже начал улыбаться, ручками размахивать, с ним стало забавно. «Надо бы его, наверно, оставить здесь на ночь», — говорила она каждый вечер. Иной раз даже положит его посреди двуспальной кровати в комнате за кухней, а через минуту опять схватит. «Нет, боюсь, ты его заспишь. Друг придавишь малыша — береженного бог бережет!» — «А, лучше возьми его», — говорю, а самому тоже уже не хочется, чтобы она его забирала. Но все равно я боялся — вдруг он ночью расплачется и что мне тогда с ним делать? Или пойду за ней посреди ночи, разговоров не оберешься. Вообще-то разговоров о нас и так шло предостаточно, хотя никаких настоящих-то причин не было. Хотите — верьте, хотите — нет, а я и не замечал даже, что она женщина. Но вот как-то раз, после того, как она раз десять положила

его на кровать и опять взяла и никак не могла решить, забирать его или нет, я засмеялся и сказал: «Жаль, ты не можешь сама с ним тут остаться, — всем было бы хорошо». Я просто пошутил, а она вдруг вспыхнула до ушей, а потом расплакалась. Схватила мальчишку, завернула его в свою жакетку, потом посмотрела на меня страшными глазами и выбежала с ним за дверь. С этого все и началось. Мне до тех пор и в голову не приходило, что я ей по душе. Думал, она просто привязалась к ребенку. Но мужчины ведь дураки — уж женщины-то это знают, и она раньше меня догадалась, что для нас обоих было бы лучше всего. И для ребенка тоже. Некоторые женщины очень хорошо это чувствуют. Тут господь открыл мне глаза. И понял я, что она для меня самая подходящая женщина и что лучше мне жениться на ней, чем пропадать с тоски по той, которой не стало. Разве я неправильно рассудил?

— Конечно, правильно, — поспешно подтвердила она.

Но он как-то весь сгорбился, и в глазах у него опять появилось выражение униженного раскаяния.

«Ой, что же это? — с отчаянием подумала она. — Я так никогда от него не избавлюсь».

— Ну что вы, право? — крикнула она. — Забудьте вы про эти пустяки.

— Не могу, — просто ответил он. — Я же не только себя, я и жену опозорил.

— Да при чем тут ваша жена?

Он поглядел на нее с удивлением.

— Так не себя же вы вините?

Она чуть не рассмеялась, но ее удержало опасение все испортить — еще немного, и она его выпроводит.

— Да бросьте вы! — воскликнула она. — Никто из нас тут не виноват — ни вы, ни я, ни женщина, что дожидается вас дома. Все дело в той, другой. В той девушке — вашей первой жене — Брайди! Это все она! Вините ее! Это она! — Слова словно сами вырвались у нее, на секунду ей даже показалось, что у нее начинается истерика и она не сможет остановиться.

— Выдумали, будто забыли ее, но сами видите, что она с вами сделала, как только ей представился случай!

Она замолчала и посмотрела на него.

Он был уже у двери.

— Упокой, господи, ее душу, — сказал он и, не оглядываясь, ступил в темноту.

ФАМИЛЬНЫЙ СКЛЕН

Был час сиесты — в пронизанном сыростью городке на западе Ирландии. Если солнце и светило здесь, то лишь ранним сверкающим утром. К полдню оно скрывалось и проглядывало из-за туч только к вечеру, озаряя небо грустным светом уходящего дня.

Когда-то город был окружен крепостным валом, который теперь во многих местах сравнялся с землей, но в самом сердце города была еще внутренняя стена, сохранившаяся в целости, не считая одного пролома. А за этой стеной лежали развалины монастыря и старинное кладбище, где давно уже никого не хоронили. От монастыря не осталось ничего, кроме стрельчатого окна, точно ушко иглолки с протернутой через него ниткой света. Надгробия и могилы вокруг заросли бурьяном, а сама стена была отягощена плотной массой плюща, который, не находя более поддержки в камне, дыбился вверх и буйно цвел и плодоносил. На фоне неба это нагромождение плюща выглядело как клубящиеся грозовые тучи. А на деле нависавшие над улицами тяжелые переплетения стеблей давали защиту от дождя, и в непогоду окрестные фермеры, приезжавшие в город за покупками, привязывали под этими огромными навесами лошадей и ставили повозки.

Когда-то городок процветал. Старые постройки — высокие особняки из тесаного камня с просторными дворами и многочисленными службами — больше напоминали помещичьи дома, чем жилища лавочников. Эти великолепные дома до сих пор придавали некоторый вес тем, кто в них обитал, даже если для них, как для семейства Даффи, уже давно настали трудные времена. Запас товаров в лавке Даффи зачастую настолько скудел, что им нечего было выставить на витрине, кроме пустых коробок и позолочен-

ного картонного изображения бутылки с виски. Буквы на вывеске совсем поблекли, и лавку Даффи иногда принимали за склад процветающего магазина Дермоди на другой стороне улицы. Как ни мал был городок, одни и те же фамилии частенько повторялись на вывесках магазинов, но, если их владельцы когда-нибудь и были связаны кровным родством, память о нем стерлась от трения повседневных соприкосновений. Когда люди живут бок о бок, узы крови неизбежно слабеют — иначе жизнь утратит необходимое ей разнообразие.

И подобно людям, гранитные блоки, из которых были сложены дома, когда-то составляли один пласт в каменоломне, но время и прихоти погоды придали им разнообразие.

Дом Даффи, стоявший возле монастырской стены, покрылся патиной мертвенно-зеленого лишайника, тогда как дом Дермоди на той стороне улицы отливал сочным рыжевато-красным цветом. Однако вверху, у самой крыши, по стенам всех домов тянулись на тоненьких булавочных стебельках странные бледные цветочки, трепетавшие, точно усики бабочки, в поисках... а собственно, в поисках чего? Не солнечного же света? Впрочем, бурьян вокруг рос в изобилии, а кое-где из случайно занесенных семян ухитрились вырасти кривые деревца. Самое удивительное, что на этих деревьях даже в пасмурные и дождливые дни пели птички, видимо осознав, что, если они не будут петь под дождем, им вообще редко придется петь.

А пенье птиц и обилие желтых одуванчиков рождало в городе ощущение лета. И так же, как на опаленных зноем улицах Кордовы, в полдень здесь замирала всякая деятельность и все взрослое население впадало в освященную обычаем спячку. Собственно, в постель мало кто ложился — разве что какой-нибудь тучный трактирщик или беременная женщина; остальные замирали в том положении, в каком их застывал полдень. Казалось, сон или даже смерть застигали их врасплох, заливали их, как поток лавы, и заковывали в неподвижность. Тут женщина, сидя за столом в кухне, тупо смотрит в чашку остывшего чая. Там старик стоит во дворе и дремлет, опершись на метлу. И повсюду лежат старые кошки и собаки, простершись на пороге или распластавшись посреди уличной пыли. Некоторые молодые псы, не поддаваясь общей ослабленности, иногда собирались стаяй и убегали в

окрестные луга облаивать овец и поедать птичьи яйца. Дети в этот час тоже носились стаями, но редко отваживались заходить далеко за пределы крепостного вала. В открытом поле им было не по себе. И хотя в любом доме между жестяной крышей сарая и уборной привычно виднелась зелень лугов, за пределами города было только одно место, где они чувствовали себя в безопасности. Это было Новое кладбище.

На этом обширном пустыре, светлом и открытом, на котором не было деревьев и которому не давали зарости бурьяном, им было легко и привольно. Да и то сказать — что может быть безопасней освященной земли?

Могила на Новом кладбище пока было немного, располагались они больше возле ворот. Впрочем, дети, не задуываясь, бегали и по могилам. Разве в них не лежали их собственные покойники? Разве не их собственные фамилии были высечены на могильных камнях? Почти у всех детей здесь был похоронен какой-нибудь родственник, если не взрослый, то хотя бы мертворожденный младенец, не говоря уж о сестренках и братишках, умерших еще в колыбели. А у Молли Хиггинс здесь были похоронены отец и мать, хотя они умерли вскоре после рождения Молли в Дублине, где их наверняка зарыли бы на кладбище для неимущих, если бы дядя Молли не привез их тела в родной город за свой собственный счет. Да и сама Молли угодила бы в приют, если бы тот же дядя не взял ее к себе в дом и не вырастил вместе со своим сыном Миксером.

На просторах Нового кладбища зарытые в землю покойники представлялись детям чем-то вроде их собственных теней, которые тоже лежали плашмя и были безмолвны, в то время как они бегали и оглашали воздух криками.

И когда перед началом игры дети делились на две группы, предводители Миксер Дермоди и Джемси Даффи всегда вставляли каждый на собственный могильный холмик, а остальные, по мере того как их выбирали, рассаживались на могилах своей команды.

Собственно, процедура эта была пустой формальностью. Состав команд оставался неизменным. Миксер всегда выбирал Неда Конроя, Тима Хайнса и свою двоюродную сестру Молли. Джемси всегда выбирал свою сестру Анни, Томми Мака и Мэтта Фоли. Только близнецы Моррисроу были взаимозаменяемы, а если кто-нибудь отсутствовал, их

считали за одного. Обычно же, когда выбирали одного близнеца, второй, не дожидаясь приглашения, направлялся к другой команде, и оба сияли улыбками, словно обретя чуть больше индивидуальности, чем они получили от родителей.

Теперь уже можно начинать играть, и все встают. Но во что же играть? Во что же, как не в старую-престарую игру, в которую дети играют с незапамятных времен, в каждую эпоху по-своему: полководец и император во времена Светония, христиане и неверные во время крестовых походов, католики и протестанты во время Реформации. Принцип всегда один и тот же: Ты против Меня — с того самого дня, как в эту игру впервые сыграли за воротамирая два единственных в мире ребенка — Каин и Авель.

И вот однажды в июле в душный послеполуденный час сиесты дети собрались на ступенях Маркет Кросс и уже готовы были отправиться на кладбище, как вдруг заметили, что не хватает Миксера. Все посмотрели на Молли. Раньше она никогда не выходила гулять без него.

— Дядя позвал его назад, — встревоженно сказала Молли.

Но тут Миксер появился в конце улицы. Он бежал вприпрыжку, хлопал себя по бокам и выпускал ликующие клики.

— Ура! Ура! Я уезжаю! В школу поеду! В платную школу! — кричал он. Подбежав к остальным, он вытащил из кармана цветную открытку и пустил ее по рукам.

— Я буду жить в замке. Видите? А вот это — ров, и в нем настоящая вода. И подъемный мост — правда, его редко поднимают, а то ведь родители приезжают повидаться. И знаете что? — Он таинственно понизил голос. — Одна комната там заколочена, даже окна заложены, потому что в ней видели привидение!

— Ох, Миксер!

Члены его команды преисполнились гордостью и даже не сразу сообразили, что теряют предводителя. Их противники поначалу тоже не испытывали ничего, кроме любопытства.

— Покажи! — крикнул Томми Мак и выхватил открытку из рук Неда Конроя. Анни Даффи и Мэтт Фоли, вытянув шеи, смотрели через его плечо. Молли, по-видимому, видела открытку раньше. Только Джемси Даффи не проя-

вил к ней никакого интереса. Он стоял, засунув руку в карманы, и хмуро глядел себе под ноги.

— Когда ты уезжаешь, Миксер? — спросила Молли.

— В сентябре, — небрежно бросил Миксер.

Молли повеселела.

— А, так это еще нескоро, — сказала она. — Может, до тех пор дядя передумает.

Миксер воззрился на нее с изумлением.

— Да ты что? Ничего он не передумает! Я же хочу в эту школу!

Молли вымученно улыбнулась, и ему стало ее жалко.

— Не горюй, Молли. Папа с мамой будут очень часто ко мне приезжать — специально наймут автомобиль. Они и тебя будут брать с собой. Я тебе там все покажу, — с гордостью пообещал он.

Тут Джемси громко захохотал.

— Вот отмочил! — сказал он насмешливо. — Кто это пустит девочку в школу для мальчиков?

— Так она же моя двоюродная сестра, — крикнул Миксер, оборачиваясь к нему.

— Ну и что с того? Все равно девочка!

— Да ну его, Миксер, — вмешалась Молли. — Ему просто завидно. Его-то отец в такую школу не пошлет, деньги пожалеет.

Анни Даффи встала на защиту отца.

— А ну, повтори, что ты сказала, Молли Хиггинс, — угрожающе крикнула она.

Но тут вдруг пронзительный крик разорвал неподвижный от жары воздух.

Открытка выпала из рук близнецов Морриероу, которые наконец-то ее получили и увлеченно разглядывали. Они ухватились друг за друга, вытаращились на развалины монастыря, откуда донесся крик, и испуганно прошептали:

— Что это?

— Да какая-нибудь птица, — раздраженно отмахнулся Миксер. — Или барсук.

Крик повторился, и дети невольно сбились в кучу. Близнецы застучали зубами от страха.

— Говорят же вам, это птица, — повторил Миксер. — Ну, пошли. Во что будем играть?

Джемси смерил его взглядом и прищурился:

— Откуда ты знаешь, что это птица, Миксер Дермоди? А вот один старик рассказывал отцу у нас в магазине про

женщину, которую похоронили в монастырской ограде со всеми кольцами на пальцах, а грабители узнали про это, пробрались ночью на кладбище и выкопали ее гроб.

— Ой, Джемси!

Все содрогнулись от ужаса.

— Тихе вы, пусть рассказывает, — сказал Миксер.

— Так вот, — продолжал Джемси замогильным голосом. — Выкопали они гроб, взломали его, а кольца с пальцев не снимаются, потому что покойники распухают. Ну и пришлось им отпилить ей пальцы.

Раздался стон ужаса.

— Отпилить? Ой, Джемси!

Но Миксер презрительно усмехнулся.

— Может, скажешь, где они нашли пилу? На кладбище-то? Ночью?

Близнецы захихикали, но тут же смолкли под испепеляющим взглядом Джемси.

— Так что ж я, по-твоему, вру, Миксер Дермоди? — вызывающе спросил он.

— А вот докажи, что не врешь, тогда поверим, — медленно и невозмутимо произнес Миксер.

Легко сказать! Джемси озирался, как всякий человек, попавший в собственную ловушку. Теперь руки в карманы засунул Миксер.

— Всего и надо-то, — великодушно сказал он, — достать лопату и немного покопать. Ведь гроб-то давно сгнил, и ты сразу доберешься до скелета. И ждать до глубокой ночи, как грабителям, тебе тоже не надо: теперь в монастырь и днем никто не ходит. Только перелезть через стену, и уж никто тебя не увидит. И не услышит. Никто и не узнает, что ты там. — Увлеченный собственным великодушием, Миксер обнял Джемси за плечи. — Весь скелет нам не нужен, принеси только руку. И вот если на ней нет пальцев, тогда мы, может, тебе поверим.

Ребята поглядели в сторону развалин за высокой стеной, отягощенной грузом плюща.

Но Миксер понял, о чем они подумали.

— Принеси только руку, — повторил он. — Скелет сразу рассыплется, чуть его тронешь. Это только на картинках и в музеях скелеты стоят целые — у них кости скреплены проволокой. Когда их раскапывают, кости лежат по отдельности. Какую хочешь, ту и бери — череп там или берцовую кость, — что тебе нужно.

Все потрясенно молчали. Миксер повернулся к своим и сказал:

— Не бойтесь, ничего он не станет выкапывать. Струсит.

— Струшу? Я? — возмутился Джемси. — Скажешь тоже! Да мой отец — единственный патриот в городе. Только он был в Дублине на Пасхальной неделе и участвовал в восстании. И его ранило. Снайпер подстрелил на улице О'Коннела. А может, осколком шрапнели. Доктора так и не смогли точно определить.

— Правда, Джемси? — Нежное лицо Молли затуманилось. — Оттого он и хромает?

Миксер насмешливо рассмеялся.

— Как же! — сказал он. — Все знают, что старый Даффи в тот день поехал на скачки в Фернхаус. А на улице О'Коннела он искал, кто бы его задарма подвез до ипподрома. Тут и началась стрельба. Подстрелить-то его, может, и подстрелили, да только случайно.

Близнецы опять захихикали, и Миксер, ободренный успехом, продолжал язвить:

— Ранили — ха-ха! Дырку в башмаке ему прострелили — вот и все!

И довольный, как он поддел Джемси, Миксер принялся долго и громко хохотать.

Джемси, который сначала густо покраснел, тут стал серым от ярости.

— Кто тебе эту пакость наврал, Миксер Дермоди?

— Мама мне рассказала, — с добродетельным видом отвечивал Миксер.

— Ах, твоя мать? — Джемси презрительно фыркнул. — А что твоя мать знает о восстании? Где она, по-твоему, была, когда такие, как мой отец, сражались за свою страну? Я вам скажу где. За прилавком вашей паршивой лавчонки, кланялась и угождала английским солдатам, чтобы, не дай бог, не упустить драгоценных покупателей. Она небось и узнала про восстание, только когда оно уже кончилось. И тут же начала подлизываться к фристейтерам*.

Тут опять раздался смешок, но Миксер заметил, что смеялись уже не близнецы, а кто-то за спиной Джемси.

* Борцы за независимость Ирландии. Пасхальное восстание 1916 года было жестоко подавлено, и все его руководители расстреляны. Представление мальчика о победе восставших неверно.

— А что такого? Магазин должен торговать, — ответил он, немного растерявшись. — Если бы вы, Даффи, побольше думали о кассе; то не докатилось бы до того, что твоему отцу не на что отправить тебя в школу. А вы вместо этого все бегаете в церковь, молитесь да зажигаете свечки. Совсем чокнулись от набожности! Правда же, его тетя Сара чокнутая? — Миксер обернулся к остальным. — Помните, как она гнала нас зонтиком до самого Нового кладбища, а потом заставила вывернуть карманы и положить обратно все камешки, что мы там насобирали?

Еще бы им не помнить! Только на Новом кладбище и можно было набрать хорошие камешки для игры — гладкие и одинакового размера. Каждую весну они запасались там камешками на все лето. А в тот день на них накинута мисс Даффи. Миксер передразнил старую деву:

— Дети, это тяжкий грех! Сейчас же отнесите их обратно!

И он сделал вид, будто тычет Молли в спину концом воображаемого зонтика.

Один из близнецов толкнул локтем другого, и тот дернул Молли за рукав:

— Молли, а какой это грех?

Молли окинула его уничтожающим взглядом.

— Никакой это не грех! Ты что, не слышал? Миксер же сказал, что Сара Даффи чокнутая!

Миксер постучал себе пальцем по лбу:

— Угрызение — вот как это называется.

Угрызение? Что это — болезнь?

— Вроде болезни, — объяснил Миксер. — Им повсюду мерещатся грехи. В сумасшедший дом их не сажают, потому что особого вреда от них нет, но все знают, что у них мозги набекрень. Вы никогда не видели, как Сара Даффи исповедуется по субботам? Думаете, священник отпустит ей грехи, закроет окошко, и она уйдет? Как не так! Она остается в кабинке и старается придумать себе побольше грехов. Священник откроет окошко, посмотрит — снова она! Как-то он открыл окошко в третий раз, видит, она все еще тут, ну и захлопнул его прямо у нее перед носом. Вот так. — Миксер громко хлопнул в ладоши. — Открыл его в четвертый раз — она! В пятый — опять она! Дверца так и хлопала — хлоп-хлоп-хлоп, точно маслбойка. Наконец он как заорет, сбросил епитрахиль, выскочил из исповедальни и силком вытащил ее в проход. «Убирайся отсюда, глупая

женщина, — кричит. — Не морочь мне голову! Вон сколько дожидается порядочных грешников, которым действительно есть в чем покаяться!» Вот смеху-то было!

Уж конечно, Миксер рассказывал очень смешно. Даже Томми Мак ухмыльнулся. Но Джемси дождался, когда хохот смолк, и перешел в наступление:

— Воображаешь, что невеста какой умный, Миксер Дермоди? Так вот я тебе скажу, что лучше уж лишнего покаяться, чем грешить и вовсе не каяться. Когда Молли только привезли, всем известно, что твоя мать купала вас с ней в одной лохани. А это...

— У-у-у, это страшный грех, — хором сказали Анни Даффи и Томми Мак. Один из близнецов, стоявший рядом с Миксером, боязливо попятился.

Тут Миксер и вправду растерялся.

— Это ведь враки, Молли, а?

Молли не ответила, но ее щеки вспыхнули алым пламенем.

— Если это грех, так скажи, как он называется, Джемси Даффи! — крикнула она, а потом повернулась к Анни Даффи и повторила вопрос, потому что девочки знают катехизис лучше мальчишек.

— Наверно, симония, — сказала Анни. Что такое симония, она толком не знала, но слово было устрашающее. Остальные с тревогой глядели на Молли.

Она тряхнула головой.

— Симония — это кража того, что принадлежит богу, вот что это такое!

Опять один из близнецов толкнул другого локтем.

— Поэтому мисс Даффи и вставила нас положить обратно камешки?

— Вовсе нет, — презрительно бросила Молли. — Это было простое кощунство. Симония была бы, если бы мы их продали.

Близнецы быстро посовещались между собой.

— Менять — это ведь не все равно что продавать?

Их никто не слушал. Все ломали головы, стараясь вспомнить какой-нибудь важный грех.

— Может быть, это был «отмеченный грех»? — предположила сама Молли. Стыд, охвативший ее в первую минуту, уже прошел, и она выросла в собственных глазах — ведь священник «отмеченный грех» не может отпустить, и нужно обращаться к епископу.

Глаза Анни Даффи злорадно блеснули.

— Может, это «грех против духа святого»? Такому греху вообще нет отпущения — даже епископ его отпустить не может, потому что человек не знает, что он его совершил, пока не умрет, а тогда уже слишком поздно.

Но Миксеру все это уже надоело.

— Да не слушай ты ее, Молли. Я же тебе говорил, что все Даффи чокнутые. Только и думают что о грехах и вечной гибели.

— Лучше думать о них сейчас, а не когда будет поздно, — зловеще произнес Джемси. — Как вся ваша семейка. Мама говорит, вашему дедушке преисподней мало за то, что он сделал с матерью и отцом Молли.

— Джемси! — одернула его сестра.

Даже ей показалось, что он перехватил. Но вдруг она повернулась к Миксеру и заявила:

— Он и вправду был злющий старик. И все равно он не сумел помешать им любить друг друга. Никто не может убить любовь!

При этих словах все, кроме Джемси, расцвели улыбками. Кто не знал историю родителей Молли! Анни даже подбежала к ней и порывисто ее обняла.

— Никто не может помешать людям любить друг друга. Ничто не может убить настоящую любовь!

Любовь! Какое облегчение почувствовали ребята, услышав это слово после рассуждений о грехах и возмездии. Словно из мостовой у их ног вдруг, благоухая, выросло цветущее дерево.

— Они ведь сбежали от него, Молли? — восторженно улыбаясь, спросила Анни — она отлично знала все подробности.

Но Джемси проворчал, хмуро глядя на сестру:

— И что тут такого замечательного?

— Ах, Джемси, помолчи лучше, — ответила Анни. — Это так романтично.

— И не подумаю! — огрызнулся Джемси. — Они просто-напросто поженились, только тайком, вот и все. Романтично — это когда влюбленных насильно разлучают или они умирают от разбитого сердца. — Он сердито толкнул Анни. — Вот как наша Ада. Вот это действительно была романтическая история!

Встретив недоуменный взгляд Анни, он нетерпеливо тряхнул ее за плечи:

— Ну та, про которую мама без конца рассказывает. Медальон ее еще в маминой рабочей шкатулке хранится.

— Ах, эта, — вспомнила Анни. — Наша двоюродная бабушка?

— Не знаю, бабушка ли, но какая-то родственница, — сказал Джемси уже не так уверенно. И почему только он не слушал, когда мать про нее рассказывала! — Одно я точно знаю, — гордо заявил он, — красивее ее в нашем городе девушки не было!

Да, это Анни слышала, это она могла подтвердить; она вспомнила и еще кое-что: «Когда она проходила мимо, все стояли не дыша».

— А почему, Анни? — спросила Молли, глядя на Анни с таким же восторгом, с каким та смотрела на нее несколько минут назад.

— Наверно, потому, что она была такая воздушная, — ответила Анни. — Пройдет по комнате, а ее и не слышно, если только половица не скрипнет!

Молли посмотрела на свои тяжелые башмаки: видно, у Ады были туфельки, мягкие, как перчатки, раз ей удавалось быть такой легкой и воздушной!

— Наверно, это была настоящая красавица, — со вздохом сказала она.

— Да еще какая! — подтвердил Джемси. — И она умерла от разбитого сердца. Вот это я понимаю.

— А почему ты раньше нам про нее не рассказывал? — подозрительно спросил Миксер.

— Да тише ты, Миксер, — вполголоса сказала Молли. — Расскажи про нее еще, Джемси.

Джемси наморщил лоб, пытаясь припомнить еще что-нибудь о своей романтической двоюродной бабушке, но больше ему ничего не приходило в голову.

Зато нашлась Анни:

— Помнишь, какие были ее последние слова перед смертью, Джемси? — воскликнула она. — Расскажи им!

— Да, верно!

Джемси от возбуждения едва мог связно говорить.

— Последние слова? — Он театрально взмахнул рукой. — Она лежала на кушетке внизу, а вокруг собралась вся семья. Доктор не позволил отнести ее наверх в спальню, потому что она чересчур ослабела. Вот она внизу и умирала. — Тут Джемси так вошел в роль, что откинул голову и закрыл глаза. — Они уже было решили, что она

умерла, — прошептал он, — но вдруг она открывает глаза и, знаете, что говорит?.. — Его голос стал таким слабым и тихим, что остальные придвинулись поближе, чтобы слышать. — «Кошке не забыли дать молока?» — прошептал он почти беззвучно.

— И это были ее самые последние слова, Джемси? — спросила Молли так громко и с таким недоумением, что голова Джемси дернулась и глаза широко раскрылись.

К своему изумлению, он увидел, что Молли едва сдерживает смех, а один из близнецов не выдержал и фыркнул. Миксер же так развеселился, что бросился на землю, изображая умирающую девушку, и перекувырнулся через голову.

— Дали кошке молочка? — выдавил он сквозь смех. — Дали киске молочишка?

Романтическое очарование было разрушено. Все принялись прыгать и выкрикивать все новые версии предсмертных слов Ады:

— Дали кошчонке молочонка?..

Первой перестала смеяться Молли. В порыве раскаяния она положила руку на плечо Джемси.

— Не сердись на них, Джемси, — мягко сказала она. — Она, наверно, была очень добрая, раз подумала о кошке. — Однако на ее лице по-прежнему было написано недоумение. — Странно все-таки, что она думала не о нем, а о какой-то кошке.

Миксер вскочил и сел, выпрямившись.

— Верно. И вообще, кто он был такой? Ты нам про него ничего не рассказал. Не больно, наверно, хореший был человек, если ее бросил.

— Кто сказал, что он ее бросил? — крикнул Джемси вне себя от негодования.

— А разве нет? Почему же она тогда не вышла за него? Действительно, почему? Все вопросительно смотрели на Джемси.

— Может, ей не позволили, — нерешительно сказал Джемси.

Молли недоверчиво тряхнула головой.

— Попробовал бы кто мне не позволить, будь я на ее месте! — Но ей не хотелось обижать давно умерших влюбленных. — Может быть, у нее или у него было плохое здоровье? — предположила она.

Но Миксера подобные тонкости не интересовали.

— Как его звали? — настойчиво добивался он. Что, если Ада при всей своей красоте была всего-навсего старой девой, таких много, а всю эту любовь себе придумала? — Может, она была влюблена в того кота? — выкрикнул Миксер и в восторге от собственного остроумия опять хлопнулся на землю и перекувырнулся через голову.

Джемси в отчаянии дернул Анни за руку.

— На медальоне же есть какое-то имя; — крикнул он.

— Нет, — ответила Анни, — имени нет, а есть только одна буква. — И тут она припомнила кое-что еще. — Эта буква сплетена из волос! Черных как смоль! Это, наверно, его волосы!

У Джемси на лице было написано: и какой с того прок? Однако приходилось использовать хоть это.

— Вот! — воскликнул Джемси. — Чего вам еще надо?

Миксер опять поднялся и сел.

— А какая это буква? — спросил он.

Джемси и Анни посмотрели друг на друга. Ни один не помнил.

— По-моему, буква «В», — наконец сказала Анни.

— Чего вам еще надо? — подхватил Джемси. — Буква «В»!

Но тайна оставалась неразгаданной. Какое имя начиналось с «В»?

— Анни, ну вспомни же, — были близнецы.

Опять над братом и сестрой Даффи нависло обвинение во лжи. Но тут прозвенел голос Молли:

— Винни!

— Откуда ты знаешь, Молли? — в изумлении уставился на нее Миксер.

— Потому что у нас тоже есть медальон! — воскликнула Молли. — Твоя мама мне его один раз показывала. Он золотой, в виде сердечка. А внутри буква и тоже из волос, таких красивых, золотистых!

— А при чем тут медальон Даффи? — сердито спросил Миксер.

— Это медальон нашего двоюродного дедушки Винни, — сказала Молли. — А буква в нем «А». Ну как ты не понимаешь, Миксер? Это же, наверно, ее волосы — Ады!

Тут Джемси забыл свое утверждение, что Аду никто не бросал, и крикнул, ткнув пальцем в Миксера:

— А, так это был один из вашей семейки! Вот и видно, все вы, Дермоди, подлецы!

Миксер укоризненно посмотрел на Молли — предательство в собственном стане.

— Что же, наверно, у него были причины, — многозначительно сказал он. — Как ни крути, а кому захочется породниться с чокнутой семейкой?

Джемси пропустил этот выпад мимо ушей.

— Почему ты знаешь? Может, это наша семья запретила ей выходить за него замуж!

Но тут Молли заткнула уши.

— Перестаньте! — закричала она. — Перестаньте оба! Какая разница, почему так получилось, — подумайте, как им было тяжело. Жить в одном городе, видеть друг друга каждый день! И при этом... Ой, как мне их жалко!

— Он ведь и ни на ком другом не женился, а она не вышла замуж, — сказала Анни, глядя на Молли.

— И они подарили друг другу эти медальоны, — добавила Молли.

— И хранили их до самой смерти!

Анни снова обняла Молли.

— Но почему же они все-таки не поженились, Анни? — сказала Молли, устремив на нее вопросительный взгляд. Обе они изо всех сил старались найти объяснение, которое не лишило бы влюбленных романтического ореола. — Может, они умерли молодыми?

И тут в памяти Анни всплыла еще одна подробность, и она крикнула:

— Вспомнила! Она умерла молодой. Про него я ничего не знаю, но Ада умерла совсем молодой. Я знаю, потому что мама мне рассказывала про то лето, когда она умерла. В солнечные дни сестры выносили ее в сад на кушетке и туда же приносили ей на подносе обед. И вот как-то ее сестра выходит с подносом и вдруг видит его — Винни. Сидит на краю кушетки и разговаривает с Адой. Перелез через забор, и, наверно, не в первый раз. Сестра решила тихонько уйти, чтобы он и не знал, что она его видела, но успела расслышать, как он сказал: «Вот лето кончится, и тебе станет лучше, Ада». И знаете, что она ему ответила? «Когда лето кончится, я умру, Винни». Сестра хотела подбежать к Аде и крикнуть, чтобы она не смела говорить таких вещей, но только она, наверно, знала, что это правда. И Винни знал. Он знает, что сказал? «Ах, Ада, тебе будет лучше, чем мне». Потом поцеловал ее в лоб и убежал в сад. Ему, наверно, не хотелось жить, если ее не станет.

Молли кивнула.

— Да-да!..— Ее глаза сияли.— Интересно, долго он прожил после ее смерти? Надо узнать. На памятниках написано, когда они умерли. Пошли, отыщем их могилы!

Это была великолепная мысль, и все сразу загорелись:

— Пойдем! Прямо сейчас!

Но Анни покачала головой.

— Их, наверно, похоронили на Старом кладбище, у монастыря. Разве там что-нибудь найдешь? Памятники все попадали или заросли крапивой.

Ребята посмотрели на стену кладбища. Это оттуда донесся тот жуткий крик. Пойти туда? У них мурашки по коже забегали.

— А я говорю — найдем, если хорошенько поищем,— настаивала Молли.— Ведь это так грустно, что все про них забыли. Если найти могилы, можно их расчистить...

— Срезать бурьян!

— И положить цветы!

Ребята оживились, представив себе чарующие картины могил, которые они видели на Новом кладбище, убранных венками из лилий и гвоздик, где цветок от цветка отделяли резные листья папоротника. Но тут же они приуныли. Где взять цветы? В ящике за окном у близнецов цвела герань, а в садиках у всех были настурции и ноготки, но кто позволит их рвать?

— Можно украсить могилу ветками,— воскликнула Молли.— И плющом. И еще что-нибудь отыщем.

Дело решил Миксер.

— Сплетем венки,— возбужденно крикнул он.— А потом еще эти штуки... как они называются? Ну, под стеклом на могилах на Новом кладбище — фарфоровые цветы и голуби, серебряные кольца, кресты. Сделаем что-нибудь такое.

Ребята не знали, как это называется, но сколько раз они обдирали шиколотки, ненароком угодив в проволочные петли, на которых держались гипсовые голуби и цветы. Настоящие крысоловки — прямо-таки клетки из ржавой проволоки.

— Запросто сделаем,— небрежно сказал Тим.

Скорее за работу! Им не терпелось начать скручивать проволоку и сплести ветки. Все пришли в страшное возбуждение. Близнецы подпрыгивали, как градины. Но где взять голубей, и кресты, и кольца?

— Надо поискать у нас в мусорной куче, Миксер,— предложила Молли. В этой куче они уже не раз находили несметные сокровища.— Пошли быстрее!

Они и так уже потратили зря массу времени. Скоро взрослые вернутся к жизни. Старая овчарка Даффи уже проснулась и неторопливо трусила к ним по улице.

— А где мы будем работать? — спросили близнецы.

Миксер с недоумением посмотрел на них. У него во дворе, где же еще?

— А у нас есть старая тачка,— сказал Джемси.— Она вся в цементе, и больше ею не пользуются. На ней можно отвезти венки.

Это соображение оказалось решающим.

— Ладно,— нехотя согласился Миксер. Но когда Анни и Молли рука об руку пошли по улице, он вдруг позвал Молли:

— Молли, стой! Чего это мы будем украшать могилу Даффи? У нас своя есть.

А ведь и правда!

Молли и Анни разняли руки. Нед Конрой пнул ногой собаку Даффи.

В один миг без всякой предварительной церемонии ребята разделились на две соперничающие команды. Близнецы Моррисроу незаметным образом оказались в команде Миксера. Затем без лишних слов оба отряда тесным строем двинулись по противоположным сторонам улицы, каждый к своему опорному пункту.

В лагере Дермоди, разбитом в мгновение ока, царил дух бодрости и оптимизма. Миксер вспомнил про старую детскую коляску на чердаке зернового склада.

— Ее везти гораздо легче, чем тачку,— сказал он со знанием дела,— и через стену перетащить ее легче. Только нам надо разделитьсы. Одни пойдут за бечевкой и проволокой, другие — вот вы,— он кивнул на близнецов,— принесут веток и плюща.

Сам же он стремительно полез по лестнице на чердак, но на верхней ступеньке задержался и прислушался. С соседнего двора из-за крыш донесся стук молотка. Одною оптимизма было недостаточно.

— Эй, пошевеливайтесь! — крикнул он своим.

Внизу все энергично забегали. Вскоре посреди двора уже возвышалась груда веток и плетей плюща.

Однако с первым венком пришлось повозиться на удивление долго, и все равно он получился кривой. Ну ничего, пойдет в самый низ. Они принялись за второй. Но и он вышел немногим лучше первого. Однако третий и четвертый выглядели вполне прилично. Только вот проволока была ужасно ржавая. Молли испарапала себе все пальцы. Тут Тима осенила гениальная мысль.

— Достать бы старый велосипед, тогда можно было бы снять с него колеса и привязать листья и ветки прямо к колесу.

Но где вять велосипедное колесо?

— Можно снять колеса с коляски! — воскликнул Миксер и уже собрался перевернуть коляску, но тут до них донесся новый звук — тархтенье обитого железом колеса по булыжникам.

Отряд Даффи выходил на боевые позиции.

Дермоди совсем было пали духом, но тут оглушительный вопль Миксера рассеял уныние.

— Живо! Вали все в коляску! — скомандовал он.

— Но мы же не кончили, Миксер! — ахнула Молли.

— Закончим на кладбище. Надо еще найти могилу. — Миксер посмотрел на близнецов и сказал с запоздалым сожалением: — Эх, надо было послать вас вперед искать ее.

В этом жутком безлюдном месте? Близнецы побелели от ужаса. Молли ласково похлопала их по спинам.

— Не трусьте! Теперь уже поздно. — Она обернулась к Миксеру, чтобы утешить и его. — Ведь и Даффи тоже еще не нашли своей могилы, Миксер.

Но тут острый слух Миксера уловил нечто новое в тархтенье железного колеса.

— Они проехали мимо пролома! — удивленно сказал он. — Катят свою тачку дальше по улице. Я знал, что им не перетащить ее через стену, — злорадно добавил он. Однако его лицо тут же вытянулось. У Даффи не было постоянного дворника, как у Дермоди, но время от времени к ним приходил старик подметать двор и чистить помойку за горячий обед. А у этого старика хранился ключ от ворот Старого кладбища, где он иногда ставил силки на кроликов. Значит, Даффи выпросили у него ключ!

— Они пойдут через ворота! Здорово придумали! — с

горечью сказал Миксер. И тут же ухватил коляску за ручку и покатил ее со двора, толкая впереди себя.

— Пошли! — крикнул он. — Коляску перетащить — пара пустяков. Живей! Да живей же!

Он уже выскочил с коляской на улицу, а остальные кинулись за ним, подкладывая на бегу в коляску листья и ветки.

Через несколько секунд они были у пролома.

— Я влезу первый, — сказал Миксер. — А вы стойте внизу — подадите мне коляску.

Цепляясь за плющ, который помогал, а не мешал ему карабкаться, Миксер быстро взобрался на стену.

— Давайте! — крикнул он. Остальные ухватили коляску, поднатужились и, точно носильщики гроб, подняли ее себе на плечи. Миксер вытащил ее наверх, а остальные полезли по стене, как на штурм крепости.

Внизу простиралось Старое кладбище — темный лес крапивы, оцетиненный железными стеблями в острых пиках листьев. Но Миксер бесстрашно спрыгнул со стены, и грозный бурьян оказался мягким и сочным — под ногами он ломался с влажным хрустом.

— Спускайте коляску, — скомандовал Миксер. Молли, Тим и Нед столкнули коляску и спрыгнули вниз сами. Близнецы тоже слезли со стены без особого труда.

Отряд Дермоди захватил плацдарм.

— Первым делом надо найти могилу, — сказал Миксер, когда остальные принялись подбирать венки, которые вывалились из коляски. — Разойдемся и будем искать.

Однако, пока он пробирался через заросли крапивы и чертополоха, его охватили сомнения. Из крапивы лишь кое-где торчали верхушки надгробий, но их покрывал белесый лишайник, совершенно скрывавший надписи. Вырвав пучок травы, Молли начала яростно тереть ближайший могильный камень, но напрасно — разобрать надпись было невозможно.

— Попробуй другой, Молли, — крикнул Миксер, пробираясь все дальше и то и дело спотыкаясь о какие-то бугры. Молли в отчаянии позвала его назад.

— Может, это как раз тут, — простонала она, и Миксер сообразил, что бугры, о которые он спотыкается, тоже могилы, надгробия которых разрушились или ушли в землю. Он задумался.

— Да нет, это, наверно, могилы бедняков, — решил он.

Тут в ворота на другом конце кладбища с грохотом вкатили тачку, и Даффи также рассыпались по кладбищу в поисках своей могилы.

Вскоре, однако, Дермоди услышали как бы отголоски их собственных обескураженных возгласов. Миксер собрал свой отряд.

— Зря здесь только теряем время,— сказал он.— Наш участок — громадный, с громадным памятником.

Он встал на обломок безымянного камня и вновь окинул взглядом царство бурьяна.

— Глядите! Вон большой!

Памятник, на который показывал Миксер, блистал таким великолепием, что было непонятно, как они не углядели его раньше. Но он стоял близ монастырской стены и был весь опутан перекинувшимися с нее плетями плюща. Тем не менее он, бесспорно, был самым большим и самым лучшим памятником на кладбище. Во-первых, он был мраморный. И по обе его стороны сквозь завесу плюща проглядывали коленопреклоненные фигуры ангелов, которые, склонив голову и сложив руки, мраморно молились. А самое главное, памятник увенчивала мраморная урна, задрапированная мраморным покрывалом.

— Уж конечно, это наша могила,— объявил Миксер.

Отряд Дермоди в беспорядке ринулся через заросли бурьяна. Близнецы на каждом шагу спотыкались и падали, а Молли всякий раз останавливалась и помогала им подняться. Подбежав ближе, они увидели, что могилу со всех сторон окружает высокая ограда из черных остроконечных прутьев, и остановились в растерянности.

— Это потому, что наша семья была главной в городе,— объяснил Миксер. Он первый добежал до ограды и взобрался на ее каменное основание.— Конечно, это наша могила. Вот даже имена можно разобрать. Смотрите — Малачи! Джеймс! — Он обернулся к Молли.— У нас ведь был двоюродный дедушка Малачи? И Джеймс?

Нед, Тим и Молли тоже уже влезли на основание ограды, а близнецы даже просунули голову между прутьями. Свежий порыв ветра раздвинул листья плюща у самого верха памятника, и Молли разобрала еще одно имя.

— Альф...— прочитала она.— Это, наверно, наш двоюродный дедушка Фонси. Фонси — это уменьшительное от Альфонс. Посмотрите, а вон Сесилия. Это наша двоюродная бабушка — уменьшительно ее звали Силия.

И тут, вне себя от восторга, Молли разглядела имя под листвой на самом верху памятника.

— О-о-о! — благоговейно вздохнула она. — Винсент! Это он. Винни. Видите? Его имя самое верхнее, потому что он умер первым. — Внимательно вглядываясь в надпись, она буква за буквой упоенно прочитала Миксеру: — «...и его возлюбленный сын Винсент, скончавшийся в возрасте двадцати шести лет».

Вся компания ликовала.

— А где имя нашего дедушки? Что-то я его не вижу, — озабоченно шепнул Миксер на ухо Молли.

— Его здесь и не должно быть, — объяснила Молли. — В фамильном склепе хоронят только неженатых сыновей и незамужних дочерей.

Успокоившись, Миксер прыгнул на землю.

— Давайте сюда венки, — приказал он. Торопясь исполнить его команду, близнецы так поспешно выдернули головы из решетки, что чуть было не оторвали их совсем, и опрометью бросились за коляской.

Но тут на другом конце кладбища раздался торжествующий вопль. Что, Даффи тоже нашли свою могилу? Ничего подобного. Они просто подбадривали своего пса, который погнался за крысой. Забыв свою миссию, отряд Даффи в полном составе присоединился к погоне.

Миксер испустил вздох облегчения.

— Ну вот, теперь у нас будет время разложить венки как следует. Эй, кто-нибудь, посадите меня. Я перелезу через ограду и хорошенько там все устрою.

Но вернувшиеся с коляской близнецы толкали друг друга локтями. Затем один из них дернул Молли за рукав.

— Даффи не поверят, что это наша могила, если не увидят сверху фамилии.

— Слышишь, Миксер? — обеспокоенно сказала Молли, но Миксер уже и сам заметил, что, хотя имена двоюродных дедов и бабок были четко видны, фамилию на самом верху памятника скрывало плотное сплетение таких старых и толстых стеблей плюща, что, похоже, их корень был прародителем всего плюща на кладбище.

— Заткнитесь и делайте, что вам говорят. Ну-ка помогите! — сказал он. — Вы что, хотите, чтоб Даффи заявились, когда у нас еще ничего не готово?

— Не придут, — сказал Нед. — Они про нас совсем забыли.

И действительно, лай старого пса замирал где-то вдали.

— Они и крысы след потеряли,— с удовлетворением сказал Миксер, перелезая через ограду с помощью Неда и близнецов.

Затем без лишних слов он разбежался, подпрыгнул и изо всех сил рванул толстый канат переплетенного плюща. Ничего не произошло. Канат по-прежнему сжимал в петле мраморную урну, точно и сам был высечен из мрамора. Миксер вздохнул поглубже, и снова разбежался, и снова дернул что есть мочи. Но от его стараний не было никакого толку — только осыпались сухие листья, да пробежала между буквами встревоженная уховертка. Оставив бесплодные попытки, он устало прислонился к ограде.

— Ничего не выйдет, Миксер,— сказала Молли.— Только ушибешься.

— Попробую в последний раз,— сказал Миксер. Но теперь, подбежав к памятнику, он подпрыгнул так высоко, что сумел упереться носком башмака в складку ангельского одеяния, и, вскинув тело вверх, ухватился за шею ангела.

— Осторожнее, Миксер,— умоляла Молли.

А Миксер тем временем обвил свободной рукой ножку урны и поставил ноги на канат из плюща.

— Держись! — крикнул он и, отпустив руки, всей тяжестью обрушился на тугое сплетение старых стеблей.

На этот раз канат не выдержал, раздался треск, и Миксер, раскинув руки, свалился на землю вслед за огромной кучей плюща среди клубов накопившейся за столетие пыли.

— Ура! — завопила команда Дермоди.— Ура-а-а-а!

Вскочив на ноги, Миксер собрался было подхватить их клич, но обернулся и увидел обнажившуюся на памятнике фамилию.

— Да это вовсе не наша могила,— ахнул он, ошалело глядя на крупные буквы, которые, укрытые много десятилетий под навесом плюща, нисколько не стерлись и выступали столь же четко, как в тот день, когда их высекли.

ДАФФИ

— Ой, Миксер, это же могила Даффи!

Молли так огорчилась за него, что не могла больше смотреть на памятник.

— Тише! — прошипел Миксер, ухватив ее через ограду за руку. — Даффи услышат!

Поздно! Даффи уже услышали. Забыв про крысу, они остановились как вкопанные и уставились в их сторону.

— Живо! — скомандовал Миксер своим. — Кидайте сюда венки. Пусть Даффи думают, что это наша могила. Нечего им знать, что она не наша, а ихняя. Что мы для них ее нашли, что ли?

Через ограду полетели венки, ветки и пучки листьев. Миксер хватал их и без разбора бросал на могилу и развешивал на всех ангельских выступках, до которых мог дотянуться.

— Кричите «ура!», — приказал он. Сам он был так занят, что ему некогда было кричать.

Это была весьма своевременная предосторожность. Джемси Даффи уже направился было к ним, но услышал «ура!» и остановился. Увидев, что через ограду летит новая охапка веток, он разочарованно повернул назад. Минуту спустя, свистнув собаке, он направился во главе своего отряда к воротам, оставив поле боя за победителями.

Еще несколько минут из-за стены доносились унылые голоса Даффи, затем все смолкло.

Дермоди переглянулись. Сбившись в кучку на островке вытоптанной травы, они вдруг заметили, что, хотя сквозь ветки деревьев, росших на улице, теперь и пробивались лучи тусклого вечернего солнца, густые тучи плюща на монастырской стене уже отбрасывали глубокую тень на это унылое и заброшенное царство бурьяна. Казалось, что Старое кладбище вот-вот, увлекая их с собой, канет в бездонном океане темноты.

— Который час? — испуганно спросил кто-то, и как будто в ответ издалека, из другого мира за кладбищенской стеной, донесся тонкий голос женщины, сердито зовущей кого-то.

— Это мама нас зовет, — хором закричали близнецы и, увидев, что Даффи забыли запереть ворота, побежали к выходу.

— Я, пожалуй, тоже пойду, — сказал Тим и пошел следом. Вместе с ним улизнул и Нед.

Молли и Миксер остались вдвоем.

— Могли бы сначала помочь мне выбраться, — хмуро буркнул Миксер. Впрочем, с помощью Молли он все же

сумел перелезть через ограду. Однако, когда он выбрался наружу, его бил озноб.

— Что с тобой, Миксер? Тебе холодно?

— Нет,— ответил он.— Пошли отсюда.

— А как же коляска? Оставим ее здесь до завтра?

— Да пусть она провалится! — рывкнул Миксер и торопливо зашагал к воротам.

Молли послушно пошла за ним, но глаза ее рассеянно блуждали по морю бурьяна, откуда, точно захлестнутые приливом, торчали могильные камни, готовясь совсем погрузиться в волны сумрака.

— Где же все-таки могила Ады? — тихо проговорила Молли и вдруг с легким вскриком остановилась.— Миксер! Но если это участок Даффи, почему у всех их двоюродных дедушек те же имена, что и у наших? Малачи, Фонси, даже Винни! — К недоумению Миксера, она рассмеялась.

— Ой, Миксер, вот смешно, если это все-таки наша могила!

— Откуда ты это взяла?

— Не знаю. Только ужасно смешно было бы! А почему бы и нет? Может, наша прабабушка была Даффи.— Она захлопала в ладоши.— Так оно и есть. Помнишь, твоя мама говорила, что наша прабабушка вышла замуж за одного своего приказчика. Значит, его фамилия была Дермоди! Разве не смешно, Миксер?

Миксер не увидел в этом ничего смешного. Ему потребовалась добрая минута, чтобы придумать удовлетворительное объяснение.

— Ну так умный был человек, и Дермоди в него пошли,— наконец сказал он, и у него сразу стало легче на душе.— Наверно, он вовсе и не простой приказчик был, а вроде управляющий. Потому-то его фамилию и написали на вывеске — чтобы не путали со всякими Даффи. Они ведь, наверно, всегда были никудышными. Только погляди, до чего они свою лавку довели.— Миксеру все больше нравилась эта мысль.— Надо сказать Джемси,— воскликнул он.

Может, Джемси не успел уйти далеко? Может, они его еще догонят?

— Быстрей, Молли,— заторопил он сестру. Но та схватила его за рукав.

— Миксер, раз мы с Даффи родня, значит, Винни о

Адой были двоюродные брат и сестра. Ой, Миксер, вот почему им нельзя было пожениться. Никто не был виноват. Бедненькие!

Миксер смотрел на нее с недоумением.

— Если они были двоюродные, с чего бы им вздумалось жениться? Мало им было, что они брат и сестра?

Молли это в голову не пришло. Конечно, Миксер прав. Чем плохо быть братом и сестрой? Почему Аде и Винни этого было мало? Она с восхищением посмотрела на Миксера, который уже шел к воротам, и побежала за ним.

Однако у ворот он остановился.

— Знаешь что, — задумчиво сказал он. — Наверно, Ада была чокнутая, как и все Даффи. — Тут он заметил торчащий в замке ключ. — Гляди-ка, Джемси забыл отдать ключ. Давай отнесем, а то ему попадет. И расскажем про могилу.

Они заперли ворота и вышли на улицу. На лице Миксера вдруг мелькнула тревога.

— Как ты думаешь, Джемси правду говорил, что тебе нельзя будет навещать меня в школе?

— Много он знает! — презрительно отозвалась Молли.

Но Миксер не разделял ее уверенности.

— Жалко, что ты не мальчик, Молли. Тогда бы тебя уж точно пустили.

— Что ты, Миксер, я бы ни за что не хотела быть мальчиком!

— Что? — Миксер не мог поверить своим ушам. — Знаешь, Молли, — наконец сказал он, — по-моему, ты такая же чокнутая, как все они! — Тем не менее он радостно рассмеялся и схватил ее за руку. — Побежали наперегонки!

Но бежать наперегонки, держась за руки, было никак нельзя, и он выпустил ее руку.

— Только дай мне фору, — сказала Молли.

— Вот-вот! А я что говорил, — сказал Миксер. Он дал ей отойти, и они побежали.

Кончился еще один летний день.

Волосы у отца были черные, как у дьявола, и временами он впадал в такую же черную меланхолию. О смерти он говорил — а поминал он ее часто: «когда меня зароят в черную яму». Все у него, можно сказать, было черным, кроме алой крови, ярко-синих глаз и золотого света любви, которым он озарил мое детство.

Женился он поздно, романтично и не очень счастливо. Тем не менее они с матерью прожили вместе всю жизнь и до конца своих дней гордились тем, что остались верны брачному обету.

Они познакомились на пароходе «Франкония». Отец в юности отправился в Америку и на «Франконии» ехал домой в Ирландию купить лошадей для хозяина племенного завода, у которого работал в Ист-Уолполе, штат Массачусетс. Мать гостила в Америке в Уолтеме у двоюродного деда, который был там священником католической церкви и жил вместе с сестрой.

Родители матери жили в графстве Голуэй. Семья имела средний достаток. Отец занимался оптовой торговлей углем, семенами и гуано, а также держал лавку, в которой продавал чай, сахар и спиртные напитки. Мать была старшей из двенадцати детей. Меня всегда удивляло, как это старшая дочь отправилась в Америку просто в гости — ведь, как правило, ирландцы в те годы ехали туда навсегда, как эмигранты. Поездка в гости — в этом была некая утонченность, что подтверждали ее классическая красота, ее тонкая, как стебель цветка, талия, ее безукоризненный вкус и манера держаться. Отец обратил на нее внимание, едва ступил на трап, — она уже сидела на палубе в шезлонге и читала книгу.

Но поженились они лишь три года спустя, после долгой переписки, которую он поддерживал с большим пылом, чем она. Он прислал ей обручальное кольцо с бриллиантом и деньги на дорогу. Обвенчались они в церкви ее деда в Уолтеме.

Матери очень не нравилась жизнь в Америке, и трижды, когда отец отпускал ее погостить у родителей в Ирландии, ему пришлось самому ехать туда за ней. Рассказывая о переездах через океан — неважно в какую сторону, — мать говорила, что ехала в гости, и только последнюю поездку в Ирландию, когда она взяла меня с собой и твердо знала, что назад уже не вернется, она считала возвращением домой. Отец взял из банка часть своих сбережений, чтобы она купила дом в Ирландии. Дом она купила в Дублине, и отец оставил работу, забрал из банка остальные деньги и тоже вернулся в Ирландию — насовсем.

Отец как будто не сердился на мать за то, что она вынудила его вернуться на родину. Возможно, он был даже рад: хотя денег он скопил не так уж много, в Ирландии их было достаточно, чтобы пустить пыль в глаза. Из Америки он привез автомобиль, казавшийся на узких ирландских дорогах огромным. Когда мы отправлялись в воскресенье кататься за город, мне казалось, что колючие кусты живой изгороди по обеим сторонам дороги вот-вот обдерут бока машины. Изгороди были такими высокими, что другие машины выглядели между ними темными козьянками. Да, сидеть в дорогом пальто с каракулевым воротником за рулем этой машины было совсем не то, что бегать босиком по полям в графстве Роскоммон, откуда отец был родом.

— А почему мы не поселились в Роскоммоне? — спросила я как-то у отца.

Его синие глаза обожгли меня презрением — боже, какая дура!

— И где бы ты получила образование?

Наверно, он, подобно большинству бедняков эмигрантов, воображал, будто в родных краях время застыло на месте и дети там все еще бегают в школу босиком, решают задачки на грифельной доске, через день прогуливают, а в конце концов, как он когда-то, едва научившись подписывать свое имя, бегут в Англию, а оттуда — в Америку.

Хотя отец был человеком редкого ума и большой прощительности, образования он не получил никакого. Читать и писать он умел, но с трудом. Правда, один из его предков в дни гонений на католиков учил детей катехизису прямо под открытым небом, чем и прославился. Отец очень гордился своим ученым праотцем. Возможно, именно эта гордость и послужила причиной того, что он преждевременно расстался со школой в Френчпарке, где все классы помещались в одной комнате. Как-то раз учитель, ведя поэтическую беседу о наступлении весны, упомянул кукушку и сказал что-то о кукушкином гнезде. Тут отец вскинул руку и, не дожидаясь разрешения учителя, с негодованием выпалил:

— Кукушка не вьет гнезд! Она кладет яйца в чужие гнезда!

— Вот как?

Столь публичное изобличение в невежестве, по-видимому, сильно уязвило учителя.

— Ну что же, мальчик, если ты считаешь, что можешь учить класс лучше меня, иди садись на мое место!

Затем, оставив саркастический тон, учитель взревел, хватая трость:

— Я тебя научу вежливости!

— И опять ошиблись,— ответил отец.— Меня вам уже больше ничему учить не придется!

С этими словами он запустил в голову учителя грифельной доской. К счастью, против обыкновения меткость ему изменила, и он промахнулся. Зато в классной доске осталась дюймовая вмятина. В суматохе отец выскочил за дверь и припустил по дублинской дороге. Он был в таком бешенстве, что забыл попрощаться со своей матерью, которую больше никогда в жизни не видел. Раз три-четыре он рассказывал мне про нее, и, я уверена, он думал о ней в тот раз, когда стоял у изгороди, опершись о калитку и устремив куда-то вдаль взгляд, исполненный самой черной меланхолии.

Из Дублина отец отправился в Ливерпуль, оттуда — на картофельные поля Шотландии, потом на сбор хмеля в Йоркшире и в конце концов под пасху прибыл в Бостон, тогда один из крупнейших портов Америки. С собой он привез только воспоминания босоногого мальчишки о том, как он бегал по болотам и неогороженным полям Роскоммона с самодельной удочкой, а может быть, рогаткой.

Этому мальчишке ничего не стоило сбегать из Кастри в Бойль или даже в Слиго. Расстояние в двадцать миль было для него пустяком. Он, как козлик, всакивал на каменные изгороди, как гончая, перемахивал через ручьи и, сокращая путь, переплывал озеро в одежде — был бы ветер, чтобы ее высушить. Когда я задумываюсь о том, что такое юность, я вижу перед собой мальчика, бегущего по пустынным полям под небом, полным птиц. Отец сумел сделать свои воспоминания и моими.

У матери тоже были воспоминания, но их было чересчур много. Она не расставалась ни с одним дубликатом. Ее память бережно хранила сотни прогулок с сестрами летним вечером по валу, окружавшему их городок. В каждом из этих воспоминаний звенел смех, в каждом с невинным притворством разыгрывалось удивление при встрече с поклонниками, которые случайно прогуливались там же и в тот же час. Все ее воспоминания о зимних вечерах можно было бы свести к одному — они собрались в гостиной, моя мать играет на пианино, ее сестры стоят перед ней полукругом и поют высокими девичьими голосами, а их поклонники стоят позади и поют низкими голосами. Я была единственным ребенком в семье и в детстве любила представлять себе, как эти веселые юноши и девушки раскачиваются из стороны в сторону, а из их ртов, как из кадил, выплескиваются одна за другой песни. Потом мне надоело слушать о них, и, обуреваемая гордыней юности, я решила, что мать истратила на эти воспоминания всю свою способность любить. Задолго до того, как я узнала, что такое любовь, я поняла, что между моими родителями ее нет. Хотя мать и рассказывала мне с гордостью о многочисленных американках — ирландского, разумеется, происхождения, — чьи надежды потерпели крах, когда отец вернулся из Уолтема с молодой женой. Она, посмеиваясь, показывала мне трофеи, скопленные им за холостую жизнь, — топазовую булавку для галстука, набор щеток с серебряными ручками и полдюжины золотых запонок. Отец был самым завидным женихом в Ист-Уолполе, не раз говорила она. Ему уже перевалило за сорок пять, а ни одной женщине не удалось подцепить его на крючок. Мать считала, что порядочные девушки женихов не ловят — это им расставляют силки. Самой ей исполнилось тридцать, прежде чем ее заманили в силок. Все считали, что ей гораздо меньше, говорила она, но потом повитуха восполь-

зовалась минутой, когда у нее было затуманено сознание — я вот-вот должна была появиться на свет, — и дозналась, сколько ей лет.

— Все равно те, что бегали за твоим отцом, были куда старше, — говорила мать. — Ведь они не один год прожили в Америке — иначе откуда бы у них были деньги на такие дорогие подарки? Уж будь спокойна, из Ирландии они уехали без гроша в кармане.

Собственно говоря, и сама она вряд ли везла с собой богатое приданое, но все же те ехали третьим классом в трюме, а она в каюте. Ее отец не только занимался оптовой торговлей зерном и гуано, но был еще агентом пароходных компаний «Кунард» и «Уайт стар», и поэтому мать прекрасно знала, как ехали в Америку ирландские бедняки, какое бы величие они потом на себя ни напускали.

Моя мать ехала в отдельной каюте — квинстаунские агенты компании любезно предоставили ей билет первого класса со скидкой. Она была глубоко убеждена, что переезд в трюме покрывает женщину несмываемым позором. Ее каюта была для нее символом того, насколько женитьба возвысила отца — ведь он-то, конечно, в первый раз ехал в Америку в трюме. К тому времени, когда они познакомились на «Франкони», он и сам поднялся до первого класса, иначе они, разумеется, не познакомились бы.

— Ни одна из этих женщин не составила бы его счастья, — объясняла мне мать в Ист-Уолполе. Всех их я знала в лицо. Они были толстыми и веселыми, и обычно я их видела в обществе их мужей — на бейсбольном матче, или на улице во время праздничного шествия, или они сидели рядышком у себя на крыльце в одинаковых креслах-качалках. Моя мать никогда не сидела на крыльце в качалке. Она не ходила на бейсбольные матчи. И вышла посмотреть только одно шествие — в тот день, когда Соединенные Штаты вступили в первую мировую войну. Она тогда стояла у калитки нашего дома на Вашингтон-стрит (тогда она еще называлась Бостонским почтовым трактом) и смотрела, как американские юноши идут строем в лагерь новобранцев. Она плакала, потому что думала о своих братьях в Ирландии. Обычно же мать почти все время сидела дома, вышивала или читала. Она не считала нужным тащиться за мужем, куда бы он ни пошел.

Мне эта позиция не казалась такой уж разумной, и однажды я лукаво спросила отца, не жалеет ли он о своих бывших поклонницах.

Он поглядел на меня с изумлением.

— Разве они родили бы мне такую дочку? — сказал он. — По красоте ты с матерью не сравнишься, но поведением вся в нее.

И тогда я поняла, что эта повадка была для него неиссякаемым источником гордости.

Иногда мне приходило в голову, что мать колебалась три года после их знакомства на «Франконии» из-за его необразованности. Отец ведь сделал ей предложение, когда они прощались на пристани в Квинстауне.

— Но с первого взгляда он мне не понравился, — объясняла она. — Меня возмутило, как он всех разглядывал, когда поднялся на палубу, особенно меня. Я вовсе не удивилась, когда он подошел и вмешался в наш разговор.

На пристани мать познакомилась с двумя пожилыми англичанами; они помогли ей найти носильщика, а потом сказали стюарду, чтобы их шезлонги поставили рядом. И еще они убедили ее выбрать первую смену, потому что сами предпочитали обедать в первую смену. Мать утверждала, что они были очень приятными спутниками и скрасили ей путешествие. Оба были женаты и очень тепло говорили о своих женах, которые не сопровождали их лишь потому, что это была деловая поездка. Они показывали ей фотографии своих жен и говорили, что тем тоже очень понравился «Ткач» Джона Паркера — книга, которую читала мать, когда отец увидел ее, поднимаясь по трапу.

Эту книгу на второй день плавания она оставила в шезлонге, когда пошла обедать, и отец написал свое имя на полях той страницы, на которой она была раскрыта. После этого каждый раз, когда книга оставалась в шезлонге, он расписывался на раскрытой странице.

— Страшное нахальство! — говорила мать. — Если бы мои сестры знали, они бы в ужас пришли.

Однажды, когда она и оба приятных пожилых англичанина играли в квойты * и ее партнер положил свое кольцо, чтобы передохнуть, отец схватил это кольцо и закончил игру. Разумеется, они с матерью победили. А потом

* Игра, в которой набрасывают кольца на столбик.

он был ее партнером в финале, и они завоевали первый приз — серебряную вазочку, которую он тут же преподнес ей, но которую я никогда в жизни не видела. Она куда-то исчезла за те три года, что прошли между игрой в квойты на парохоме и игрой в женитьбу на суше.

Ее приятели англичане, с которыми мать упорно продолжала сидеть на палубе до конца путешествия, подшучивали по адресу ее и Тома. «Он непременно сделает вам предложение, прежде чем мы придем в Квинстаун», — предсказал один из них, и другой согласился. Они убеждали ее ответить ему согласием: «Он хороший человек, Нора».

— Но я ему отказала! — говорила мать со смехом, который и сейчас звучит у меня в ушах. Она прелестно смеялась — ее обаяние отнюдь не ограничивалось красотой лица. — Какое нахальство — измарать всю книгу!

Полагаю, что, глядя на его каракули, она заподозрила недостаток образования, а вскоре его письма подтвердили правильность ее догадки.

Я часто задумывалась, куда делись его любовные письма к матери. Что она с ними сделала? Неужели женщина может уничтожить любовные письма только из-за неправильной орфографии? Письма, которые отец писал мне, когда мать увезла меня от него в Ирландию, до сих пор дышат любовью, хотя чернила на них выцвели и бумага истерлась. Я бережно храню их все до единого. Среди них есть одно на розовой бумаге — отец написал его, когда уже приехал к нам из Америки. Это было накануне Больших скачек, и он собрался в Ливерпуль с ночевкой. Ему все-таки удалось посмотреть, как я играла левого крайнего в хоккее на траве, но до конца матча он остаться не смог. Надо сказать, что в молодости он был отличным спортсменом и великолепно играл в хоккей на траве. Правда, в то время правила разрешали любому игроку бить по воротам с любого положения и в любой момент. В этом письме он писал:

Дорогая доченька!

Вот тебе фунт на карманные расходы и надеюсь ваша команда выиграет. Твоя игра меня огарчила — ты вроде как ждешь чтоб мяч сам к тебе пришел — так нельзя. Бегать надо а не стоять на месте. Желаю успеха.

Твой паппа

Он всегда так писал — «паппа» через два «п», — такая уж у него была манера. А два варианта «тебе» доказывают, что он просто не считал себя обязанным одно и то же слово писать всегда одинаково — даже в одном предложении, не говоря уж об одной странице. Ему как будто казалось, что каждое новое написание придает слову особый смысл — или по крайней мере особый оттенок. Письмо для него словно обладало особым зримым качеством и несло в себе нечто большее, чем просто смысл слов. Сколько раз я видела, как, закончив наконец письмо, он откидывался назад, точно художник, отступающий от мольберта, потом хватал ручку и принимался яростно черкать в нем, ставя точки над «i», перечеркивая «t» и удваивая буквы — до тех пор, пока не удовлетворялся созданным впечатлением.

Его письма ко мне пробуждали ответную любовь по меньшей мере той же силы, что была в них заложена. Я храню их в обитой бархатом шкатулке, в которой мать прежде хранила безделушки, подаренные ему другими женщинами. В этой шкатулке я, кроме того, храню сувениры, которые представляли для матери ценность, несоизмеримую с их стоимостью: серебряную медаль «Сын девы Марии», позолоченный крест для причастия и крючок для застегивания пуговиц, сделанный из настоящего серебра, хотя и дутый. Этот крючок меня особенно удивлял — для меня он воплощал то, что я расценивала как отсутствие глубины в ее чувствах. Почему она хранила его всю жизнь? Это был случайный и довольно странный подарок от покупателя, который часто заходил в лавку ее отца и которого она называла не иначе как «мистер Баррет». Разве так называют хорошо знакомого человека?

— Но ведь и он всегда называл меня «мисс Нора», — сказала мать в ответ на мой недоуменный вопрос.

Мистер Баррет служил в большом имении Малтифарнем в нескольких милях от их городка. Мать познакомилась с ним как-то днем, когда гуляла там с сестрой и рвала желтые нарциссы — они росли под деревьями в таком изобилии, что девушкам и в голову не приходило считать это воровством.

— Когда мистер Баррет поймал нас, он сказал, что нарциссы только полезно проредить, — рассказывала мать. А вечером он зашел к ним в лавку выпить стаканчик, а на самом деле увериться, что она не мучается угрызения-

ми совести.— Рюмку портвейна,— торопливо добавила она.— Ничего другого он не пил.

Портвейн явно служил простым предлогом — чтобы предупредить возражения ее родных, — как будто это было возможно, казалось, говорил ее тон. Сначала я не поняла, что, собственно, им в этом знакомстве не нравилось.

— Я часами болтала с ним в лавке,— продолжала мать.— Сестры из себя выходили. Мы все играли на пианино, но я играла лучше остальных. И они злились, потому что я оставалась в лавке до самого закрытия.

— А разве в гостиную ты его привести не могла?

— Разве я тебе не говорила? Мистер Баррет был ПРОТЕСТАНТ!

— Да? — только и сумела сказать я и впервые с настоящим интересом посмотрела на шрам, полукольцом охватывавший ее указательный палец. Собственно, он охватывал его почти полностью. Казалось даже, что это было настоящее кольцо из слоновой кости или китового уса, которое каким-то образом погрузилось в мякоть и заросло кожей, как могила травой. Его и вовсе не было бы видно, если бы кожа матери, как у иных уроженцев Голуэя, не была оливкового цвета. Молва объясняет это крушением испанской Армады возле берегов Ирландии. Даже в старости мать сохранила нежную и мягкую кожу. Шрам и тогда сиял у нее на пальце, как молодой месяц.

— Я вытирала рюмку, чтобы налить ему портвейна,— рассказывала мать,— и вдруг она сломалась у меня в руках. Мистер Баррет вытащил носовой платок, порвал его на полоски и перевязал порез. Платок был шелковый, с монограммой.

— А он тебе когда-нибудь писал? Где он сейчас?

— Умер,— ответила она.— Его нашли утром в канаве между дорогой и лесом. Вечером он обычно ходил домой напрямик через луга. Наверно, поскользнулся на мостках. Он лежал лицом в воде.— Она помолчала и добавила: — Воды-то было всего на полфута, но он утонул.

— Он был пьян?

Вопрос напрашивался сам собой, и мне казалось, я вовсе не заслужила того испепеляющего взгляда, которым она меня наградила.

— Я же тебе сказала, что он пил только портвейн, и всегда только одну рюмку.

— Какой ужас! — воскликнула я. — Ты очень переживала?

— Я об этом узнала только через два года, когда приехала с тобой в Ирландию — ты была еще совсем крошечка, — показать тебя родным. Это случилось через несколько дней после того, как я уехала в Америку, чтобы выйти замуж за твоего отца. Я спросила про мистера Баррета, как только вошла в дом — мне хотелось знать, приходил ли он в мое отсутствие. — Она поглядела на шрам. — Тогда мне и сказали. — Она опять помолчала. — Но что бы там ни говорили, я знаю, что он никогда много не пил — одна рюмка портвейна, и все.

Больше я мать никогда про мистера Баррета не спрашивала — даже когда умер отец и она могла бы, наверное, рассказать мне о нем подробнее.

Мать пережила отца на двадцать лет — вполне естественно, ведь она была настолько же его моложе. Тем не менее это было несправедливо по отношению к ней — он получил ее красоту, которой мог гордиться и хвастать, а она была лишена его поддержки на склоне лет, когда больше всего в ней нуждалась. «Бедный Том, — говорила она, — если бы он только знал, что мне придется так долго перебиваться самой, без него!» или: «Если бы Том увидел меня такой вот скрюченной, он бы умер с горя». И если отец о смерти всегда говорил: «когда меня зароят в черную яму», мать о ней говорила: «когда мы будем вместе с Томом», подразумевая, что, где бы он теперь ни находился, это и будет ее настоящий дом. И там ей будет хорошо.

В течение этих двадцати лет она говорила о нем примерно так же, как ее братья и сестры говорили о нем, когда он был жив.

— Бедный Том, — говорила мать, — он так ко мне хорошо относился.

— Бедный Том, — говорили, бывало, они, — он так хорошо относится к Норе.

Как-то, когда матери уже два года не было в живых, я навестила незамужнюю тетку, которая вела хозяйство одного из своих холостых братьев. Мы сидели в той самой маленькой гостиной, которая в рассказах матери всегда была полна радости, смеха и песен, но день был пасмурный, и говорили мы о грустных вещах и то и дело вовсе

умолкали. Во время одной такой паузы тетка взяла газету и вдруг ахнула.

— Послушайте-ка! — воскликнула она. — Вчера какого-то несчастного молодого человека нашли мертвым в канаве, в которой воды всего было на фут. Он лежал лицом вниз. Думали, что он был пьян, но следователь пришел к заключению, что он покончил с собой.

— Где это случилось? — вяло спросил дядя, и, когда тетка ответила, что в другом графстве, его интерес совсем угас. Но тетка, пожирая глазами газетные строки, схватила брата за руку и стала трясти.

— Покончил с собой! — повторила она. — Совсем как Норин мистер Баррет.

Я готова была засыпать ее вопросами, но меня остановило выражение лица дяди.

— Что ты выдумываешь? — закричал он. — Норин мистер Баррет — если тебе угодно так его называть — утонул в результате несчастного случая. Ты это знаешь не хуже меня. Что бы сказала Душка, услышь она твои слова?

Душкой называли мою бабушку с материнской стороны все ее взрослые дети. Слово было ласкательное, но мне всегда представлялось, что оно подходило ей больше, чем они признавали. В той или иной мере она придушила их почти всех.

Знала ли мать всю правду о мистере Баррете? А отец? Не тем ли объяснялись его редкие, но страшные запои и еще более редкие и еще более страшные приступы депрессии, которая гасила в нем всякую радость жизни? Они накатывались на него в самые, казалось бы, счастливые минуты, когда он, стоя у изгороди, глядел, как его чистокровные лошади весело несутся по заросшему буйной травой пастбищу. Вдруг его лицо темнело: наверняка он думал, что в черную яму их зароят даже раньше, чем его. Он отчетливо признавал, что булавки для галстука и серебряные щетки переживут миллион людей и миллион лошадей.

Мне было двадцать лет. Я только что сдала письменный экзамен за первый курс университета, и в ожидании результата отец решил свозить меня в Роскоммон в свои родные места. Он уже возил меня на озера в Килларни и в Коннемару. Мы вместе побывали среди скал Антрима и

цветущих лугов Буррена. Но я с детства усвоила, что все эти места не идут ни в какое сравнение с болотами Роскоммона, залитыми солнечным светом его воспоминаний,— светом, над которым была не властна ночь и который не могла омрачить ни одна туча.

В Бойль мы приехали во второй половине дня и свернули на дорогу, ведущую во Френчпарк. Как-то на него действуют все те неизбежные перемены, которые произошли здесь после его отъезда?

К моему удивлению, его нисколько не заботило, что золотые соломенные крыши сменились серым шифером, а лошади на полях — тракторами. Он, казалось, и не замечал, что у мальчишек на ногах башмаки и что ни у одной девочки волосы не падают каскадом на плечи. Его глаза не видели этих перемен и радостно останавливались на каждом холмике, на каждой каменной ограде, которые остались неизменными, на каждом ручье, по-прежнему бежавшем по замшелым камням.

— Посмотри-ка! — то и дело восклицал он, останавливая машину и с восторгом показывая на что-нибудь знакомое. — Посмотри на эту калитку! Сколько раз я через нее перепрыгивал! Гляди, гляди! Черт подери, да это же тот самый вал, на который я въехал на осле Докери — пихаю его пятками в бока, точно в масло их втыкаю.

Тут он углядел еще что-то и совсем задохнулся от волнения.

— Вот уж не думал, что она уцелела! Вот те на! Да это же старая школа! — восклицал он. — Господи, жив ли еще учитель!

Разумеется, старый домишко давно уже не был школой. Милей раньше мы проехали мимо большой новой школы. Но Том вылез из машины и долго на него глядел. Потом подошел к двери и подергал ручку. Дверь была заперта. Тогда он поглядел вверх на окна, которые располагались почти под потолком, чтобы школьники тех дней не смотрели в них и не отвлекались от уроков.

— Бьюсь об заклад, та вмятина от моей грифельной доски еще цела, — сказал отец и вдруг подхватил меня под мышки и поднял, как, бывало, поднимал в Бостоне, когда я была маленькой, чтобы мне было лучше видно шествие.

— Ты что-нибудь видишь?

— Картонки какие-то везде сложены.

Классную теперь явно использовали под склад тетрадей, блокнотов, ластиков и карандашей, сменивших грифельные доски его времени.

Он поставил меня на землю.

— Все равно вмятина на доске наверняка целая, — сказал он и засмеялся. — Если бы знать, что учитель все еще живет тут, я бы завернул к нему показать тебя. — Он посмотрел по сторонам. — В этом домишке нас помещалось восемьдесят четыре человека, и я каждого помню по имени.

Как будто я не помнила! Я сама могла бы без запинки, как молитву, отбарабанить их имена: Мики Докери, Том Форд, Джеймс Нири, Этель Скэлли, Мэри Моррисроу, Пэдди Шеннон...

— Почти все они уехали в Америку, — сказал отец. — Я там многих встречал. Иной раз зайдешь в пивную, народу кругом тьма толчется, и вдруг видишь знакомое лицо — и как ударит: да он же из Роскоммона! Тут же и имя вспомнишь. Поставишь кружку на стойку, подойдешь, хлопнешь его по плечу и назовешь по имени. Но если он увидит, как я к нему иду, то раньше меня закричит: «А, чтоб тебя, да ведь это же Том!» И потом пойдет: я поставлю, он поставит — и так до последнего доллара в кармане. Не одних только ребят — девочек я тоже встречал. Сидим мы как-то с твоей матерью в ресторане Чайлда в Бостоне, гляжу — официантка: фигура такая складная, а волосы огненные, словно солнце на закате. «Ну что ты на нее глядишь, Том», — говорит мать. Она стеснительная была. Но, хотя та стояла к нам спиной, я готов был спорить на пять долларов, что она из Роскоммона. «Погоди, — говорю, — вот обернется, я тебе скажу, как ее зовут». Но когда она обернулась, я и рта не успел раскрыть. Как закричит: «Том!», бросила поднос, подбежала к нам и ну пожимать матери руку, а тебя тискать и вверх подбрасывать. Все кругом так рты и поразинули. Хозяйка ресторана прибежала на шум, но, как увидела, что это Молли Старки, повернулась и ушла, вроде бы ничего не заметила. Попробуй кто Молли одерни! Сбросит фартук, и только ее и видели, если ей босс посмеет хоть слово сказать. Из Роскоммона женщина, одно слово. И знаешь, что она сделала, когда мы кончили есть и я попросил счет? Выбила в кассе чек, на котором стоял нуль. «В честь нашей встречи», — говорит. Видишь, какая она была!

Отец засмеялся.

Он снова посмотрел по сторонам, на деревню, где рядом с новыми домами из бетонных блоков еще стояли три-четыре глинобитные лачуги. Но на их соломенных крышах росло больше травы, чем на маленьких выгонах вокруг. Им тоже скоро предстояло рассыпаться глиной, из которой их когда-то слепили.

— Вон там она жила,— сказал отец, указывая на одну из лачуг, видневшуюся позади нового коттеджа. Теперь, по-видимому, она служила коровником. Он вздохнул.— Только это было очень давно. Не знаю, жива ли она еще. Из прежних тут, верно, мало кто остался. Многие уже, наверно, упокоились...

Я ждала, что сейчас последуют знакомые слова про черную яму, но он был весь во власти воспоминаний детства.

— ...на Клушелвильском погосте,— негромко закончил он, показывая на видневшееся вдаль небольшое кладбище; надгробия на нем мало чем отличались от неотесанных камней, из которых была сложена его ограда.

— Твои родители там похоронены? — спросила я, вспомнив про его мать, с которой он расстался, не попрощавшись. Я подумала, что он захочет сходить к ней на могилу.

Но отец пожал плечами.

— Да, где-то их там зарыли,— ответил он со странным, как мне показалось, равнодушием.— Я как-то послал священнику деньги и попросил поставить памятник, но он деньги вернул — написал, что никому не известно, где их могилы.

На минуту нас словно накрыло мрачной тенью.

— Удивительно, что он вернул деньги, другой бы оставил их себе и читал молитвы за упокой их душ,— сказала я, и тут тень рассеялась, и на лице отца солнечно засияла улыбка.

— А мне это и в голову не пришло,— сказал он.— Но в те времена священники были не чета нынешним. Он был порядочный человек, даром что священник.

Возвращаясь к машине, мы увидели, что по дороге в нашу сторону идет старик.

— Давай-ка поговорим со старожилом,— сказал отец,— узнаем, не осталось ли здесь кого из прежних.

Старик был так сгорблен и брел так медленно, что мы сели в машину и поехали ему навстречу. Когда до него было уже близко, отец снял руку с руля и толкнул меня локтем.

— Ползет своим ходом на кладбище, чтобы других от хлопот избавить,— сказал он.

Однако, подъехав к старику, мы увидели, что для своих лет он еще довольно бодр. Лицо его задубело от ветров и дождей, но он выглядел крепким, как дикая утка. И согнула его не бедность: на нем был хороший суконный костюм, а на ногах добротные башмаки. Он подошел к машине и сказал со старомодной любезностью, которую теперь уже не часто встретишь:

— Добрый день, сэр.

— И вам добрый день, сэр,— ответил отец, но я заметила, что он смотрит на старика с каким-то замешательством.

— Хороший сегодня выдался денек, благодарение богу,— продолжал старик. Отец ничего не ответил, и старик окинул машину внимательным взглядом.— Хорошая у вас машина, сэр. Наверно, путешествуете по нашим краям? Может, дорогу в Дублин ищете, сэр?

Тут отец рассмеялся.

— Нет, я здешние места хорошо знаю. Хотел бы я, чтобы мне по доллару уплатили за каждый раз, что я ходил по этой дороге! — воскликнул он с каким-то ухарством.

— Я так и подумал, что вы из Америки, сэр,— сказал старик.— Да, американцы — люди денежные, могут путешествовать, сколько их душе угодно!

Тут старик тоже наморщил лоб, словно что-то его смущало.

Отец секунду помедлил, затем, к моему изумлению, повернул ключ зажигания и включил скорость. Но перед тем, как тронуться, он высунулся из окна и спросил:

— Вы случайно не знавали парня, которого звали Дэнни Келли?

— Дэнни Келли? Как же! Мы с ним в одном классе учились вон в той школе!

— А он и сейчас тут? — медленно проговорил отец.

Старик издал сухой смешок.

— Тут, тут,— ответил он.— Уехал было в Шотландию, но недавно родные привезли его обратно. И уж больше он

никуда не уедет. — Старик ткнул большим пальцем в сторону кладбища. — Упокой, господи, его душу.

— Упокой, господи, его душу, — повторил отец, и оба сняли шляпы.

— А еще был парень по имени Иган, — сказал отец. — Вы его не знали?

— Странно было бы, если б я его не знал! Меня зовут Пат Иган, — сказал старик, но теперь в его голубых глазах засветился вопрос. — Извините за любопытство, сэр, но где вы слышали мою фамилию?

«Сейчас он ему скажет», — подумала я. Но отец чуть-чуть отпустил сцепление.

— В Бостоне у меня был знакомый родом отсюда. Вот он и просил, если случится мне побывать в этих местах, узнать про ребят, которые вместе с ним ходили в эту школу.

И отец кивнул в сторону старого домишка.

— А как его звали, сэр?

Отец, видимо, ожидал этого вопроса и был к нему готов.

— Вот незадача! — сказал он. — Так я его хорошо знал — ну прямо как самого себя, а вот сейчас фамилия вылетела из головы.

Пат Иган вполне удовлетворился этим ответом и сказал со смешком:

— Доживете до моих лет, сэр, так и свое собственное имя позабудете.

С этим мы и уехали.

— Каково? — сказал отец. — Мы с Патом Иганом ровесники, чуть не в один день родились. Когда мы подъехали, я ведь его не узнал. А когда заговорили, гляжу — родимое пятно! Ты-то небось и не заметила — оно у него под левым ухом. Я его потому помню, что наша учительница, когда ожидала ребенка — а с ней это каждый год случалось, — заставляла его сидеть в классе в шапке, да еще натягивать ее поглубже на уши, чтобы пятна не видеть — боялась, что это повредит ребенку в ее чреве. Вот я его по пятну и узнал. А ему и невдомек, кто я такой!

— Почему ж ты ему не сказал? — спросила я, оглядываясь на быстро уменьшающуюся фигуру старика.

— Не знаю, — тихо ответил отец и вдруг резко свернул влево на узкий проселок.

— Там дальше был дом, — сказал он. — Я туда частень-

ко захаживал. Прямо-таки штаны протер на старой кушетке возле очага. Роза Магарри ее звали. Это была моя первая подружка.— Он говорил, тихо посмеиваясь, словно ручей плескался по камешкам. Глаза у него искрились, и я решила его подразнить:

— В те дни ты, наверно, редкий был сердцеед!

— Откуда ты взяла? — рявкнул он, сердито повернувшись ко мне.

— Просто вспомнила про запонки и булавки от твоих поклонниц. Больше ничего.

— Подумаешь, подарки! — пренебрежительно проворчал отец.— В то время такие штучки стоили доллар-другой. Тогда в Америке золото было дешево. И девушки зарабатывали не меньше мужчин. А некоторые и больше! Они такие подарки дарили направо-налево.

Он вел машину медленно, оглядываясь по сторонам. Потом сказал расстроено:

— Куда же он подевался? Пора бы уже!

Мы проезжали мимо кучи мусора, похожего на сгнившую солому. Вокруг нее в зарослях крапивы и бузины виднелись мальвы и наперстянки, перевитые с жимолостью, и одичавший куст белой розы. Над ними гудели сотни пчел и плясали бабочки.

— Может быть, он был здесь? — осторожно спросила я, вспомнив поверье, что крапива вырастает из останков монахов и солдат; может быть, из останков юных девушек вырастают розы и жимолость?

Отец посмотрел, куда я показывала.

— Верно. Это то самое место. Я знал, что не могу сильно ошибиться! Родители ее, конечно, умерли, а она вышла замуж и уехала куда-нибудь. Да ведь я же слышал,— добавил он,— что она вышла замуж, а потом овдовела.

Он взглянул вперед, где на совершенно голом месте стояло несколько новых коттеджей.

— Остановимся и спросим. Может, кто-нибудь знает, где теперь живет Роза.— Он подмигнул мне.— Смеха ради.

Мы остановились у первого коттеджа. Позади него молодая женщина развешивала на веревке белье. Она повернулась и вперила в нас скорее сердитый, чем любопытный взгляд. Но старуха, сидевшая в доме у открытого окна, встала, вышла на улицу и побрела к нам по бетонной дорожке.

— Извините за беспокойство, мэм! — крикнул ей отец. — Вы не знаете, что случилось с Розой Магарри, которая раньше жила вон в том домике, — и он кивнул в сторону сгнившей соломы и цветов.

Старуха ответила с подкупающей простотой:

— Магарри — это моя девичья фамилия, сэр. Вы не меня ищете? Меня зовут Роза. Я вышла замуж за Неда Малоуна, но он вот уже двадцать лет, как помер.

Я с беспокойством поглядела на отца. Его руки вцепились в рулевое колесо, а взгляд был устремлен прямо вперед.

— Меня просил узнать про нее человек, которого я знал в Америке, — сказал он напряженно. — Они были знакомы много лет назад.

— А как его зовут, сэр? — спросила старуха с таким почтением в голосе, что у меня стало скверно на душе. Но в следующую минуту она всплеснула руками.

— А! — тихо сказала она. — Это ведь Том был, кто же еще? А вы его сынок, сэр? — Она шагнула вперед и взгляделась ему в лицо. — Ну конечно! Вылитый Том!

Она схватила отца за руку, точно намереваясь вытащить его из машины.

— Как он? Жив еще? Хотя что же я? Заходите в дом — выпьем чайку, и вы мне все про него расскажете. Вы тоже, мисс, — спохватилась она, вспомнив обо мне. И тут же с беспокойством оглянулась на молодую женщину, которая все это время стояла около развешанного белья и хмуро глядела в нашу сторону.

— Извините, мэм, но мы не сможем зайти, — сказал отец. — Нам еще далеко ехать.

Все как-то странно помолчали.

— Ну что же, если так, поезжайте, сэр, — с видимым облегчением сказала старуха. — Погодите-ка! — воскликнула она. — Я открою обе створки ворот — вам тогда легче будет повернуть, сэр.

Мы развернулись, проехали назад по проселку и снова выехали на шоссе. Только тогда я спросила:

— Почему ты ей не сказал?

Отец долго молчал.

— Как ты думаешь, почему? — наконец произнес он, и накатившаяся на него меланхолия отпустила его, только когда мы проехали мост через Шеннон.

СВЯТЫНЯ

Экономка каноника принесла Мэри завтрак в постель, и, как ни неприятна была ей мысль о том, что старой женщине пришлось взбираться по лестнице с тяжелым подносом, Мэри обрадовалась: ей придется встретиться с дядюшкой лишь позднее утром. К тому времени ее жених, если не изменит своего решения, уже уйдет бродить по окрестностям. А она, оставшись с дядюшкой наедине, попытается уладить злосчастную ссору, вспыхнувшую вчера вечером. Она слышала, как каноник уезжал служить раннюю мессу, слышала, как под ее окном прохрустел гравием автомобиль при его возвращении. Но она не слышала, как Дон сошел вниз. Может быть, он отказался от своего намерения? Хорошо, если так: она боялась даже подумать, что скажет дядюшка, когда узнает, что у Дона на уме.

Затем, когда она наливала вторую чашку чаю, Мэри услышала внизу повышенные голоса, схлестнувшиеся в краткой, но ожесточенной перепалке. В следующую минуту входная дверь захлопнулась. Выскочив из кровати и подбежав к окну, она успела увидеть, как Дон быстро удаляется по полям в направлении святого места. Она вздохнула. Если мужчины продолжили свой спор сегодня утром, уик-энд уже ничто не спасет. Будь она неладна, эта святыня, подумалось ей. Как жаль, что она дала дядюшке завлечь их туда вчера вечером, когда они были утомлены долгой поездкой из Дублина!

Старая Элин приготовила для них очень вкусный ужин, и, пока они ели, оба мужчины, казалось, прекрасно ладили друг с другом. Просиди они за столом чуть подольше, и

даже сам каноник, возможно, не захотел бы выходить из дому. Однако ей не терпелось поскорее покончить, развязаться с осмотром святого места, и мысль отправиться туда в такой час, когда, как она думала, все ларьки и киоски будут закрыты ставнями на ночь, показалась ей удачной. Она не сообразила, что в этот день справлялось благовещение и торговля будет идти полным ходом до тех пор, пока не уедут последние паломники — под крики торговцев, бегущих рядом с отправляющимися автобусами в отчаянной попытке продать еще одну статуэтку, еще один сосудец со святой водой, еще одну медаль.

Когда они подъехали, святое место сверкало свечами и двор вокруг довольно скромной церкви имел праздничный вид восточного базара. Она заметила, как Дон с отвращением смотрел на ларек, где огромные связки четок свисали между коричневыми наплечниками. «Точно перезрелые ягоды», — прошептала она, желая легонько подшутить над всей этой безвкусицей. Но Дон не засмеялся. «Ядовитые ягоды», — отозвался он, и Мэри тревожно оглянулась на дядюшку — не слышал ли он. Затем — в то время она не могла бы сказать, к счастью или к несчастью, — Маллинс выбежал из своей новой лавки и засуетился вокруг них. К ее удивлению, каноник, обычно необщительный, принял приглашение зайти и пропустить по рюмке хереса — который, конечно, невозможно было пить, — и она увидела, что Дон рассматривает свою рюмку с таким выражением, как будто ожидает увидеть на ней изображение богородицы.

Тем не менее все было бы не так плохо, если бы Дон уже не знал о Маллинсе. Чтобы скоротать время в пути сюда из Дублина, она рассказала ему, как Маллинс первым после явления девы Марии поставил ларек у церковных ворот и как на нажитые деньги он построил свой нынешний дом напротив грота. К сожалению, она также рассказала и о другой женщине, — женщине, выжившей из дома его жену, которая находилась теперь в психиатрической больнице.

— Это та самая мерзавка? — громко спросил Дон, когда они проходили через лавку, направляясь наверх, и увидели эту особу, царившую за стойкой.

Они побыли у Маллинса совсем недолго. Даже каноник и тот не мог переварить его ханжество. Больше того, его восхваления намеченной к постройке новой базилики, возможно, и дали толчок их шумной ссоре позже вечером.

У Маллинса на прилавке стоял гипсовый макет этой — надо сказать, чудовищно безобразной — базилики с ящиком для денег спереди. Излишне говорить, что Маллинс был председателем комитета по сбору средств на постройку.

И вот, когда они уже сидели в маленькой гостиной дома приходского священника и Дон с вполне невинным видом спросил, во что обойдется постройка базилики, Мэри была потрясена суммой, которую назвал ее дядюшка, а Дон вышел из себя.

— Где вы рассчитываете собрать такие деньги? — крикнул он. — Не собираетесь же вы вытянуть их из ваших бедных прихожан?

— Вовсе нет, — весело ответил каноник. — Мы собираем деньги по всей Ирландии, можно даже сказать: по всему миру. Вы удивитесь, когда узнаете, как много денег притекает из Англии и Америки и даже из Австралии. — Он был в самом благодушном настроении, пока не вспомнил слово, которое употребил Дон, и тогда его лицо побагровело. «Вы сказали, вытянуть из людей?» После этого вся ярость скандала обрушилась на нее.

Ах, зачем она поспешила привезти сюда Дона? Почему не подождала до дня свадьбы — тогда бы дядюшка и встретился с ним. Старик, вероятно, чувствовал себя одиноким уже от одной мысли о ее замужестве, а тут еще ему дали повод думать — как он, вероятно, и думал теперь, — что она выходит замуж за безбожника. Но его свадебный подарок был таким щедрым, что, как ей казалось, самое меньшее, что она могла сделать, это привезти сюда Дона и представить его дяде заблаговременно. Не то чтобы она удивилась его подарку, если принять во внимание длинную, непрерывную историю его благодеяний по отношению к ней начиная с самого ее детства. Ее мать была единственной сестрой дядюшки, которую он чуть ли не боготворил, и, так как она осталась вдовой, он настоял на том, что будет платить за обучение Мэри и покупать ей учебники и платье. Он и в самом деле часто покупал ей множество разных мелочей, которые ее матери были не по средствам. А когда мать умерла, он фактически стал ее опекуном. Ее, конечно, пришлось устроить в школу-интернат, но она проводила в его доме все свои школьные каникулы. Как он трясся над ней! Он напоминал курицу с одним цыпленком: заставлял ее менять платье, если она

хотя бы на минуту попадала под дождь, и часто сам протирал ей волосы своим собственным огромным — и не всегда чистым — полотенцем. А как он ее кормил! То обстоятельство, что сам он был аскетом, не мешало ему откармливать ее, словно бентамку-рекордистку. И конечно, он заботился не только о ее телесном благополучии. Он имел обыкновение вновь и вновь говорить о скромности и чистоте, полагая, что она еще слишком молода, чтобы смущаться или смущать его. Очевидно, он думал, что, хотя она и не поймет полностью его завуалированные намеки, все же частично их смысл проникнет в ее подсознание, и, когда она подрастет, сказанные им слова вернутся к ней и будут ей защитой против соблазна — панцирем, защищающим ее от греха.

Бедный дядюшка! Он, должно быть, насмерть перепугался, когда она впервые поехала в Дублин — поступать в университет, он, наверное, думал, что она непременно потеряет там невинность. В те немногие уик-энды, когда она приезжала навестить его, он всегда умел ввернуть ссылку на плоть в свою проповедь, давая понять, что вера — единственная опора, на которую можно положиться, защищая нравственность от упадка. И всякий раз, когда она оказывалась в церкви, его проповедь была обращена к ней, сидящей по обыкновению на первой скамье, прямо под кафедрой.

— Невинность как пушок на персике, — вещал он, бесстрастно глядя на хоры. — И когда гниль принимается за свою работу, она начинает с сердцевины и медленно идет, к поверхности, так что часто порча становится видна только через долгое время. Это, конечно, часть хитрого замысла дьявола. Он всегда испытывает тайную, ему одному ведомую, радость, когда ему удастся заставить свою последнюю жертву творить зло за него. Это у него в обычае — сделать так, чтобы совращенный в свою очередь стал совратителем.

Как бы то ни было, его проповеди имели главным образом предупредительное назначение, а если ему делалось известно, что та или другая прихожанка пала жертвой плотского греха, он тут же бросал разводить разводы и действовал решительно и с недюжинным здравым смыслом, принимая меры к тому, чтобы не дать девушке, как он выражался, «быть растоптанной». Это слово всегда вызывало у Мэри дрожь. А какой острый нюх был у ста-

рика на внебрачные беременности! За считанные часы он пресекал скандал в зародыше и с удивительной расторопностью выдавал провинившуюся замуж. Он старался выдать ее за отца ребенка, а если по какой-либо причине это было невозможно, сбывал ее какому-нибудь пожилому покладистому холостяку. Последний способ сначала шокировал Мэри, но она была вынуждена признать, что самым жертвам такая процедура шла обычно на пользу. Помимо разрешения девичьих проблем, женитьба сама по себе действовала на старых холостяков как подкрепляющее средство и давала их жизни новое направление. Зачастую девушки, так стремительно спроваженные в замужество, становились со временем благочестивыми матронами, и впоследствии каноник мог рассчитывать на их помощь при улаживании подобных дел.

Мэри невольно улыбалась при мысли, что ей не пришлось бы опасаться ссоры дядюшки с женихом, если бы дядюшка хоть на минуту заподозрил между ними, как он выражался, какие-нибудь фигли-мигли. Если бы он думал, что дело обстоит именно так, его не остановили бы никакие препятствия — даже критические замечания Дона относительно святости, — и он спешно отпраздновал бы их свадьбу. Он бы позаботился о том, чтобы они открыли ему свои планы и поженились в пожарном порядке. Ну что ж, она никогда не давала ему повода для беспокойства на этот счет. Она не обманула его доверия. И надо отдать ему должное, за последние годы он никогда — по крайней мере до вчерашнего вечера — не выказывал ни малейшей озабоченности в этом отношении. В последний год ее учебы в университете он не только разрешил ей совершить путешествие на попутных машинах по континенту, хотя знал, что она будет останавливаться в туристских лагерях для молодежи и дешевых отелях, но и оплатил ее поездку и даже принял в ней, так сказать, косвенное участие, подбирая путеводители и маршруты. Проявленное им вчера вечером недоверие было лишь попыткой нанести оскорбление Дону, притом хорошо рассчитанное оскорбление.

Когда оба перестали наконец препираться, а это было далеко за полночь и случилось потому только, что все трое были измучены и глубоко несчастны, старик тяжелым шагом взойшел впереди них на второй этаж и, показав Дону его комнату, демонстративно ждал, пока дверь за ним не захлопнется, и лишь после этого провел ее в ее комнату.

Стоя на лестничной площадке, он ждал, пока она не закрыла дверь, и тогда только ушел к себе. Как будто надо было показывать ей, как пройти в маленькую комнатку, где она провела так много ночей своей жизни. Причем счастливых ночей. Но она простила ему. И, будучи уверена, что Дон прокрадется по коридору пожелать ей спокойной ночи, она потихоньку приоткрыла дверь, чтобы ему не пришлось стучаться. Когда она в самом деле услышала, как он, крадучись, идет по лестничной площадке, она выскочила из постели и, подойдя к двери, приложила палец к губам.

— Не входи, Дон, прошу тебя,— умоляюще сказала она.

— Почему? — грубо спросил Дон, но все же с беспокойством поглядел на дядюшкину дверь.— Он ведь не выйдет, правда? — Казалось, эта мысль потрясла его.

— Нет, конечно, нет. Он не опустится до таких уловок, но мы и так достаточно расстроили его на сегодня,— сказала она. Она уже боялась, что не сомкнет глаз, думая о старике, как он лежит без сна в своей неудобной кровати по ту сторону стены, казня себя за воображаемые ошибки.— Иди обратно к себе в комнату, Дон, прошу тебя,— умоляла она. Тем не менее она все же задержала его за рукав и спросила, не оставил ли он своего намерения хорошенько ознакомиться с окрестностями. Ибо, когда они поднимались по лестнице, он успел сказать ей, что намерен сделать это. У него предчувствие, что в этих местах могут быть залежи полезных ископаемых. И хотя он не специалист, он хочет походить, поискать по округе, чтобы выяснить, есть ли расчет предпринимать новые попытки в дальнейшем.

— Надеюсь, дядюшка не знает, что у тебя на уме? — с тревогой спросила она.

— Мне безразлично, знает он или нет,— ответил Дон.— В конце концов, это всего лишь предчувствие. И если окажется, что здесь есть полезные ископаемые, он должен будет только радоваться, что для его прихода откроются возможности процветания.— Она ничего не ответила, и лицо Дона стало жестким.— Если он не думает, что каждый акр земли в приходе священ,— добавил Дон.

Тут они начали ссориться, затеяли одну из тех глупых ссор, когда разговаривают свистящим шепотом, поднимая брови. Она была всецело на стороне своего жениха, но,

заступаясь за дядюшку, не могла не возразить, что широкое промышленное освоение района может поставить под угрозу святыню, хотя бы уже тем, что умалит ее достоинство.

— Достоинство? — Дон с презрением посмотрел на нее.
— Я хочу сказать, ее важность.

— Пожалуй, — сказал Дон и, повернувшись, пошел обратно в свою комнату, сердитый теперь и на нее, и на каноника. Может, он просто берет ее на пушку? — подумала она, закрыла дверь и, подойдя к окну, стала всматриваться в темноту. Существует ли реальная возможность того, чтобы истощенная здешняя земля дала достойный заработок людям и избавила их от унижительной необходимости продавать дешевые предметы религиозного поклонения больным и умирающим? Она легла спать только через несколько часов.

И вот теперь, этим утром, лежа в постели и прихлебывая чай, Мэри опять смотрела в окно на бесплодную и пустынную землю, которая даже днем была окутана мраком или же прерывисто озарялась резким слепящим светом, падавшим снопами между нагрузшими дождем облаками. Она встала, оделась и побежала вниз в маленькую гостиную, умышленно напуская на себя веселый и приветливый вид.

В гостиной было жарко и душно. Каноник сидел в обшарпанном кресле и читал требник перед камином, огонь в котором, по-видимому, горел уже несколько часов. Пламя с ревом устремлялось в трубу. Хотя дверь стояла открытой, в комнате было нестерпимо жарко, но, несмотря на это, старик придвинул кресло к самому огню. Мэри с детства помнила его требник с обтрепанными углами. Как всегда при ее появлении, каноник взял прогоревшую трубку, которая лежала на ручке кресла, и заложил ее между страниц, чтобы отметить место. Но в это утро он не поздоровался с нею. Вместо этого он взглянул на изящной конструкции дорожные часы из меди и стекла, которые стояли сбоку на каминной полке среди беспорядочного нагромождения всякой всячины; тут же на самом видном месте стояли фотография ее матери и обрамленная фотография святого места.

— Я уже хотел послать за тобой Элин, — сказал он. — Нам скоро отправляться, если мы хотим подвезти твоего приятеля, чтобы он не пропустил второй завтрак.

Сердце Мэри радостно дрогнуло. Если дядюшка хочет подвезти Дона в своем автомобиле, значит, он в конце концов помирился с ним этим утром.

— Ему, наверно, уже наскучило дрызгать по грязи,— сказал он.— А мы не хотим, чтобы завтрак пересох и стал несъедобным.

— Спасибо, дядя,— сказала Мэри и взглянула на часы. Для этого ей пришлось прикрыть лицо рукой от жара. Воздух в комнате был положительно удушлив, и запах жарящегося мяса, долетавший из кухни, казалось, делал его еще жарче.— Ехать за ним сейчас чуточку рановато, дядя,— мягко сказала она и уселась по другую сторону камина.— Вы понятия не имеете о том, с каким увлечением он делает такого рода полевую работу.

— Представляю! Представляю! — сказал каноник и как-то странно посмотрел на нее.— Какова цель этой глупой экспедиции? — спросил он.

К своему облегчению, по выражению его лица она увидела, что это был не столько вопрос, сколько насмешка. Не готовая вступить с ним в борьбу, она подумала, что сможет привести его в хорошее расположение духа, взяв тон добродушного подшучивания.

— Если кто-нибудь должен ждать на холоде, пусть лучше ждет он, а не мы, дядя! — сказала она.— В этих своих похождениях он никогда не может вовремя остановиться. Когда мы его найдем, он будет нагружен, как вьючная лошадь. Его карманы будут полны песка, камней и комков глины. Вот увидите!

Не понимая, что ее пренебрежение наигранно, старик хмыкнул.

— В таком случае он должен будет обрадоваться, что мы явились раньше срока,— сухо сказал он и уселся поудобнее в кресле. Мгновение спустя он внимательно посмотрел на нее.— Он надел свой хороший костюм, ты знала это? Несколько странно, что он не взял с собой пару старых брюк, если он намеревался копаться в глине.

— О, возможно, ему пришло это в голову только после того, как он приехал сюда,— осторожно сказала она. Насколько она могла видеть, каноник ничего не заподозрил и просто сомневался в способностях Дона. Он наклонился вперед.

— Что бы ты ни думала на этот счет, моя дорогая, твой молодой человек ничем не отличается от всех других

инженеров в сегодняшней Ирландии. От Фэр-Хед до Ми-зен-Хед в стране нет инженера, которому бы не вскружили голову рассказы о рудниках в глубине страны, нефтяных скважинах и тому подобном. Их головы набиты вздором. Все они думают за одну ночь стать миллионерами.

— По-моему, тут вы не правы,— спокойно сказала Мэри.— Только политики и иностранные вкладчики получают что-то от разработок в Мите. Люди, первоначально владевшие землей, получили очень мало. Я понимаю так, что земля у них была скуплена в самом начале игры. А что до инженеров, то они по большей части иностранцы. Смею вас уверить, дядя, местные жители не много выиграли от всей этой затеи, вот, может быть, только лавочники да разнорабочие.

Каноник поджал губы.

— Я рад слышать хотя бы это. Я не питаю симпатии к жителям Мита. Почему они не довольствовались тем, что можно было найти на поверхности, на божьем белом свете, не закапываясь в нутро земли? Земли вокруг Трима, Нейвана и Келлса самые плодородные в Ирландии. Каждая тамошняя травинка была бы черешком из чистого золота для бедных людей здесь. Притом для людей многодетных. А не для высохших старых холостяков, владеющих там всей землей. Но нет! Нет! Людям в краю тучных лугов и пастбищ мало было божьей благодати! Им обязательно надо было наложить руку на деньги, располагающие к лени, на деньги, ведущие к быстрому обогащению. Запомни мои слова, Мэри, эти люди не уймутся до тех пор, пока не превратят Ирландию во второй Ланкашир. Они не остановятся до тех пор, пока у нас не вырастут высоченные кучи плака там, где когда-то были самые зеленые поля на свете.

Он так распалился, что Мэри сочла за благо попытаться успокоить его.

— Надо отдать им должное, дядя, как я слышала, горнопромышленные компании сами прилагают большие усилия к тому, чтобы сохранить красоты природы. Они снимают верхний слой почвы и укладывают его в стороне с тем, чтобы вернуть на место после того, как они пройдут шахту и подготовят все под землей для работы. Ландшафт полностью восстановится через несколько лет.

— Неужели? — Она не могла понять, поверил ли он ей или сказал это с сарказмом. Как бы то ни было, его взгляд вдруг, словно притягиваемый магнитом, обратился к фотографии святого места, и несколько мгновений он с любовью смотрел на нее. — Благодарение богу, наша маленькая святыня с каждым годом обеспечивает здешним жителям все большее благополучие. Она дает им не только хлеб насущный, но и духовную пищу. — Мэри уставилась на него в изумлении. Причиной ссоры послужили слова Дона, что местные жители развращаются, как он выразился, торговлей в храме. Она внимательно смотрела на старика. Он был не дурак. Он не мог забыть эти слова. За его собственными словами должно было что-то крыться. Он встал. — Что меня озадачивает, Мэри, так это почему твой молодой человек, при тех взглядах, которые он высказал вчера вечером, захотел вновь взглянуть на столь неприятное ему зрелище, как наш грот. — Показалось ли ей это, думала Мэри, или в его глазах действительно все еще тлеет гнев? — Как он сказал? — продолжал каноник. — Коммерческая эксплуатация. Спекуляция на слабости больных и немощных. — Мэри вздрогнула. Напрасно Дон прибег к таким сильным выражениям. Дядюшка на удивление верно передразнил его. Затем уже своим обычным голосом он произнес одно-единственное слово. — Болтун! — сказал он. — Болтун!

— Ах, дядя, Дон никак не думал, что вы все так воспримете! Он был действительно поражен бедностью здешних жителей. Он никогда не видел ничего подобного!

— Почему же он тогда не может оценить деньги, которые святыня собирает для этих бедных людей? Они с каждым годом зарабатывают все больше. А когда мы осуществим все, что задумали, обзаведемся новой стоянкой для машин и приличным отелем, вот тогда увидишь! Скажи это своему молодому человеку, Мэри! Пусть он придет тогда и посмотрит. — Дядюшка старался чуть ли не залучить ее в союзники. — Понимаешь ли, Мэри, я убежден, что под предлогом этого геологического изыскания, или что он там еще затеял, твой молодой человек решил снова посетить святое место, так сказать, за нашей спиной, еще раз взглянуть на все и, может быть, пересмотреть свое мнение в свете тех фактов, которые я представил ему сегодня утром. Он изрыгнул изрядную порцию своих социалистических бредней и сделал вид, что с него хватит. Но

я почти уверен, что он просто пытался спасти лицо и ему нужно было время, чтобы хорошенько подумать над моими словами.

Мэри не верила своим ушам. Как мог такой человек, как он,— она оглядела гостиную, которая была полна книг и газет, карт и картин,— как мог человек, посвятивший свою жизнь ученым занятиям, человек, читавший на четырех или пяти языках, как мог он до такой степени заблуждаться? Однако дядюшка шел в своем заблуждении все дальше и дальше.— Между нами будь сказано, моя дорогая, мы, возможно, обратили его! Пути господни неисповедимы, знаешь ли.

Мэри вдруг насторожилась. Возможно ли, чтобы это глупейшее замечание было хитрым зондажем?

— Его и близко там не будет, дядя,— твердо сказала она.— Во всяком случае, до тех пор, пока он не окончит свое изыскание. Он встретит нас у церкви только потому, что это удобное место для встречи, хороший ориентир.

Дядюшка лишь снисходительно улыбнулся.

— Ну ладно. Я думаю, так или иначе, мы все равно его ублажили. Пусть он роется в земле сколько угодно, если в этом его счастье. Заработать себе насморк — это худшее, что может с ним случиться.— Он подмигнул ей.— Хотя мы совсем не хотим, чтобы он слег теперь, когда получил эту новую работу.

Мэри с радостью переменила бы тему и заговорила о видах своего жениха на будущее, если бы ее вдруг не охватило беспокойство.

— Его назначение еще не утверждено окончательно, дядя,— сказала она.— Мне казалось, вы понимаете это. Вот почему мы все еще не даем объявления в газете о нашей помолвке. Мы, конечно, поженимся независимо от того, получит он эту работу или нет, но, если он ее не получит, не все у нас пойдет так гладко, как хотелось бы.

— Разумеется, не все пойдет гладко. Нелепо даже думать об этом.— Трогательно было видеть, как он беспокоился за ее будущее.— Я-то думал, он твердо уверен, что получит это место. Почему ты не сказала мне, что это еще под вопросом? Не думаю, чтобы я мог сделать многое. Если бы это было в моей епархии, я мог бы кое-что предпринять, но, впрочем, как знать, ведь и несколько слов, если шепнуть их на ухо кому следует...— Он нахмурился.— Что, может быть, стоит навести справки?

— Я думаю, не надо, дядя,— сказала она с легким сердцем, потому что, хотя некоторая неопределенность относительно его назначения, несомненно, существовала, Дон был вполне уверен, что получит это место.

— Ну так помни, тебе достаточно сказать только слово,— проговорил каноник и снова подмигнул ей. Затем, отведя глаза в сторону, он сказал нечто необыкновенное:

— Ты уверена в другом? Я хочу сказать, он подходящий для тебя человек и все такое прочее?

Ее взяла досада.

— О чем вы спрашиваете, дядя? Я бы не стала приводить его сюда и знакомить с вами, если бы не была в этом уверена.

Старик вздохнул.

— Не сердись на меня, моя дорогая. Ты должна знать, что мне не хочется терять тебя. Все бесповоротно изменится, когда с нами все время будет кто-то еще.

Мэри вскочила и быстро поцеловала его в щеку.

— Глупенький! Дон не просто «кто-то». Вы увидите, что он чудесный, чудесный человек. Только потому, что у вас произошло с ним маленькое расхождение во мнениях...

Это была ошибка.

— Ты сказала, маленькое расхождение?

Мэри опять быстро поцеловала его.

— Не будьте таким обидчивым, дядя.— Она взглянула на него сверху вниз. Он смотрел на нее грозным взглядом, каким обычно страдал ее маленькую, а она только смеялась. Вспоминая те дни, она дерзко глядела на него.

— Вы должны его полюбить,— сказала она, топнув ногой, словно ребенок.

Дядюшка смягчился.

— Ладно уж,— сказал он.— Не сомневаюсь, что ты поставишь на своем в этом деле, как и в любом другом, моя дорогая. Я слишком долго портил тебя и не могу ожидать, чтобы что-либо можно было исправить теперь.

— Людей нельзя испортить любовью, дядя, и вы это знаете,— спокойно сказала Мэри.— Придет день, и вы полюбите Дона так же, как любите меня.— Не обращая внимания на его поднятые брови, она продолжала: — Рассказывала я вам, что он хотел стать геологом, а его родители сочли, что инженерное дело более перспективно?

— Bravo! — сказал он.— Они были совершенно правы. Она обрадовалась, увидев, что развлекла его.

-- Похоже, дядя, он так и не примирился по-настоящему с этим, пока мы не стали думать о женитьбе.

— Будь спокойна. Инженерное дело всегда лучше,— сказал каноник.— Инженер графства получает довольно приличное жалованье — а это главное, не так ли?

— Думаю, что так,— с сомнением ответила Мэри.— Но я все же не могу отделаться от ощущения, что он подрезает себе крылья ради меня.— Видя, что дядюшка опять принял грозный вид, она поспешила пояснить свою мысль, прежде чем он снова прервет ее.— Мне кажется, ему хотелось бы приложить свои способности к такому делу, которое дало бы ему большую возможность личного самоутверждения.

— Глупости! — Каноник прямо-таки сверлил ее свирепым взглядом.— Подумаешь, личное самоутверждение! Что это значит, ради всего святого? Есть только одна форма самоутверждения для мужчины в этой его единственной земной жизни, и это...— Он вдруг оборвал себя, и Мэри на минуту испугалась огненного блеска в его глазах, пока не сообразила, что это всего лишь отражение пламени, на которое он смотрел. Во всяком случае, в следующую секунду он уже позабыл, о чем начал говорить.— Ну что ж, он молод, он будет учиться, как все мы,— сказал каноник.— А ты должна быть его помощницей, Мэри,— и в этом, и во всем другом. Отныне ты должна быть гласом божьим, говорящим тихо, но отчетливо ему на ухо, денно и нощно.— Он не сводил с нее свирепого взгляда.— Вот почему я не слишком обеспокоен ругательной речью, которую он произнес вчера вечером против святыни. Я уверен, что, когда вы поженитесь, ты сумеешь вправить ему мозги. Признаю, тогда меня расстроило, что ты такая бесхребетная, но я надеюсь, что способен проявить снисходительность.

Несмотря на жар, пышущий из камина, Мэри порывисто опустилась на колени рядом с ним.

— Дядя, вы должны знать, вы должны были увидеть, что Дон выражал не только свои собственные взгляды. Вы должны были понять, что я их разделяю. Если уж на то пошло, они зародились у меня.

К ее удивлению, он не рассердился.

— Ах, это только естественно,— сказал он и хмыкнул.— Мужчина вьет гнездо, а женщина должна заманить его туда, так что ей порой приходится менять свою окра-

ску на короткое время в брачный сезон, как это бывает у птиц и зверей, но, когда она наконец устраивается в гнезде, она вновь обретает свою истинную окраску и становится полной хозяйкой. Я не беспокоюсь за тебя. Если бог пошлет вам детей, ты воспитаешь их так, как велит нам наша святая мать церковь.— Он кивнул.— Мне кажется, я могу считать само собой разумеющимся, что твой молодой человек не совсем потерял веру, несмотря на его разглагольствования вчера вечером?

— Конечно, нет,— сказала она твердо.— Он ходит к мессе и все такое прочее, если вы это имеете в виду. Во всяком случае, почти каждое воскресенье.

Однако лицо дядюшки опять помрачнело, и он снова схватился за ручки кресла, как будто ему трудно было сдерживать себя.

— Мэри! — Он был оскорблен.— Мэри! Нельзя так говорить о святой мессе.— Но его ярость относилась более к Дону, чем к ней самой.— Так значит, он ходит «почти каждое воскресенье». Какое снисхождение! Надеюсь, творец по достоинству оценит его любезности!

— Не беспокойтесь! Я бы сказала, творец ценит его больше, чем вы! — с жаром выпалила Мэри.— Но прошу вас, дядя, давайте не будем ссориться из-за него. Независимо от того, что вы о нем думаете, вы наверняка рады, что он не увозит меня из Ирландии? В этом случае мы с вами могли бы не свидеться снова. Одно время казалось, что нам придется уехать за границу.

Она с облегчением увидела, что наконец-то взяла верный тон. Он явно встревожился.

— Я не знал, что вопрос когда-либо стоял таким образом.— Каноник, казалось, был ошеломлен самой этой мыслью.— Куда бы вы поехали? — хмуро спросил он.

— Я не знаю,— беззаботно ответила Мэри.— До этого не дошло. Полагаю, в Африку или куда-нибудь в этом роде.

— Абсурд! — воскликнул он так неистово, как будто их отъезд еще был возможен. Он даже потряс в воздухе кулаком.— Могу тебя заверить, я бы никогда не допустил этого. Во всяком случае, без борьбы.— Теперь он сидел на самом краешке кресла.— Ты уверена, что это так, Мэри? Ты уверена, что уже можно не опасаться, что ему откажут от этого места? Быть может, мне следует позвонить двум-трем людям — просто для верности. Ах, Мэри,

Мэри! — воскликнул он, и в его голосе теперь зазвучали патетические нотки. — Не говоря уж о том, что я не хочу, чтобы ты уезжала далеко, мне невыносимо думать, что ты будешь жить где-нибудь еще на свете и после моей смерти, кроме как на нашем маленьком безопасном острове, да благословит его господь.

В первый раз с момента ее приезда вчера вечером в его глазах проглянула былая привязанность к ней, и Мэри с печалью заметила на тыльной стороне его рук россыпь крупных хлопьевидных веснушчатых пятен, которых она не видела прежде. Признак старости? Эти крупные коричневые пятна обезображивали его изящные, тонкие руки. Кончики пальцев были слегка отогнуты назад. Не было ли это тоже каким-то признаком — быть может, великодушия?

Затем — она все глядела на его руки — каноник ухватился за подлокотники кресла, пытаясь подтащить его ближе к огню. Этому воспрепятствовала массивная каминная решетка, и тогда он подался вперед и сунул руки чуть ли не в самый огонь. Не мог же он до такой степени замерзнуть? Мэри уже отодвинула свое собственное кресло так далеко назад, что оно уперлось в книжный шкаф позади нее, и все же ей было неприятно жарко. Но хотя на лбу дядюшки блестели капли пота, она видела, что его худые руки были бледны и бескровны. Ее пронзила острая жалость, и ей подумалось, что эти руки и лоб как будто не принадлежат одному человеку, подобно тому как эта гостиная, где они сидели, с накопленными сокровищами целой жизни, как будто не принадлежит этому дому с мрачными спальнями наверху, обставленными невзрачной, разнокалиберной мебелью, оставленной прежними священниками прихода. Собственная спальня каноника была особенно холодна и неприглядна, и в ней всегда стоял какой-то кислый душок, от которого Мэри бросало в дрожь в тех немногих случаях за последние годы, когда она входила туда со старой экономкой, чтобы перевернуть его сбившиеся в комья матрасы.

Комната, которую он ей отвел несколько лет назад в ее первый приезд — это были пасхальные каникулы, — была тогда, как и теперь, также достаточно неприглядна, но он разрешил ей наклеить на стены веселые цветные картинки, вырезанные из журналов, и они частично скрывали отвратительные желтые обои. Ныне плесень от поте-

ков дождя пробилась через эти глянцевитые картинки и некоторые из них отшелушились от стены, но сердце Мэри таяло при мысли, как она, подрастая, любила эту темную, безобразную комнату. Не в пример ее по-больничному голой маленькой спальне в женском монастыре эта комната была властна трогать ее сердце. Даже вчера вечером она ощутила ее очарование. И не удивительно! Это был единственный родной дом, какой она знала, потому что, как бы упорно ни цеплялся дядюшка за убеждение, что она помнит семейный очаг, который ее бедная мать пыталась создать после смерти отца, Мэри, в сущности, почти забыла этот период своей жизни. Она даже забыла, как выглядела ее мать, но, зная, что дядюшке невыносимо было бы думать, что всякая память о его любимой сестре полностью изгладилась из ее головы, Мэри обычно согласно кивала ему, когда он превозносил волосы, глаза, классический профиль умершей. В конце концов, фотография на каминной полке всегда могла подтвердить, что она была красива. Мэри глядела на нее сейчас, но дядюшка, проследив за ее взглядом, подумал, что она смотрит на часы.

— Ты думаешь, нам пора выезжать? — спросил он.

— Дадим ему еще несколько минут, — ответила она.

— Ну ладно. — Каноник вновь обратился к требнику.

Мэри улыбнулась. Ежедневное чтение требника, похоже, всегда было для него тяжким бременем, и он использовал каждую свободную минуту, чтобы исполнить эту обязанность, — и с плеч долой. Удивительно было, что он не знал требник наизусть. Другие священники ведь знали? Пока он читал, она отдалась тишине, которая царилa в комнате и нарушалась только шорохом углей в камине. Она даст ему закончить чтение, и после этого они поедут за Доном.

Старик читал требник долго. Мэри как будто даже вздремнула, потому что она сильно вздрогнула, когда дядюшка положил требник на подлокотник и встал.

— Где твоё пальто? — спросил он.

Его собственное всегда лежало поперек кресла на тот случай, если его срочно вызовут к больному.

— Кажется, на вешалке в передней, — сказала Мэри, поднимаясь и направляясь к двери, но там остановилась и всмотрелась в полумрак за дверью.

— Это еще одна новая картина, дядя? Еще один Джек Ийтс?

Праздный вопрос. Невозможно было ошибиться в принадлежности великолепных красок моря и неба, и, хотя Мэри не сразу увидела маленькую картину, раз увиденная, она затмевала все в этой комнате.

— Сколько вы за нее отдали? — спросила она, забыв от волнения всякую осторожность. Цены на картины Йитса шли круто вверх.

Прежде чем ответить, каноник тревожно посмотрел в коридор и затем сказал намеренно громко, к ее веселому изумлению:

— Она досталась мне задешево. Просто даром! — Тут он снова понизил голос. — Очень важно, Мэри, чтобы такие вещи не уплывали за пределы нашей страны, сколько бы ни пришлось за них платить, — сказал он.

— Извинения излишни, дядя, — смеясь, сказала Мэри, хотя она чувствовала, что допустила промах. — Но зачем же прятать ее за дверь? — спросила она через минуту.

Каноник глядел на картину со смешанным чувством гордости и замешательства.

— Там для нее достаточно хорошее место, когда дверь закрыта, — сконфузившись, сказал он.

— А когда эта дверь закрывается? — лукаво спросила Мэри. — Ее никогда нельзя закрыть, потому что в комнате температура духовки.

Но, обедая комнату взглядом, она увидела, что для картины, по сути, нет места на заполненных стенах. И не такая уж это плохая мысль — поместить ее на некотором расстоянии от двух больших полотен Йитса на противоположной стене, особенно потому, что они принадлежали к раннему периоду творчества художника. Она подошла поближе к новой картине и на мгновение дала ее красоте пролиться себе в душу.

— Я думаю, напрасно и пробовать подлизаться к вам, чтобы вы отказали ее мне в своем завещании? — с шутиливой озабоченностью спросила она. — Наверное, вы откажете ее церкви вместе с остальными сокровищами?

— Посмотрим, посмотрим, моя дорогая, — сказал каноник. Она видела, что доставила ему немалую радость, по достоинству оценив его приобретение. — Будь послушной девочкой, и тогда один только бог знает, что ты можешь получить.

Дядюшка и племянница улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Они теперь были в знакомой стихии. Именно

такого рода веселые диалоги обычно доставляли им особенное удовольствие в ту пору, когда она была маленькой девочкой. Как-то раз она бесхитростно открылась, что думает, что все его имущество в один прекрасный день перейдет к ней.

— Когда вы умрете, дядя,— добавила она с детским разумением такта. Но какой маленькой она ни была, она была достаточно понятлива, чтобы почувствовать укор в ответе дядюшки. Он подошел к каминной полке и взял фотографию святого места с церковью на заднем плане.— И святыня тоже? — сказал он. Она прикусила от стыда губу и зарылась лицом в его неряшливую сутану, чтобы спрятать свои запыхавшие щеки.

И вот теперь, вспоминая сладость их отношений в те дни и благодарная ему за то, что он для нее сделал, она стала серьезной.

— Ах, дядя, вы дали мне так много! Не думайте, что я приняла это как само собой разумеющееся. Спасибо вам. Спасибо.

Каноник тоже стал серьезным и даже резким.

— Не давай мне повода сожалеть об этом, только и всего. Пусть у нас больше не будет таких сцен, как вчера вечером,— сказал он.

И, веря, что сдержит свое обещание, она протянула ему руку.

— Не будет, я обещаю,— сказала она.

— Тогда поторапливайся,— сказал он.— Надевай пальто, и едем.

Раньше, до того как построили святилище и проложили новую магистральную дорогу, церковь была в семи милях от дома священника. Это было необычно длинное расстояние между священником и его церковью, но в обедневшем крае не было дома поближе, в котором по общепринятым нормам мог бы поселиться священник. И сначала каноник не жаловался, что ему приходится ездить в церковь так далеко, даже и в зимние холода. Однако после явления Святой девы и в особенности после постройки грота на том месте, где явилась мать божья и святые, он стал относиться к этому иначе и теперь едва мог скрыть, как его раздражает, что он живет так далеко от святого места. Одним из его далеко идущих планов

было построить новый дом для священника поближе к святыне. А пока ему приходилось довольствоваться новой дорогой, сокращавшей на полторы мили расстояние до нее. И теперь, когда они ехали в автомобиле, Мэри гадала, приложил ли дядюшка руку к тому, чтобы добиться решения о строительстве дороги. Слово на ухо кому следует? Она снисходительно улыбнулась.

Они проехали всего несколько ярдов по новой дороге и приблизились к тому месту, где от нее ответвлялась старая. Эту старую дорогу пришлось оставить для удобства сообщения с немногочисленными коттеджами, которые иначе оказались бы в изоляции, но эту дорогу никто не чинил, и она была запущена. Однако, когда они подъехали к развилке, Мэри непроизвольно положила руку на рукав дядюшки.

— Ах, дядя, нельзя ли поехать по старой дороге? — Она сама толком не знала, зачем попросила об этом, но похоже, это была не такая уж абсурдная просьба, если учесть, что заброшенная дорога, петляя, в нескольких милях дальше вновь соединялась с магистральной. По лицу каноника она сразу же увидела, как упало его настроение, которое все поднималось после того, как они выехали из дома. Он не терпел ничего, что могло бы отдалить тот радостный момент, когда перед его глазами появится шпиль церкви. Хотя и раздосадованный, он сбавил скорость и съехал на узкую грязную дорогу, но, когда через несколько минут они снова повернули и опять поехали по направлению к церкви, он сразу повеселел. Казалось, компасная стрелка его сердца вращалась вместе с рулем. И когда шпиль церкви в конце концов показался, он первый увидел его, и не потому, что зрение у него было острее, а потому, что он искал его любящим глазом.

Любовь, печально думала Мэри, любовь лежала в основе всех его противоречий. Он думал, что отсек от себя всякую потребность в ней, и, хотя на некоторое время его родственные чувства к ее матери, а потом к ней самой как будто бы заполнили пустоту, этого было недостаточно. Вакуум должен быть заполнен — и он заполнил его ревностным служением святыне.

Она взглянула на него, напряженно склонившегося над рулем, глядящего прямо перед собой. Конечно, думала она, конечно, его глаза не могли не замечать безвкусицы и вульгарности торгашеских лотков у входа в грот, но его

внутренний взор — взор любви — устремлялся мимо них туда, где, он верил, явилась дева Мария, и тогда все это место преображалось для него. Мэри вздохнула и тоже поглядела вперед, но она глядела просто на дорогу, на которой было больше рытвин и выбоин, чем она предполагала. Когда они попали на скверный участок, ее бросило на старика, и он вздрогнул.

— Отодвинься, Мэри,— резко сказал он.— Ты мешаешь мне управлять машиной.

Словно ошпаренная кошка, Мэри отпрянула от него, насколько могла. Она забыла, как он стеснялся, когда их видели вместе. Даже когда она была маленькой девочкой, он всегда чувствовал себя стесненно на людях. В таких случаях он никогда не позволял себе никаких проявлений чувств, не то что дома. В свои нечастые приезды в Дублин он лишь изредка водил ее обедать в ресторан. Вместо этого он обычно покупал вкусные вещи и приносил их к ней на квартиру, чтобы она сама устроила себе пиршество. Особенно неловко он чувствовал себя с ней, когда они ездили вместе в машине. Будучи способной, как она предполагала, проявить широту взглядов, Мэри испытывала некоторую жалость к нему из-за того, что он так боится дать повод к скандалу. Она видела, что иногда люди как-то странно поглядывают на них. Хуже того, она ловила себя на том, что и сама с любопытством глядит на других священников в сопровождении женщин, хотя это тоже были, скорее всего, родственницы. Ей было известно, что иногда даже здесь, в своем собственном приходе, где его хорошо знали, он чувствовал себя неловко в ее обществе, думая, что иным людям — паломникам, например — неизвестно, что она его племянница. Да, его шепетильность была отчасти оправданна. Было бы печально, если бы, безупречно соблюдая обет всю свою жизнь, он дал бы повод составить о себе превратное мнение, но еще печальнее было бы, если бы о нем думали, что в старости он в конце концов пал жертвой похоти. Бедняга! На сердце у нее потеплело, и, увидев в лотке под приборной доской кипу брошюр и приняв их за новые сборники церковных гимнов, она вытащила одну, желая поздравить его с их выходом в свет. Лицо его просветлело, и она с упавшим сердцем поняла, что это были брошюры о святине.

— Ах, я позабыл показать тебе их, Мэри,— сказал он.— Не обращай внимания на обложку, моя дорогая, она

не претендует на шедевр, ты понимаешь, эти книжки решено продавать по шесть пенсов, а это едва покроет расходы на публикацию. Мы останемся при своих лишь в том случае, если продадим три тысячи экземпляров.— По его лицу пробежала тень, но только на мгновение.— Мы надемся распродать все издание не позднее летнего паломничества в будущем году, и мы уже наметили важные изменения во втором издании. Открой ее, открой,— взывал он, но Мэри апатично сидела с нераскрытой брошюрой на коленях, ошеломленно сознавая, что чистая оплошность вернула их к опасной теме разговора.— Печать скверна, я это понимаю,— сказал он.— И могут быть опечатки, хотя я самолично держал корректуру.— Он сбавил скорость, чтобы лучше видеть ее реакцию.— Ну-ка, просмотри брошюру! Я буду рад любому твоему замечанию. Я понимаю, что сейчас ты не можешь тщательно изучить ее, но я дам тебе экземпляр в обратный путь. Я дам тебе несколько экземпляров, чтобы ты раздала их своим друзьям. Твой молодой человек, возможно, даже захочет взять один — после того, как вторично побывает в святом месте.— Тут старик подтолкнул ее локтем, и Мэри едва сумела подавить дрожь. Она открыла брошюру, и ее внимание немедленно привлекла одна строка на первой странице.

— Ах, дядя! Я и не знала, что ваша святыня не признана церковью! — воскликнула она.

— Читай дальше,— благодушно сказал каноник.— В самом начале произошло недоразумение. Вот и все. Теперь она признана — более или менее.— Он выдержал паузу, откашлялся, а затем, к ее изумлению, произнес такую гладкую речь в защиту святыни, что ей подумалось: наверное, он много раз повторял ее и выучил наизусть.— Церковь во все времена неохотно подтверждала подлинность любого чуда — за исключением, конечно, тех, о которых говорится в Священном писании,— но после надлежащего изучения епископ любой епархии может объявить, что, насколько можно положиться на свидетельства очевидцев, данное чудо имело место — или создается впечатление, что имело. Это никого не обязывает поверить в чудо, но в таких случаях принято рассматривать такое место как святое.— Его голос действовал чуть ли не гипнотически, но к концу этой тирады в нем появились нотки смущения.— Это разрушители атеисты пустили слух, будто наша святыня не получила полного признания.— Он

повернулся к ней, словно обвиняя.— Как католичка, ты должна знать, Мэри, что не существует такой уж большой разницы между доказанной подлинностью и благочестивой рекомендацией верующим таких обрядов, какие происходят от обычая. Читай дальше. Читай дальше. Ты увидишь, что папа соблаговолил даровать нашей святыне много ритуальных привилегий.

Мэри больше не нуждалась в том, чтобы ее подталкивали. Она жадно пожирала глазами плохо отпечатанный текст. Несмотря на то что она знала святыню с самого детства, она с удивлением обнаружила, как мало ей известно собственно о явлении Святой девы.

— Я и не знала всего этого, про такую сырую ночь, такую ужасную ночь...

— Дождь лил как из ведра,— энергично кивая, подтвердил каноник.— Не притворяйся, что ты не знала этого. Теперь ты видишь, как важно было выпустить мою маленькую брошюру. Приходский священник в тот час только что вернулся от больного и сушил одежду у камина.

— Именно благодаря частным подробностям вся эта история выходит как живая,— сказала Мэри с неподдельным изумлением.— Дон должен это прочесть.

— Конечно, должен,— сказал каноник.— Просто удивительно, как много людей не знает, что здесь произошло, а ведь, если бы они обуздали свою гордыню и пришли сюда, они бы увидели, что то же самое божественное сияние, которое исходило от тех святых припелльцев, и ныне изливается на нас и на всех, кто приходит к нам.

Мэри едва слухала. Право же, она должна как-то оправдать, объяснить свою поглощенность.

— Меня очаровывает не столько сверхъестественный аспект, сколько обыденность всего этого, дядя,— сказала она.— Эти люди, которые первыми увидели странный свет у церкви и не придали этому никакого значения,— это так жизненно, правда? А потом, другие, которые уже увидели фигуры, но приняли их за статуи! Так и кажется, что ты бы и сам так подумал.— Она засмеялась. И снова стала серьезной.— Да, но кое-что звучит неправдоподобно. Когда они увидели, что ноги статуй не касаются земли, они упали на колени и начали молиться. Но посредине молитвы вскочили и побежали в город, рассказать всем о чуде, и собрали толпу. Так вот, они чуточку поспешили, вам не

кажется? Это отдает фальшивым чудом в Темплморе, немножко трескуче...

— Трескуче? — Каноник резко затормозил и остановил автомобиль. — Ты упустила реальную причину их убежденности, — сурово сказал он и, наклонившись к ней, стал перелистывать тонкие страницы. — Они увидели, что земля под ногами Святой девы суха. Ты, должно быть, пропустила это, Мэри.

— Да, пропустила, но все равно и это кажется мне чуточку... — Она заколебалась.

— Что чуточку?

— Чуточку мелко, дядя, если позволишь так выразиться, чуточку узколобо рядом со всеми этими чудесами: святые позаботились о том, чтобы остаться с сухими ногами, когда все другие, должно быть, промокли до нитки.

Дядюшка, казалось, взволновался.

— Что же они, по-твоему, должны были делать? Держать зонтики над головами? Я имею в виду деву Марию и святых.

Мэри робко улыбнулась.

— Нет. Я не это хотела сказать, но почему бы им было не выбрать сухую ночь, тогда и явиться? — Она снова заглянула в брошюру. — Одному из этих бедных людей, стоящих на коленях под дождем, было за семьдесят. Это почти так же скверно, как если бы они — дева Мария и святые — взяли с собой зонтики.

— Мэри! Думай о том, что говоришь. Я привык к непочтительности, но богохульство — другое дело.

— Извините, дядюшка. — Она похлопала его по колену. — Но вы спрашивали мое мнение... О брошюре, это я имею в виду, — тактично добавила она. — В том, как это изложено, есть что-то такое, отчего во все это трудно верить, по крайней мере мне.

Машина снова тронулась с места.

— Все чудеса таковы, — лаконично сказал каноник.

Мэри была вынуждена согласиться с этим.

— Наверное, так. — Затем она воскликнула: — Постойте! Одну вещь я считаю прямо-таки безнравственной. Когда одно семейство выбежало из дому, оно совершенно забыло про бедную старую женщину, которая была при смерти и за которой они должны были ухаживать. Они оставили ее совершенно одну.

Каноник крепко сжал руль и прибавил скорости.

— Но она ведь не умерла, ты поняла? Можно сказать, это само по себе своего рода чудо в чуде. Старая женщина выбралась из постели и последовала за ними. Женщина, которая была при смерти.

Мэри ничего не ответила на это. Что она могла ответить? Про себя ей пришлось согласиться, что церковь вообще глубоко изучила этот случай. С другой стороны, доказательство его истинности имело по крайней мере одно слабое место, можно даже сказать, изъян.

— Здесь сказано: про тех, кто свидетельствовал, что видел деву Марию, впоследствии говорили, что они были пьяны.

Однако каноник, казалось, просто возликовал при этом обвинении.

— Согласен! — воскликнул он. — Именно это обвинение выдвигают против нас враги церкви. Но, к счастью, в нашем случае его легко отвести.

— Но среди тех, кто видел Святую деву, был мальчик двенадцати лет! — воскликнула Мэри. — А другому было всего пять! Какая надобность была доказывать, что эти дети не были пьяны? — Она положила брошюру на колени и, повернувшись, посмотрела на старика. — Повторяю, дядя, вы спросили мое мнение, и вот оно. Мне сдается, легче поверить в явление девы Марии, чем таким доводам в его пользу. Эти-то доводы и кажутся сомнительными, особенно многие годы спустя, между тем как и в то время доказательств было немного. — Кладя брошюру на место, она решила, что Дону не следует ее показывать. — А что касается того, что Ватикан приравнял вашу святыню к Лурду и Лизье и создал благоприятные условия для паломников, то, честно говоря... — Она хотела просто сказать, что вся эта пропаганда стала ей поперек горла, но они уже подъехали к тому месту, где старая дорога соединялась с новой, и каноник сидел прямой как палка, предвкушая минуту, когда он увидит церковный шпиль. Он лишь смутно уловил смысл ее слов.

— Ты говоришь, Лурд и Лизье? — рассеянно спросил он. — Через пять или шесть лет они будут оттеснены на второй план. Слава нашего святого места растет не по дням, а по часам, и когда будет построена новая базилика и мы обзаведемся стоянкой для автомобилей и местами общественного пользования... — Он остановился. — Мы так расширимся, что в радиусе трех миль нельзя будет найти

участка под магазин, а магазины будут тянуться вот до этого распутия! И все они будут бойко торговать. Пусть люди не станут останавливаться по пути в городок — им всегда не терпится добраться до святого места, но на обратном пути, пусть даже им хочется поскорее попасть домой, многие будут останавливаться у нас либо из-за измученных, капризничающих детей, либо из-за бедных больных на заднем сиденье автомобиля, которые страшатся долгого обратного пути. — Казалось, он задумался на минуту над сказанным и затем многозначительно кивнул в подтверждение правильности своих слов. — Когда людям не терпится попасть к гроту, они часто забывают купить сувенир: четки или распятие, чтобы привезти его какому-нибудь старому человеку, родственнику или, может, соседу, который был добр к ним в прошлом, и, если от них нельзя ожидать, чтобы они возвратились за этим назад, они будут совсем не прочь остановиться, чтобы зайти в магазин вдоль маршрута. — Он с серьезным видом повернулся к Мэри. — Не думаю, что было бы чрезмерным требовать от человека, чтобы он выскочил из машины и купил наплечник или *agnus dei* *, если он думает, что это может утешить какого-нибудь беднягу, как по-твоему? — К счастью, Мэри была избавлена от необходимости отвечать на этот вопрос, потому что каноник увидел шпиль. — Я вижу его! — торжествующе воскликнул он, хотя сама Мэри лишь через несколько секунд различила на фоне темных дождевых туч чуть менее темную колокольню. А через несколько минут они уже подъехали к церкви, стоящей посреди хаотического скопления деревянных ларьков, с огромным, нелепо непропорциональным гротом, прилепленным к ее фронтону.

Грот был необычно пуст для этого часа дня. Нигде не было видно признаков жизни, если не считать жирного голубя, клюющего отбросы в канаве.

Дона тоже нигде не было видно.

— Я так и думала, что он заставит нас ждать, — сказала Мэри, единственно для того, чтобы потрафить дядюшке, но в это мгновение дверь лавки Маллинса отворилась, и из нее выбежал сам Маллинс — без пиджака, то-

* Диск из воска или ладанка с изображением агнца, благословленная папой.

ропливо дожевывая что-то, как будто он ел, когда заметил их.

— Добрый день, святой отец. Добрый день, мисс,— скороговоркой начал он.— Вы ищете молодого джентльмена? — К отвращению Мэри, он нежно поглядывал на нее.— Я узнал его, когда он проходил здесь около часа назад, и выбежал к нему. Он был рад меня видеть и просил кое-что передать вам, святой отец. Он сказал, чтобы вы не дожидались его с завтраком и что он сам доберется обратно.— Затем он повернулся к Мэри.— Он и вам просил кое-что передать, мисс. Он велел передать, что он не оставляет надежды — уж не знаю, что он под этим подразумевал! — И этот отвратительный тип снова посмотрел на нее плотоядным взглядом, явно по-своему истолковывая слово «надежда».

— Спасибо,— холодно ответила Мэри.

Каноник был более сердечен.— Молодец! Молодец! — сказал он и на минуту остановил машину перед гротом и оценивающе оглядел его.

— Нам нужно больше мусорных ящиков,— сказал он, хлопая в ладоши, чтобы прогнать голубей. Когда каноник разворачивал автомобиль, Мэри едва не улыбнулась, заметив, что головы святых обляпаны птичьим пометом. Затем, когда они проезжали мимо открытой двери церкви, она увидела красный свет лампад и по привычке наклонила голову. Однако каноник, согнувшись над рулем, с необычной для него скоростью отъезжал от святого места. Мэри в удивлении поглядела на его лицо. Оно было покрыто багровым румянцем. А когда он заговорил, его голос звучал свирепо и напряженно.

— Что стояло за теми словами, которые Маллинс передал тебе? — повелительно спросил он. На мгновение ей показалось, что, увидев плотоядный взгляд Маллинса, дядюшка тоже прочел в нем нечто отвратительное. Но в следующую минуту она поняла, что он угадал верно.— Так вот оно что! — воскликнул он.— Раз в жизни я свалил дурака! — Он резко остановил автомобиль.— Скажи мне правду! С какими еще глупостями носится твой приятель?

— Ах, дядюшка, давайте не будем вдаваться в это сейчас,— в отчаянии сказала Мэри.

— Объяснитесь, мисс! — сказал каноник, и, хотя это обращение восходило ко временам ее детства, на этот раз

оно, как и следовало ожидать, оказало на нее противоположное действие.

— Не время и не место обсуждать это,— холодно сказала она.

— В этом вы правы. Это верно,— огрызнулся каноник.— И позвольте мне сказать вам, мисс, что подходящее время никогда не наступит. Что бы ни было на уме у этого глупца, он не понимает, что поддержка нужна для любого проекта, даже самого разумного. Причем не только у нас, но и в любой другой стране. И смею вас заверить, что ни одна душа в святой Ирландии не поддержит проект, который затрагивает место, освященное традицией и присутствием столь многочисленных больных и страждущих.

— Но, дядя,— воскликнула Мэри,— ведь Дон не обязательно намечает разработки, какие бы они ни были, в непосредственной близости к гроту!

— Еще не легче! — вскричал каноник.— Разве я не сказал тебе, что наше собственное предприятие разрастется на три-четыре мили вокруг нынешнего центра? — Его лицо пылало теперь такой яростью, что Мэри испугалась за него. Он буквально грозил ей кулаком.— Неужели ты думаешь, что, если дать волю этим разработчикам, их можно будет удержать? Ты когда-нибудь читаешь газеты? Компания, которая ведет разработки в графстве Мит, намеревается проложить заново дорогу из Нейвана к Келлсу. Ты слышала об этом? Не слышала? Вот пример того, как далеко они готовы пойти, преследуя собственные интересы. А еще поговаривают о том, чтобы изменить течение Бойна, самой важной в историческом отношении реки Ирландии, а то и Европы. Эти типы не задумаются перенести целый город, если он им помешает... — Старик внезапно погрузился в собственные мысли.— Язычники и безбожники... — пробормотал он, затем снова обратился к ней.— Очень жаль, что твой милый жених не убрался к черту, или в Африку, или куда там еще он собирался отправиться. Хорошеньким сокровищем он будет для страны, которая его приютит.

Мэри была глубоко потрясена. Но она не унизится до напоминания, что она уехала бы вместе с Доном.

— Если вы так о нем думаете, дядя,— сказала она со всем спокойствием, на какое была способна,— то лучшее, что я могу для вас обоих сделать,— это помешать вам

встретиться опять.— Она открыла дверцу автомобиля.— Если вы не возражаете, я выйду здесь.

Каноник был ошеломлен.

— Как ты рассчитываешь добраться до моего дома? — взревел он.— Ты не так ловка, как этот твой футболист!

Если он хотел поправить дело шуткой, то он глубоко ошибался.

— Как-нибудь доберусь,— сказала Мэри.— Если, случится, он уже пришел, пусть Элин скажет ему, чтобы он вывел нашу машину и ехал мне навстречу.— Видя, что он не вполне понимает ее, она посмотрела ему прямо в глаза.— Если вам не трудно, положите на заднее сиденье мой чемодан.

— Ты совсем не зайдешь в дом? — Его аффектацию как рукой сняло, но он никак не мог поверить, что все это всерьез.— А как же завтрак? Элин так старательно готовила его.

— Мне очень жаль,— сказала Мэри.— Мне в самом деле очень жаль. Но вы должны, как можете, извиниться. Она вышла из автомобиля.

Возвращаясь по магистральной дороге, каноник ехал быстро, и когда прибыл домой, то прошел прямо в гостиную и бросил несколько поленьев во все еще неистово пылающий камин. Затем кликнул Элин:

— Я буду завтракать один, Элин. Им пришлось уехать,— сказал он ей без объяснений. Он нахмурился, когда старая женщина подошла, громко топая, и остановилась в дверях с озадаченным выражением на лице.

— Не отпустите же вы их без еды? — сказала она.— До Дублина ведь недалеко.

— Что такое? — Каноник, казалось, удивился при упоминании Дублина, как будто его мысли витали далеко. Он пришел в себя.— Да, в Дублин,— сказал он, загадочно улыбаясь, и, когда Элин ушла, закрыл дверь гостиной. В его голове уже созрел план, и план этот действовал как балласт, придавая канонику устойчивость. Тем не менее, чтобы укрепить себя на будущее, он, закрыв дверь, некоторое время стоял неподвижно и смотрел на свою маленькую картину. Но при закрытой двери картина получала неверное освещение: стекло отражало резкий белый свет из окна, уничтожая все величие красок. Он сделал ошибку, велел застеклить картину. Ему не следовало слушаться владельца картинной галереи, который утверждал,

что вследствие грубой текстуры картина испортится, если не защитить ее. Он наклонился и всмотрелся в изумрудные завитки травы на берегу и морскую глубь цвета индиго. Он вовсе не был уверен, что картина не была испорчена еще до того, как вставили стекло. Да что там говорить, теперь, когда он рассматривал ее вблизи, ему, пожалуй, не нравилось, что Йитс чересчур свободно пользовался мастихином. Йитса уговорили на это, когда он был старый и больной, и это стало его причудой. Он нагнулся еще ниже и чуть-чуть приоткрыл дверь, чтобы картина опять оказалась в тени. Да. Теперь он мог получше рассмотреть ее. Густо наложенные краски моря, неба и берега, безусловно, придавали объемность одинокой человеческой фигуре на переднем плане. Но сама фигура была не более чем скопление пятнышек, завитков и свернувшихся комков грубой краски. Канонику казалось, что, если ткнуть пальцем в одно из этих пятнышек, оно лопнет и из холста засочится скипидар или льняное масло. Из-за чрезмерного пользования мастихином могут упасть цены, которые дают за Йитса, подумал он, с раздражением отворачиваясь от картины. Она не успокоила его. Выйдя в переднюю, он снова крикнул Элин: — Не приноси мне завтрак, пока я не скажу тебе, мне надо позвонить. — Вернувшись в свое логово и закрыв дверь, он снял трубку и, понизив голос, назвал телефонистке имя и номер.

Несколько минут спустя на другом конце провода, сквозь потрескивание, раздался голос.

— Алло, Тим? Это ты? — начал каноник, и его настроение сразу улучшилось. — Да? Хорошо. Как твои дела? У меня тоже, у меня тоже, слава богу! Слушай, Тим, я не стану задерживать тебя предисловием. Я все равно увижу тебя в следующем месяце в Приюте священников, но слушай меня внимательно. Ты случайно не помнишь одного типа — он учился вместе с нами в семинарии, свихнулся и был отослан домой? Его звали как будто Гарган? Да, тот самый. Да. Да, он потом поправился, женился и обзавелся семьей. Да, да. Знаю. Это так. Тот самый. Так вот, мне хочется проверить себя. Хотя нам сказали в семинарии, что его отсылают домой, а на самом деле его отослали — мы тогда об этом догадывались — в сумасшедший дом? Это так? Так я и думал. Ты можешь сообщить мне еще что-нибудь, Тим? Как долго он там пробыл? О! Неужели? Да что ты говоришь? Наверное, он был тяжелый больной.

Ну ладно, быть посему, спасибо за информацию, Тим, но позволь мне спросить тебя еще кое о чем, и тогда я тебя отпущу. Ты согласен, что это было у него наследственное? Ну да, я все это знаю. Времена изменились и все такое прочее. Слава богу, у них там хорошие врачи, по крайней мере теперь. Они могут творить чудеса электрическим током и инсулином. На днях я слушал по радио программу, посвященную всему этому, но, я думаю, есть все же случаи безнадежные. По-видимому, есть случаи, когда это, можно сказать, врожденное, и тогда... Да. Да? Слушаю. Согласен. Полностью согласен. Так я и думал. Поэтому-то я тебе и звоню. Видишь ли, насколько мне известно, в твоей епархии открывается место... А, не беспокойся, Тим, заурядное место — окружной инженер. Подходящие кандидатуры, должно быть, насчитываются сотнями. Как я понимаю, решение в общем принято, и это место отдадут молодому человеку, который... Что это, Тим? О! — Здесь каноник хихикнул, хотя и был один в гостиной. — О, ты прочел мои мысли, — продолжал он. — Это тот самый человек, сын того. О, этот молодой человек... Что такое? Да. Да, я встречался с ним. Да, я согласен, что котелок у него варит лучше, чем у иных прочих, — в этом смысле возражений нет, хотя, надо думать, окружной инженер — должность довольно ответственная, ему приходится строить дороги и мосты и все такое прочее. Кстати говоря, ты читал в газетах о недавнем ужасном происшествии в Америке, когда рухнул мост и погибло сорок или пятьдесят человек, а сотни получили ранения? Это случилось не то где-то в Огайо, не то где-то еще, но люди везде люди. Ну так вот, вряд ли позавидуешь тому, кто назначал окружного инженера в этом случае, как по-твоему? Я, пожалуй, скорее согласился бы быть одним из тех несчастных, которые утонули в реке. Больше того, я скорее согласился бы быть человеком, который допустил ошибку в расчетах, чем членом отборочной комиссии, который не проверил как следует кандидатуры. Да, да. Я знаю, что я говорю, Тим. Так или иначе, мы не можем пренебрегать нашими обязанностями, когда речь идет о таких вещах, правда?

Тут каноник стал нетерпеливо притопывать по линолеуму.

— Да, да, Тим, слышу. Я понимаю, что ты мне хочешь втолковать, но позволь мне задать еще один вопрос.

Ты когда-нибудь читал книгу под названием «Мост Сан-Луис Рей»? Не читал? Ах, да что с тобой такое? Ты что, хочешь совсем обомшеть там на тучной земле? Слушай, я возьму эту книгу с собой в Приют и дам ее тебе почитать. Не забудь только отдать ее мне, вот и все. В ней есть яркое описание падающего моста. Она заинтересует тебя в связи с делом, которое мы обсуждаем.— Однако тут у каноника, казалось, отшибло память.— О чем, то бишь, мы с тобой толкуем? — спросил он.— А, да, об этом месте...— Последовала краткая пауза, в течение которой каноник слушал голос на том конце провода.— Нет, это будет слишком поздно. Ты должен действовать немедленно,— решительно сказал он. Затем прикрыл трубку рукой.— Извини, я сейчас, Тим,— сказал он и, подняв голову, прислушался. Во дворе заработал мотор автомобиля, и через несколько секунд автомобиль отъехал.— Ничего особенного, ничего,—уверил он слушающего его Тима.— Так вот, я знаю, что я говорю насчет этого места, Тим. Тут все не так просто, как кажется на первый взгляд. Существует несколько причин, почему нам нежелательно назначать подобного человека на важный пост. Ты меня понимаешь? Понимаешь. Ну, я увижу тебя в Приюте и обязательно привезу тебе книгу.

Лицо каноника обрело обычное выражение, и он уже готов был положить трубку, когда на другом конце провода опять раздалось потрескивание. Выражение его лица слегка изменилось.

— Да, я знаю, что он обручен, и допускаю, что это усложняет дело. В сущности, я не уверен, следует ли мне упомянуть об одном обстоятельстве. Но все же я думаю, лучше упомянуть, ведь ты все равно узнаешь, старая лиса! А я надеюсь, что, когда скажу тебе, ты увидишь, как я пекусь об общественном благе. Видишь ли, он обручен с моей родственницей. Да. Ах, ты знал, вот как. Ну что ж, могу только сказать: я уверен, что, как и я, ты подумал о том, что она могла бы лучше распорядиться своей судьбой, ведь она девушка красивая и умная к тому же. Можно сказать, дьявольски умная. И можно даже сказать, что во многих отношениях бог словно создал их друг для друга. Но позволю объяснить тебе следующее. Ты не должен заботиться о моей племяннице. Я и сам не могу позволить себе заботиться о ней в столь серьезных обстоятельствах. Возможно, парень и хорош — кто знает? — но это не озна-

чает, что мы можем позволить ему занять должность, на которой даже малейший промах может обернуться трагедией для несметного множества людей. Не думай о Мэри, Тим. Пусть он наберется немножко опыта за границей, это еще никому не вредило, и они не исключение из правила. Не бойся, они через несколько лет вернутся на родину, и, если он выдержит испытание временем, мы, возможно, кое-что сделаем тогда для него, ладно? Я позвоню тебе, если это время придет, Тим! Мы, возможно, придумаем для них что-нибудь вроде того, на что они сейчас притязают, если мы оба будем на земле живых, на что, я надеюсь, будет воля божья. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, я не спросил про твой старый прострел? А, хорошо! Хорошо. И я так же себя чувствую.— Тоненький ручеек смеха прожурчал по линии, и ему доверительно вторил громкий смех каноника. Затем он, по-видимому, счел нужным еще раз успокоить своего друга.— А, брось беспокоиться о ней, Тим. Женщины заинтересованы только в том, чтобы создать семью. Для них неважно, где это будет, в Дублине, или...— он нахмурился,— в Африке, или где-нибудь еще.— И так как последние слова показались ему слишком слабыми для концовки, а может быть, потому, что он хотел придать разговору профессиональный оттенок, в голосе каноника зазвучали ележные нотки.

— Господи благослови,— сказал он.

— Господи благослови,— донесся сквозь потрескивающие ответ.— Господи благослови.

Содержание

<i>А. Саруханян. Мастерство рассказчика</i>	5
<i>Жены в семействе Беккер. Перевод Р. Облонской</i>	13
<i>Завещание. Перевод В. Смирнова</i>	81
<i>Ирландская Акулина. Перевод Ю. Жуковой</i>	96
<i>В сырой ли земле, на дне ли морском... Перевод Ю. Жуковой</i>	109
<i>Небольшое наследство. Перевод Ю. Жуковой</i>	124
<i>Маленький принц. Перевод Е. Коротковой</i>	149
<i>Сын-патриот. Перевод В. Смирнова</i>	192
<i>Среди полей. Перевод Р. Бобровой</i>	211
<i>Фамильный склеп. Перевод Р. Бобровой</i>	227
<i>Том. Перевод Р. Бобровой</i>	251
<i>Святыня. Перевод В. Смирнова</i>	269

МЭРИ ЛЭВИН

Среди полей. Избранные рассказы.

Составитель Сергей Александрович Авдеенко

ИБ № 7159

Художник *Ф. Л. Рабицев*

Художественный редактор *А. П. Кулцов*

Технический редактор *Д. Я. Белиловская*

Корректор *В. Ф. Пестова*

Сдано в набор 29.5.1979 г. Подписано в печать 10.8.1979 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Условн. печ. л. 15,96. Уч.-изд. л. 16,32. Тираж 75 000 экз. Заказ № 155.

Цена 2 руб.

Издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано с матриц ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28, во Владимирской типографии «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

Вышла в свет

ХЕНСФОРД ДЖОНСОН П. Особый дар. Роман. Пер. с англ.

Роман известной английской писательницы рассказывает о судьбах трех молодых людей, выпускников Кембриджского университета. Автор ставит в книге проблему «отцов и детей», исследует конфликт двух поколений.

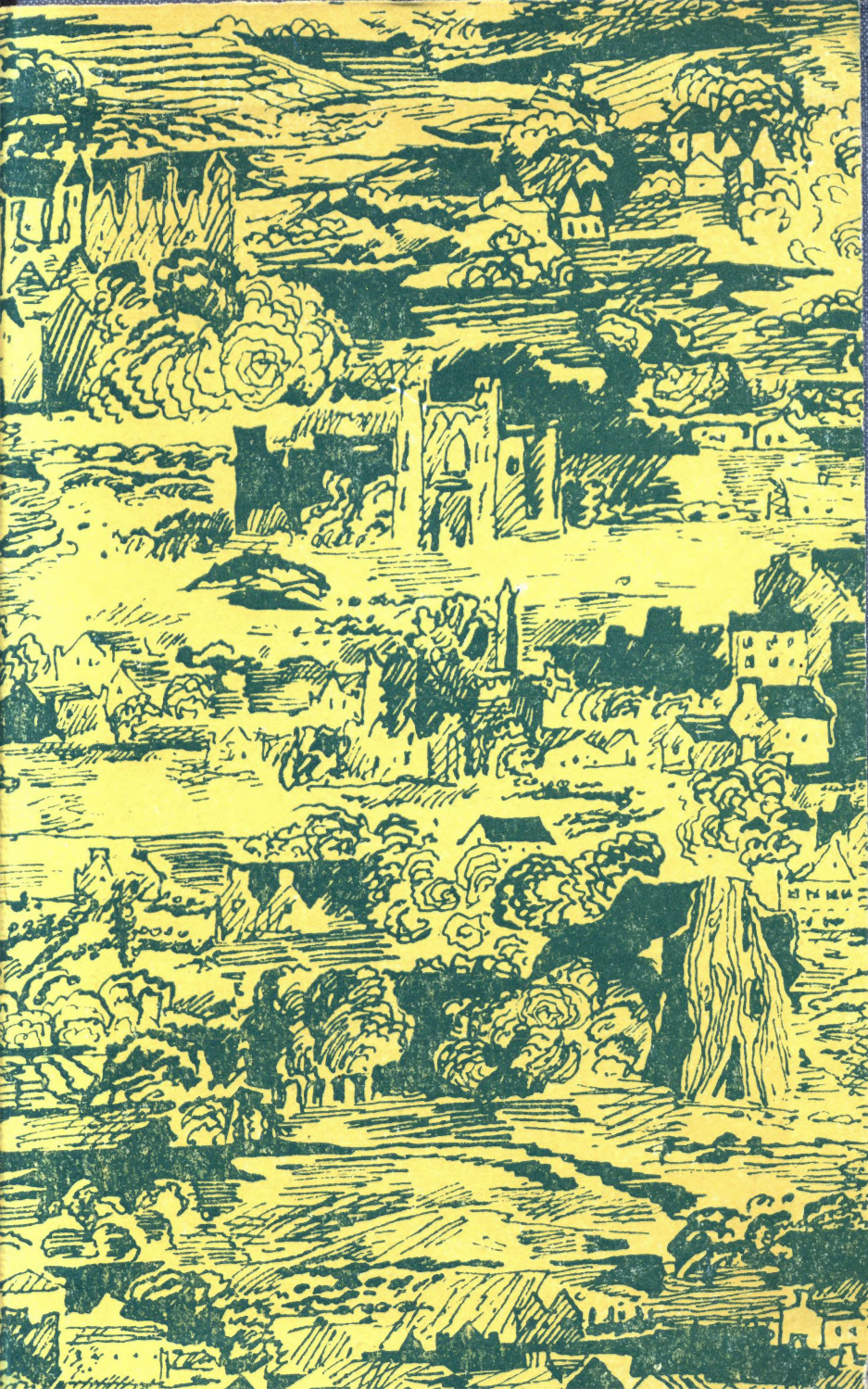
Вышла в свет

Из современной английской новеллы.
Сборник. Пер. с англ.

В сборник вошли лучшие рассказы ведущих писателей современной Англии, представителей разных поколений, разных художественных школ.

В предисловии дается обстоятельный анализ основных тенденций в новеллистике Великобритании наших дней.





2p



Мэри Пэвчин

Средня поппей